

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



№ 81



ВАЛЕНТИН  
КАТАЕВ

# ХУТОРОК В СТЕПИ

ДЕТГИЗ  
1956

НОВИНКИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ 81



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

# ХУТОРОК В СТЕПИ

*Роман*



Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1956

### *К юным читателям.*

В этом выпуске «Новинок детской литературы» печатается роман Валентина Катаева «Хуторок в степи» — продолжение широко известной книги для детей «Белеет парус одинокий».

Писатель Валентин Петрович Катаев родился в 1897 году в городе Одессе, в семье учителя. В 1915 году он ушел на фронт, служил в артиллерии. После революции, в 1918—1920 годах, служил в Красной Армии, участвовал в гражданской войне.

Еще в ранней юности В. П. Катаев начал писать. Его стихи печатались в одесских и петербургских периодических изданиях. С 1922 года он ведет постоянную литературную работу.

За многие годы своей писательской деятельности В. П. Катаев создал целый ряд значительных художественных произведений — повестей, рассказов, пьес, в которых показывал, как преобразается жизнь в нашей стране на социалистических началах. Особенно много и плодотворно писатель работал и продолжает работать в области литературы для детей и молодежи. Созданные им повести «Белеет парус одинокий» (1936), «Я — сын трудового народа» (1937), «Сын полка» (1945) и др. получили горячее признание читателей.

Книги «Хуторок в степи» и «Белеет парус одинокий» тематически связаны с революционными событиями периода первой русской революции и последующих лет и проникнуты чувством грядущей победы социалистической революции.

\*  
\*\*

Дорогие читатели! Ваши отзывы о романе Валентина Катаева «Хуторок в степи» просим присылать по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43, Дом детской книги.





## I

### СМЕРТЬ ТОЛСТОГО

Ветер с моря нес дождь, рвал из рук прохожих зонтики. В улицах было по-утреннему темно. Так же темно и тягостно было на душе у Пети.

Не доходя до знакомого поворота, еще издали он увидел небольшую толпу перед газетным киоском — только что принесли кипы опоздавших газет. Их жадно разбирали. Трепались разворачиваемые листы и тотчас темнели под дождем. Кое-кто в толпе снимал шапки, а одна дама громко всхлипывала, прижимая к глазам и носу скомканный платок.

«Значит, все-таки умер», — подумал Петя. Теперь он ясно видел газетные страницы, окруженные жирной траурной рамкой, и черный, смазанный портрет Льва Толстого со знакомой белой бородой.

Пете было уже тринадцать лет. Как все подростки, он особенно мучительно боялся смерти. Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из знакомых, Петину душу охватывал ужас, и мальчик долго потом поправлялся, как после тяжелой болезни. Но сейчас этот страх смерти имел совсем другой характер. Толстой не был знакомый. Едва ли Петя даже представлял себе его человеческое бытие. Лев Толстой был знаменитый писатель, такой же, как Пушкин, Гоголь, Тургенев. Он существовал в сознании не как человек, а как явление. Теперь он лежал, умирая, на станции Астапово, и весь мир со дня на день с тревогой ожидал его смерти. Петя был захвачен общим ожиданием события, казавшегося невероятным и неприменимым к бессмертному явлению, называвшемуся «Лев Толстой». Когда это событие совершилось, Петя почувствовал такую душевную тяжесть, что некоторое время неподвижно стоял, прислонившись к мокрому, слизистому стволу акации.

В гимназии было так же темно и траурно, как и на улице. Никто не шумел, не бегал по лестницам. Разговаривали вполголоса, как в церкви на панихиде. На переменах сидели на подоконниках и молчали. Ученики старших классов — семиклассники и восьмиклассники — собирались кучками на лестничных площадках и внизу возле швейцарской. Они тайно шуршали газетами, которые вообще строго запрещалось приносить в гимназию. Уроки тянулись чинно, тихо, с однообразием, сводящим с ума. Часто в стеклянную дверь класса заглядывал инспектор или кто-нибудь из надзирателей. На их лицах было написано одно и то же выражение холодной бдительности. И Петя чувствовал, что весь этот привычный мир казенной гимназии, с форменными вицмундирами и сюртуками педагогов, с голубыми стоячими воротниками служителей, с тишиной коридоров, где так четко и звонко раздаются по метлахским плиткам шаги инспектора в новых ботинках с твердыми каблуками, с чуть слышным запахом ладана на четвертом этаже, возле резных дубовых дверей гимназической церкви, с редкими звонками телефона внизу, в канцелярии, и тонким дребезжаньем пробирок в физическом кабинете, — весь этот мир находится в тяжелом противоречии с тем великим и страшным, что, по мнению Пети, должно было сейчас происходить за стенами гимназии, в городе, в России, на всей земле.

Но что же там происходило?

Петя время от времени смотрел в окно и ничего не видел, кроме хорошо знакомой, надоевшей картины привокзального района. Он видел мокрую крышу красивого здания судебных установлений с фигурой слепой Фемиды на фронтоне. Видел купола Пантелеймоновского подворья, каланчу Александров-



ского участка. Еще дальше висела пасмурная, дождливая муть рабочих предместий. Там были фабричные трубы и дым, и пакгаузы, и та особая, свинцовая темнота горизонта, которая напоминала Пете что-то давнее, чего он никак не мог вспомнить. И лишь когда после уроков Петя вышел в город, он вдруг вспомнил.

Наступал ранний вечер. Уже кое-где в мелочных лавочках зажигали керосиновые лампы. Желтый свет жиденько блестел на мокрой мостовой. Мелькали призрачные тени прохожих, увеличенные туманом. И вдруг послышалось пение. Из-за угла медленно выходила ряд за рядом толпа людей, державших друг друга под руки. Впереди, прижимая к груди портрет Льва Толстого в черной раме, шел студент без шапки, и мокрый ветер трепал его русые волосы. «Вы жертвою пали в борьбе роковой», — выводил студент вызывающим тенором, покрывая нестройные голоса толпы. И этот студент и эта поющая толпа вдруг с необыкновенной силой воскресили в Петиной памяти другое, забытое время, другую, забытую улицу. Так же как теперь, в тумане блестела мостовая и по ней, взявшись под руки, ряд за рядом шли курсистки в маленьких каракулевых шапочках, студенты, мастера в сапогах. Они пели «Вы жертвою пали». Над толпой мотался маленький красный лоскут, и это был пятый год... И, как бы в довершение сходства, Петя услышал шелканье подков, высекающих из мокрого гранита мостовой искры. Казачий разъезд вырвался из переулка — бескозырки набекрень, короткие драгунские винтовки прыгают за спинами, — совсем близко от Пети свистнула нагайка и сильно запахло лошадиным потом. И тотчас все смешалось, закричало, побежало...

Схватившись обеими руками за фуражку, Петя бросился в сторону, наткнулся на что-то горячее. Оно опрокинулось. Это была жаровня возле фруктовой лавочки. Посыпались раскаленные уголья, дымящиеся каштаны. И улица опустела.

Несколько дней смерть Толстого составляла главное и единственное содержание жизни всего русского общества. Экстренные выпуски газет были заполнены подробностями ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны. Печатались сотни телеграмм со станции Астапово о последних часах и минутах великого писателя. В один миг маленькая, неизвестная станция Астапово прогремела на весь мир и стала так же знаменита, как Ясная Поляна, а фамилия начальника этой

станции, некоего Озолина, уступившего умирающему Толстому свою квартиру, бесконечное число раз повторялась всеми грамотными людьми. Вместе с именами графини Софьи Андреевны и Черткова эти новые слова — «Астапово» и «Озолин», — сопровождавшие Толстого в могилу, пугали Петю, как черные бумажные буквы на белых лентах погребальных венков.

Петя с удивлением замечал, что к этой смерти, которую все называли «трагедия», имели какое-то отношение правительство, святейший синод, полиция, жандармский корпус. В эти дни если Петя встречал на улице архиерейскую карету с монахом возле кучера на козлах или трескучие щегольские дрожки полицмейстера, то он был уверен, что и архиерей и полицмейстер едут куда-то по срочному делу, связанному со смертью Толстого.

Никогда еще Петя не видел своего отца в таком не то чтобы возбужденном, а в каком-то возвышенно-одухотворенном состоянии, как в эти дни. Его обычно доброе, простодушное лицо вдруг стало строгим, помолодевшим. Волосы над высоким лепным лбом были закинута как-то по-студенчески. И только в старых, покрасневших глазах, полных слез, под стеклами пенсне отражалось такое глубокое горе, что у Пети невольно сжималось от жалости сердце.

Василий Петрович вошел и положил на письменный стол две стопки ученических тетрадок, крепко перевязанных шпагатом. Прежде чем переодеться в домашний пиджачок, он вынул из заднего кармана сюртука с потертыми шелковыми лацканами носовой платок и долго обтирал мокрые от дождя лицо и бороду. Потом решительно тряхнул головой:

— Ну, мальчики, мыть руки и обедать!

Петя глубоко чувствовал душевное состояние отца, он понимал, что Василий Петрович как-то особенно мучительно переживает смерть Толстого, что для него Толстой не только обожаемый писатель, но нечто гораздо большее — чуть ли не нравственный центр жизни, — но только не мог объяснить это словами.

Настроение отца всегда легко передавалось мальчику, и теперь Петя был весь охвачен сильным душевным беспокойством. Он притих и не спускал с отца блестящих вопросительных глаз.

Павлик же, которому недавно исполнилось восемь лет и он уже был гимназистом, ничего этого не знал и не замечал, исключи-

тельно занятый первыми впечатлениями гимназии, интересами своего przygotowательного класса.

— А у нас сегодня на уроке чистописания была обструкция! — сказал он, с видимым наслаждением выговаривая это слово. — «Шкелет» несправедливо удалил из класса одного мальчика — Кольку Шапошникову, — и мы все незаметно мычали с закрытыми ртами до тех пор, пока «Шкелет» так стукнул кулаком по кафедре, что чернильница подпрыгнула аж на два аршина вверх.

— Перестань, как не стыдно... — сказал отец, страдальчески морщась, и вдруг гневно вспыхнул: — Бессердечные мальчишки, драть вас надо! Как вы смеее издеваться над несчастным, больным педагогом, которому, может быть, и жить-то осталось... Откуда... откуда у вас у всех такое зверство?.. — И, вероятно, продолжая отвечать на мысли, которые мучили его все эти дни, прибавил: — Поймите же, что мир не может держаться на ненависти! Это противоречит христианству... наконец, здравому смыслу. И это в те дни, когда опускают в могилу, может быть, последнего настоящего христианина на земле...

Глаза отца покраснели еще больше, он вдруг улыбнулся слабой, просительной улыбкой и, взяв за плечи мальчиков, поочередно заглянул им в лицо:

— Обещайте мне, что вы никогда не будете мучить своих ближних!

— Я не мучил, — смущенно сказал Петя.

А у Павлика жалобно сморщилось лицо, и он прижался своей остриженной под ноль головой к отцовскому сюртуку, от которого пахло утюгом и немножко нафталином.

— Папочка, я больше никогда не буду... Мы не подумали, — сказал он, вытирая кулаками глаза, и всхлипнул.

## II

### „ШКЕЛЕТ“

— Нет, как хотите, а это ужасно! — сказала за обедом тетя. Она положила разливательную ложку и схватилась пальцами за виски. — Можно относиться к Толстому как угодно, лично я его признаю только как величайшего художника, а все эти его непротивления и вегетарианства — вздор, но то, что делает русское правительство, — стыд и срам. Позор перед всем миром! Такой же позор, как Порт-Артур, как Цусима, как девятое января...

— Я прошу вас... — испуганно сказал отец.

— Нет уж, пожалуйста, вы меня не просите... Бездарный царь, бездарные министры! Мне стыдно, что я русская!

— Я прошу вас! — закричал отец и выставил вперед дрожащую бороду. — Никто не смеет касаться священной особы государя императора... И я не позволю... особенно при детях...

— Извините, больше не буду, — быстро сказала тетя.

— И прекратим этот разговор.

— Мне только удивительно, как вы с вашим умом и сердцем и с вашей любовью к Толстому можете всерьез называть священной особой человека, который покрыл Россию виселицами и который...

— Умоляю Христом богом, — простонал отец, — не будем касаться политики! У вас поразительная способность с любой темы непременно съезжать на политику. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь другом, без политики?

— Ах, Василий Петрович, как вы до сих пор не поняли, что в нашей жизни все — политика! Государство — политика! Церковь — политика! Школа — политика! Толстой — политика!

— Вы не смеее так говорить...

— Нет, смею!

— Это кощунство! Толстой — не политика.

— Именно политика!

И долго потом, приговаривая в своей комнате уроки, Петя и Павлик слышали за дверью возбужденные голоса отца и тети, перебивающих друг друга.

— «Хозяин и работник», «Исповедь», «Воскресенье»...

— «Война и мир», Платон Каратаев...

— Платон Каратаев — тоже политика...

— «Анна Каренина», Кити, Левин...

— Левин спорил с братом о коммунизме...

— Андрей Болконский, Пьер...

— Декабристы...

— Хаджи-Мурат...

— Николай Палкин...

— Я вас прошу! Рядом дети...

Павлик и Петя тихо сидели за письменным столом отца возле бронзовой керосиновой лампы с зеленым стеклянным абажуром.

Павлик уже кончил учить уроки и теперь приводил в порядок свои новенькие письменные принадлежности, которыми все еще продолжал гордиться. Он наклеивал на пенал

переводную картинку, терпеливо скатывая пальцем слон мокрой бумаги, под которыми уже начинал мутно просвечивать разноцветный букет с голубыми лентами. Он слышал голоса в столовой, но не обращал на них внимания, так как все его душевные силы были сосредоточены на том событии, которое произошло сегодня в классе на уроке чистописания. Эта «обструкция», казавшаяся ему сначала такой лихой и веселой, теперь вдруг представилась совсем по-другому.

Перед глазами Павлика все время стояла ужасная картина. Вот к доске подходит учитель чистописания — «Шкелет». Это человек в последнем градусе чахотки. Он страшно, пугающе худ. На нем болтается слишком длинный синий форменный сюртук — старый, очень потертый, но с новыми золотыми пуговицами. Бумажная манишка неряшливо торчит на его провалившейся груди, а из широкого пропотевшего воротничка высовывается тощая шея. «Шкелет» некоторое время неподвижно и вызывающе смотрит темными глазами на класс, затем быстро поворачивается к доске, берет прозрачными пальцами мел и начинает выводить прописи.

В зловещей тишине слышатся звуки мела по доске: воздушный взмах, когда «Шкелет» намечает виртуозно тонкий штрих, и жирное шипенье, когда он косо опускает толстую, удивительно ровную палочку. «Шкелет» то приседает на корточки, то всем своим телом вытягивается вверх, что делает его похожим на игрушечного паяца, которого тянут за ниточку. Самозабвенно склонив голову набок, он то выпевает тонюсеньким, скрипичным голоском: «Штри-и-их», то глухим басом с одышкой отрывисто произносит: «Палочка».

— Штрих, палочка. Штрих, палочка.

И вдруг с задней парты доносится, как эхо, еще более тонкий, совсем волосяной голос: «Штри-и-их». Спина «Шкелета» вздрагивает, как от укола, но он делает вид, что ничего не слышит. Он продолжает писать, но уже мел начинает крошиться в его бамбуковых пальцах, а на спине, под вытертым сукном сюртука, мучительно двигаются большие лопатки.

— Штрих, палочка; штрих, палочка, — поет он, и его шея и крупные уши густо краснеют.

«Штри-и-и-х! Штри-и-их! Штри-и-иххх!» — слышится на последней парте. Тогда вдруг «Шкелет» с молниеносной быстротой оборачивается лицом к классу, громадными, хищными шагами несется по проходу

между партами и хватает за плечи первого попавшегося мальчика. Так же стремительно он волочит его, выбрасывает из класса в коридор и с такой силой захлопывает дверь, что звенят дверные стекла и на паркет падает сухая замазка.

Тяжело, со свистом дыша, «Шкелет» возвращается к доске, берет мел и собирается снова писать, но в это время до его слуха доносится чуть слышное равномерное мычанье. Он вздрагивает и делает стойку. Его ноги, расставленные и напряженно согнутые в коленях, мелко дрожат. Дрожат манжеты и дрожат синие панталоны на ослабевших штрипках. Черные, глубоко запавшие глаза с неподвижной, пронзительной ненавистью устремлены на учеников. Но кто мычит, неизвестно. Все сидят с закрытыми ртами, с равнодушным выражением лиц, и все незаметно, однообразно и непрерывно мычат. Мычит весь класс. Но уличить никого невозможно. Тогда из груди «Шкелета» вырывается страшный, ни на что не похожий крик боли и ярости. Дрыгаясь, как паяц, он изо всех сил швыряет кусок мела в доску. Мел разбивается вдребезги. «Шкелет» топает ногами. Его глаза наливаются кровью. Жидкие волосы липнут к мокрому лбу. Шея судорожно подергивается. «Шкелет» рвет на себе воротничок, бросается к кафедре, швыряет стул, швыряет в стенку классный журнал и начинает изо всех сил колотить кулаками по кафедре, крича и уже не слыша собственного голоса: «Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы!..» Фаянсовая чернильница прыгает в своем гнезде, и лиловые чернила брызжут на оторвавшуюся манишку, на костлявые руки, на мокрый лоб. Кончается все это тем, что «Шкелет» вдруг теряет силы, садится на подоконник, прислоняется головой к раме и начинает, захлебываясь, кашлять, облизывая сизые губы. Его лицо с проваленными висками, темными глазными впадинами и оскалом желтых зубов действительно становится похожим на череп скелета. И если бы не пот, который ручьями течет по его лбу, можно подумать, что он уже умер...

Это все время теперь стояло перед глазами Павлика, и мальчик испытывал пронзительную душевную боль, что, впрочем, не мешало ему с особенной осторожностью сводить картинку, стараясь не протереть пальцем дыру в мокрой бумаге и не испортить желатиновый отпечаток букета с голубыми лентами, так ярко и глянцево блестящего под лампой.

Петя же рассеянно перелистывал общую



тетрадь с выскобленными на черном клеенчатом переплете эмблемами — якорем, пронзенным стрелой сердцем и несколькими загадочными инициалами. Он прислушивался к голосам папы и тети за дверью столовой. Теперь все чаще и чаще повторялись слова «свобода совести», «народное представительство», «конституция», и наконец было произнесено жгучее слово «революция».

— Вот попомните мое слово, все это кончится второй революцией, — сказала тетя.

— Вы анархистка! — закричал отец высоким голосом.

— Я русская патриотка!

— Русские патриоты верят своему государю и своему правительству!

— А вы верите?

— Верю!

И снова Петя услышал имя Толстого.

— А тогда почему же ваш царь и ваше правительство, которым вы так верите, отлучили Толстого от церкви и запрещают его произведения?

— Людям свойственно ошибаться. Они считают Толстого политиком, чуть ли не революционером, а Толстой — всего лишь величайший художник мира, гордость России и стоит над всеми вашими партиями и революциями. И я это докажу в своей речи!

— А вы думаете, начальство вам это позволит?

— Для того чтобы публично сказать, что Лев Толстой — великий писатель земли русской, никакого разрешения не требуется.

— Это вы так думаете.

— Не думаю, а уверен!

— Вы идеалист. Вы не понимаете, в какой стране живете. Умоляю, не делайте этого! Они вас уничтожат. Попомните мое слово!

### III

#### „ЧТО ТАКОЕ „КРАСНЫЙ“?“

Среди ночи Петя проснулся и увидел, что Василий Петрович без сюртука сидит за письменным столом. Петя привык к тому, что отец по ночам исправляет тетрадки. Но теперь отец был занят совсем другим. Стопки тетрадок лежали на столе нетронутые, а он что-то быстро писал своим бисерным почерком. Вокруг него на столе были раскиданы маленькие толстые томики старого издания сочинений Толстого.

— Папочка, что ты пишешь?

— Спи, мальчик, спи, — сказал Василий Петрович и, подойдя к кровати, поцеловал и перекрестил Петю.

Мальчик перевернул подушку на прохладную сторону и опять заснул. Засыпая, он слышал быстрый скрип пера, дрожание образа, висящего на спинке кровати, и видел темную голову отца рядом с зеленым колпаком лампы и теплый огонек лампы в углу перед образом с сухой пальмовой веткой, тень от которой таинственно лежала на обоях, как всегда вызывая представление о ветке Палестины, о бедных сынах Солима и усыпляя чудной музыкой лермонтовских стихов: «Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой...»

Утром, пока Василий Петрович умывался, причёсывал мокрую голову и пристегивал крахмальному воротничку черный галстук, Петя успел посмотреть, что писал отец ночью.

На столе лежала старинная самодельная тетрадь, сшитая суровыми нитками. Петя сразу ее узнал. Обычно она хранилась в папином комодике вместе с разными семейными реликвиями: венчальными пожелтевшими свечами, веточкой флердоранжа, белыми лайковыми перчатками, бисерной сумочкой покойной мамы, ее крошечным перламутровым биноклем, сухими листьями дикой груши с могилы Лермонтова и множеством тех мелких обломков и вещей, которые в глазах Пети не имели никакого смысла, а для Василия Петровича являлись драгоценными воспоминаниями.

Однажды Петя рассматривал эту тетрадь. Половину ее занимал написанный Василием Петровичем доклад по случаю столетия со дня рождения Пушкина; другая половина оставалась чистой. Теперь на этой пожелтевшей половине мальчик увидел написанный тем же бисерным почерком новый доклад — по случаю смерти Толстого. Он начинался следующими словами: «Умер великий писатель земли русской; закатилось солнце нашей литературы...»

Василий Петрович надел новые манжеты, вправил в них новые, парадные запонки из дутого золота и, аккуратно перегнув тетрадку, сунул ее в боковой карман сюртука. Когда он потом торопливо пил чай на углу стола, а потом надевал в передней свое драповое пальто с потертой бархаткой на воротнике, Петя увидел, как у него дрожат пальцы и прыгает на носу пенсне. Почему-то Пете вдруг стало ужасно жалко отца. Он подошел и, как в детстве, потерялся о его рукав.

— Ничего, мы еще повоюем! — сказал отец и погладил сына по спине.

— Все-таки я вам очень не советую, — серьезно сказала тетя, заглядывая в переднюю.

— Вы ошибаетесь, — с мягким, глубоким волнением в голосе сказал Василий Петрович, надел свою черную широкополую шляпу и быстро вышел на лестницу.

— Ох, дай бог, чтобы я ошиблась! — вздохнула тетя. — Мальчишки, не копайтесь, а то опоздаете в гимназию, — прибавила она и стала помогать пристегивать ранец своему любимцу Павлику, до сих пор еще не вполне постигшему эту простую премудрость.

День прошел, как обычно, — короткий и вместе с тем тягостно длинный, темный ноябрьский день, полный какого-то неясного ожидания, глухих слухов и повторения все тех же мучительных слов: «Чертков», «Софья Андреевна», «Астапово», «Озолин».

В этот день хоронили Толстого.

Петя всю жизнь безвыездно провел на юге, у моря, среди новороссийских степей и никогда не видел леса. Но почему-то теперь он очень ясно представлял себе Ясную Поляну, лес над заросшим оврагом. Петя видел черные стволы старых оголенных лип, среди которых без священников и певчих опускали в могилу простой крестьянский гроб с высохшим, старым телом Льва Толстого. И над этим мальчик видел все те же тучи и стаи все тех же ворон, что в ранних дождливых сумерках летали над куполами подворья и над черным Куликовым полем.

Отец вернулся с уроков, как обычно, когда уже в столовой зажгли лампу. Он был возбужден и растроганно весел. На тревожный вопрос тети, прочитал ли он ученикам свой доклад и как это было принято, Василий Петрович не мог удержать наивной улыбки, лучисто блеснувшей под стеклами пенсне.

— Муху можно было услышать, — сказал он, вынимая из заднего кармана платок и вытирая сырую бороду. — Никак не ожидал, что мои сорванцы так горячо и серьезно отнесутся к этой теме. И девицы тоже. Я повторил свой доклад и на уроке в седьмом классе Марининской гимназии.

— Неужели начальство вам разрешило?

— А я никого и не спрашивал. Зачем? Я считаю, что преподаватель словесности имеет полное право на своем уроке беседовать с учениками о личности любого великого русского писателя, а в особенности

Толстого. Больше того: я считаю это своим священным долгом.

— Ах, как вы неосторожны!

Поздно вечером заходили какие-то незнакомые молодые люди: два студента в очень старых, полинявших фуражках и барышня — видимо, курсистка. Один из студентов был в кривом пенсне на черной ленте, в сапогах и курил папиросу, пуская дым через нос, а барышня была в короткой жакетке и все время прижимала к груди маленькие красные ручки. Войти в комнаты они почему-то отказались, а долго стояли в передней, разговаривая с Василием Петровичем. Слышался густой неразборчивый бас — повидимому, того самого студента, который носил пенсне на ленте, и умоляющий шепелявый голос курсистки, повторявшей через равные промежутки одну и ту же фразу:

— Мы уверены, что, будучи передовым, благородным человеком и деятелем, вы не откажете студенческой молодежи в ее покорнейшей просьбе...

А третий посетитель все время застенчиво вытирал о половичок мокрые штиблеты и сдержанно сморкался.

Оказалось, что слух о выступлении Василия Петровича уже каким-то образом дошел до Высших женских курсов и медицинского факультета императорского Новороссийского университета, и делегация студентов явилась выразить Василию Петровичу чувства солидарности, а также просить его повторить свой доклад в каком-то социал-демократическом студенческом кружке. Василий Петрович был польщен, но вместе с тем это его неприятно удивило. Поблагодарив молодых людей за лестное внимание, он от выступления в социал-демократическом кружке решительно отказался. Он заявил, что ни к какой партии никогда не принадлежал, не принадлежит и не будет принадлежать и считает, что превращать в политику смерть Толстого есть неуважение к памяти великого писателя, так как известно отрицательное отношение самого Толстого ко всем без исключения политическим партиям и что Толстой вообще никакой политики не признавал.

— В таком случае, извините, — сухо сказала курсистка. — Мы в вас глубоко разочарованы... Пойдемте, товарищи, из этого дома.

И молодые люди с достоинством удалились, оставив после себя запах асмоловского табака и мокрые следы на лестнице.

— Удивительное дело! — говорил Василий Петрович, расхаживая по столовой и протирая пенсне подкладкой домашнего пиджака. — Удивительное дело — всюду люди находят повод для политики!

— Я вас предупреждала, — сказала тетя. — Боюсь, что все это кончится крупными неприятностями.

Дурные предчувствия тети оправдались, хотя и не так быстро, как она ожидала. Прошел по крайней мере месяц, прежде чем начались неприятности. Собственно говоря, их приближение можно было заметить по разным признакам гораздо раньше. Но эти признаки казались так ничтожны, что в семье Бачей на них не обратили должного внимания.

— Папочка, что такое «красный»? — спросил однажды за обедом Павлик, как всегда неожиданно, и посмотрел на отца блестящими наивными глазами.

— Вот тебе и раз! — сказал Василий Петрович, находившийся в прекрасном настроении. — Довольно странный вопрос. Мне кажется, что красный — это значит не синий, не желтый, не коричневый... гм, ну и так далее.

— Это я знаю. А что такое «красный человек»? Разве бывают красные люди?

— Ах, ты вот о чем! Разумеется, бывают. Например, североамериканские индейцы. Так называемые краснокожие.

— Они этого еще в своем приготовительном классе не проходили, — презрительно заметил Петя. — Они еще мартыханы.

Но Павлик пропустил мимо ушей эту шпильку. Продолжая пытливо рассматривать отца, он спросил:

— А ты, папочка, разве индеец?

— В основном нет, — рассмеялся отец так звонко и весело, что с его носа соскользнуло пенсне и чуть не упало в тарелку с голубцами.

— А тогда почему же Федька Пшеничников говорит, что ты красный?

— Вот как! Это любопытно. Но кто же этот самый твой Федька Пшеничников?

— Один мальчик из нашего класса. У него отец — старший письмоводитель в канцелярии одесского градоначальника.

— Ах, вот как! Ну, значит, твоему Федьке и книги в руки! Впрочем, ты сам можешь убедиться, что я отнюдь не красный, а бываю красным лишь в сильные морозы.

— Однако это неприятно, — заметила тетя.

Вскоре после этого как-то вечером к Василию Петровичу по делам эмеритальной кассы<sup>1</sup> заглянул некто Крылевич, казначей мужской гимназии, где преподавал Василий Петрович. Покончив с делами, Крылевич, который всегда был неприятен Василию Петровичу, остался пить чай, просидел часа полтора, ужасно надоел и все время заговаривал о Толстом, хвалил Василия Петровича за смелость и настойчиво просил дать ему на дом почитать доклад. Отец отказался. Крылевич, видимо, обиделся и, надевая в передней перед зеркалом свою плоскую, просалившуюся на дне фуражку с кокардой министерства народного просвещения, говорил отцу, сладко улыбаясь:

— Напрасно, Василий Петрович, вы не хотите доставить мне это наслаждение, совершенно напрасно! Ваша скромность паче гордости.

Его посещение оставило неприятный осадок.

Были и еще кое-какие мелочи этого же порядка, вроде того, что при встрече с Василием Петровичем на улице некоторые знакомые раскланивались с подчеркнутым уважением, в то время как другие, напротив, здоровались крайне сухо, всячески стараясь показать свое неодобрение.

Перед самым рождеством разразилась катастрофа.

#### IV

### КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Павлик, которого только что «распустили» на каникулы, расхаживал перед домом в своей слишком длинной зимней шинели, сшитой на рост, и в новых калошах, которые удивительно приятно хрустели по свежему декабрьскому снежку, оставляя превосходные зернистые отпечатки с овальным клеймом посередине. В ранце у Павлика находился табель с отличными отметками за вторую четверть, без неприятных замечаний и выговоров и даже с пятерками за внимание, прилежание и поведение, что, говоря по совести, было несколько преувеличено. Но Павлик благодаря своим невинным шоколадно-зеркальным милым глазкам обладал счастливой способностью всегда выходить сухим из воды.

<sup>1</sup> Эмеритальные кассы существовали до революции при некоторых учреждениях. Эти кассы выдавали своим участникам денежные пособия.



Настроение у мальчика было вполне предпраздничное, и только в самой глубине души шевелился неприятный червячок беспокойства. Дело в том, что сегодня перед выходом из гимназии приготовительный класс не удержался и опять устроил обструкцию. На этот раз обструкция заключалась в том, что, желая отомстить грубому и нелюбимому швейцару, не хотевшему открыть двери до звонка, ученики приготовительного класса коллективно бросили калошу в чугунную печьку рядом со швейцарской, вследствие чего повалил едкий дым от горящего каучука и нелюбимому швейцару пришлось заливать печьку водой. В это время прозвенел звонок, и приготовительный класс в полном составе успел разбежаться. Теперь Павлик опасался, как бы это происшествие не стало известно инспектору и не вызвало серьезных последствий. И это слегка омрачало чистую радость наступивших каникул.

И вдруг Павлик увидел именно то, чего он больше всего боялся. По улице прямо на него шел курьер в фуражке с синим околышем и в пальто с барашковым воротником, из-под которого виднелся синий стоячий воротник мундира. Подмышкой он держал большую разносную книгу в мраморном переплете. Курьер неторопливо подошел к воротам, посмотрел на треугольный фонарь с номером дома и остановился. У Павлика упало сердце.

— Где здесь квартира господина Бачей? — спросил курьер.

И Павлик понял, что он погиб. Это, конечно, был официальный письменный вызов родителям для объяснений по поводу поведения ученика приготовительного класса Бачей Павла, то-есть самое страшное, что только могло произойти с гимназистом.

— А что? Вызывают родителей? — с жалкой улыбкой спросил Павлик, не узнавая своего голоса, и, весь залившись краской, прибавил: — Вы, дяденька, можете дать повестку мне, а я уж передам, а то что вам подыматься по лестнице!

— Приказано под расписку! — строго сказал курьер, поправляя солдатские усы.

— Второй этаж, квартира номер четыре, — прошептал Павлик, чувствуя, что ему делается жарко, душно, тошно и ужасно.

Мальчик даже не сообразил, что курьер незнакомый. Впрочем, Павлик ведь учился всего лишь первый год и мог не знать всех гимназических служителей.

Едва курьер скрылся в парадном, как свет померк в глазах мальчика. Для него в один миг пропала вся красота мира, который между тем продолжал оставаться все таким же свежим и прекрасным. Так же заходило за белоснежным, с синими тенями Куликовым полем, за вокзалом, красное, морозное солнце; так же за углом с музыкальным шорохом встряхивались крупные бубенцы на хомуте озябшей извозчицкой лошадки; так же дымились миски с горячим клюквенным киселем, выставленные кухарками на балконы; так же алели на балконных перилах толстые валики хрупкоголубого снега, а пар над мисками был такой же клюквенно-красный, как и сам остывающий кисель; так же празднично дышала улица бодрым движением езды и ходьбы.

Но ничего этого Павлик уже не замечал. Сначала он решил больше никогда не возвращаться домой, а все время ходить по улицам, до тех пор, пока не умрет от голода или не замерзнет. Потом, походив немного по переулкам, он давал себе самые страшные клятвы коренным образом исправиться и уже больше никогда в жизни не участвовать ни в каких обструкциях, а сделаться самым образцовым гимназистом не только в Одессе, но и во всей Российской империи и тем заслужить прощение папы и тети. Потом он жалел себя, свою погибшую жизнь и несколько раз начинал плакать, размазывая по лицу слезы, щипавшие на морозе нос. Но в конце концов голод загнал его домой, и он, обессиленный страданиями, появился на пороге, когда в квартире горели лампы. Павлик уже собирался приступить к самому бурному и самому искреннему раскаянию, как вдруг заметил, что вся семья находится в состоянии крайнего возбуждения. Повидимому, это возбуждение не имело никакого касательства к личности Павлика, так как на его появление никто даже не обратил внимания.

Неубраный обед стоял на столе. Отец, скрипя ботинками, стремительно ходил из комнаты в комнату. Пóлы его сюртука развевались. На лице виднелись белые и розовые пятна.

— Я говорила, я говорила... — повторяла тетя, поворачиваясь туда и назад на винтовом табурете перед пианино с белыми мельхиоровыми подсвечниками, закапанными стеарином.

А Петя дышал на оконное стекло и, скрипя пальцем, писал на нем слова: «Милостивый государь, милостивый государь...»

Оказалось, что пришедший курьер был вовсе не из гимназии, а из канцелярии попечителя учебного округа. Он принес повестку с приглашением надворному советнику Бачей явиться завтра в приемные часы «для объяснения обстоятельств, связанных с произнесением перед учащимися не разрешенной начальством речи по случаю смерти писателя графа Толстого».

На другой день, вернувшись от попечителя, Василий Петрович, не снимая парадного сюртука, сел в качалку и заложил за голову руки. Как только Петя увидел гневную белизну его высокого лба и трясущуюся челюсть, он сразу понял, что произошло нечто ужасное. Откинувшись на плетеную спинку и вцепившись в ручки качалки пальцами с побелевшими от напряжения косточками, Василий Петрович нервно раскачивался, упираясь в пол носком поскрипывающего ботинка.

— Василий Петрович, бога ради, но что же все-таки случилось? — наконец спросила тетя, округлив добрые глаза, полные страха.

— Умоляю вас, оставьте меня в покое! — с усилием выговорил отец, и челюсть его запрыгала еще сильнее.

Пенсне съехало с носа, и Петя увидел на переносице отца две маленькие коралловые вдавленки, отчего выражение его лица сделалось беспомощно-страдальческим. Мальчик вспомнил, что именно такое выражение было у папы, когда умерла мама и лежала покрытая гиацинтами в белом гробу, а отец так же безучастно качался в качалке, заложив за голову руки, и в его покрасневших глазах стояли слезы. Петя подошел к отцу, прижался и обнял за плечи, слегка осыпанные перхотью.

— Папочка, не надо! — с нежностью сказал он.

Но отец вырвался, вскочил и с такой силой взмахнул руками, что с треском выскочили крахмальные манжеты.

— Ради господа бога Иисуса Христа, оставьте меня в покое! — закричал он мучительным голосом и бросился в комнату, которая была одновременно и его кабинетом и спальней, где он спал вместе с мальчиками.

Там он снял сюртук и ботинки, лег поверх одеяла на кровать и повернулся лицом к обоям.

Когда Петя увидел его поджатые ноги в белых карпетках и синюю стальную пряжку жилета, сморщенного на спине, то он уже больше не мог сдерживаться и заплакал, вытирая глаза рукавом куртки.

Что же произошло с Василием Петровичем у попечителя? А произошло, как выяснилось потом, вот что. Сначала Василий Петрович очень долго и неудобно сидел один в холодной, по-казенному роскошной приемной на голубой бархатной банкетке с золотыми ножками, вроде тех, какие бывают в фойе театров или в музеях. Затем дежурный чиновник в щегольском мундире министерства народного просвещения вошел, с ног до головы отражаясь в паркете, и пригласил Василия Петровича в кабинет его высокопревосходительства.

Попечитель сидел за громадным письменным столом. Он был горбат и, как большинство горбунов, очень мал ростом, так что между двумя бронзовыми малахитовыми канделябрами, над громоздким малахитовым письменным прибором виднелась только его горделиво и злобно вздернутая черно-серебряная, стриженная бобриком головка, подпертая высоким крахмальным воротничком с белым галстуком. Он был в вицмундирном форменном фраке со звездой на печени.

— Почему вы позволили себе явиться ко мне в партикулярном платье? — не предлагая сесть и не вставая, сказал попечитель.

Василий Петрович испугался, но, представив свой старый вицмундир с дырами вместо пуговиц, которые некогда с мясом выдрал Петя, неожиданно для самого себя добродушно улыбнулся и даже несколько юмористически развел руками.

— Потрудитесь не паясничать и не размахивать руками: вы находитесь в присутственном месте, а не в фарсе!

— Милостивый государь! — вспыхнул Василий Петрович.

— Молчать! — крикнул попечитель отчетливым петербургским департаментским альтом и хлопнул ладонью по бумагам. — Я вам не милостивый государь, а тайный советник — его высокопревосходительство! И па-а-апра-ашу вас не выходить из рамок и держать руки па-а швам! Я пригласил вас, чтобы поставить альтернативу... — продолжал он, с видимым удовольствием безукоризненно отчетливо выговаривая слово «альтернатива», — чтобы поставить альтернативу: либо вы в присутствии господина инспектора учебного округа на одном из ближайших уроков публично откажетесь перед учениками от своих пагубных заблуждений и разъясните им разлагающее влияние

учения графа Толстого на русское общество, либо подавайте прошение об отставке. А если не пожелаете это сделать, будете уволены по третьей статье без объяснения причин, со всеми вытекающими из этого весьма роковыми для вас последствиями. Я не допущу во вверенном мне учебном округе антиправительственную пропаганду и каждую подобную попытку буду беспощадно пресекать в корне.

— Позвольте... ваше высокопревосходительство! — сказал Василий Петрович дрожащим голосом. — Но ведь Лев Толстой — великий наш художник, слава, гордость, так сказать, России... И я не понимаю... При чем здесь, ваше высокопревосходительство, политика?

— Прежде всего граф Толстой есть вероотступник, извергнутый святейшим синодом из лона православной церкви, а также человек, посягнувший на самые священные устои Российской империи и на ее коренные законы. Если вы этого не понимаете по своему недомыслию, то вам не место на государственной службе!

— Вы меня оскорбляете... — с трудом выговорил Василий Петрович, чувствуя, как у него начинают дрожать скулы.

— Ступайте вон! — сказал попечитель вставая.

И Василий Петрович вышел из кабинета с дрожью в коленях, которую он никак не мог преодолеть ни на мраморной лестнице, где в двух белых нишах стояли гипсовые бюсты царя и царицы в жемчужном кокошнике, ни в швейцарской, где крупный швейцар выбросил ему на перила пальто, ни потом, на извозчике, который обычно в семье Бачей нанимался лишь в самых исключительных случаях.

И вот он теперь лежал поверх марсельского одеяла на кровати, поджав ноги, грубо оскорбленный до глубины души, бесильный, оплеванный, раздавленный несчастьем, которое свалилось не только на него лично, но и — как он ясно теперь понимал — на всю его семью. Увольнение по третьей статье без объяснения причин означало не только волчий билет, гражданскую смерть, но также и вероятность административной ссылки «в места, не столь отдаленные», то-есть полное разорение, нищету и погибель семьи. Выход из положения мог быть только один: публично отказаться от своих убеждений.

По характеру Василий Петрович не был ни героем, ни тем более мучеником. Он был

просто добрым, интеллигентным человеком, мыслящим, порядочным — что называется, «светлая личность», «идеалист». Университетские традиции не позволяли ему отступить. В его представлении «сделка с совестью» являлась пределом морального падения. И все-таки он заколебался. Слишком страшной казалась пропасть, куда без малейшей жалости готовы были его бросить. Он понимал, что выхода нет, хотя и старался что-нибудь придумать.

Василий Петрович был до того обескуражен, что даже один раз решил писать на высочайшее имя и послал в мелочную лавочку купить на десять копеек несколько листов самой лучшей, «министерской» бумаги. Он еще продолжал верить в справедливость царя, помазанника божия.

Может быть, он действительно и написал бы государю, но тут в дело решительно вмешалась тетя. Она велела кухарке не сметь ходить в лавочку за «министерской» бумагой, а Василию Петровичу сказала:

— Ей-богу, вы святой человек! Неужели вы не понимаете, что все это одна шайка?

Василий Петрович только растерянно щурил глаза, на разные лады повторяя:

— Но что же делать, Татьяна Ивановна? Что же все-таки делать?

Однако тетя ничего не могла посоветовать. Она уходила в свою маленькую комнату возле кухни, садилась за туалетный столик и прижимала к покрасневшему носу скомканный кружевной платочек.

## V

### ПАНИХИДА

Наступил сочельник, двадцать четвертое декабря — число, имевшее для семьи Бачей особое значение. Это был день ангела покойной мамы. Каждый год в этот день всей семьей ездили на кладбище служить панихиду. Поехали и теперь. Погода была вьюжная. Яркая, струящаяся белизна ломила глаза. Кладбищенские сугробы сливались с белоснежным небом. Кресты и черные железные ограды дымились. В старых металлических венках с фарфоровыми цветами посвистывал ветер. Петя стоял без фуражки, но в башлыке, по колено в свежем снегу. Он усердно молился, сияясь представить покойную маму, но вспоминал только какие-то частности: шляпу с пером, вуаль, подол широкого муарового платья, обшитый «щеточ-



кой». Сквозь вуаль с мушками, завязанную на подбородке, ему улыбались родные прищуренные глаза. Но больше ничего Петя уже не мог представить. Остался только след какого-то давнего, сглаженного временем горя, страх собственной смерти и золотые буквы маминого имени на белой мраморной плите, которую кладбищенский сторож перед их приходом довольно небрежно обмел от снега чистеньким просяным венником. Тут же была могила бабушки — папиной мамы — и еще одно, свободное место, куда, как любил иногда говорить Василий Петрович, когда-нибудь положат и его самого, между матерью и женой — двумя женщинами, которых он любил с такой верностью и таким постоянством всю жизнь.

Петя крестился, кланялся, думал о матери и в то же время наблюдал за священником, за псаломщиком, за папой, Павликом и тетей. Павлик все время вертелся, поправляя загнутый башлычок, который кусал его покрасневшие уши. Тетя потихоньку плакала в муфту. Отец, просительно сложив перед собой руки чашечкой и наклонив слегка поседевшую голову с треплющимися на ветру семинарскими волосами, неподвижно смотрел вниз, на могильную плиту. Петя знал, что отец думает сейчас о покойной маме. Но он не знал, какие трудные, противоречивые чувства испытывает при этом Василий Петрович. Ему сейчас особенно не хватало мамы, ее любви, нравственной поддержки. Отец вспоминал тот день, когда он, молодой и взволнованный, читал жене только что написанный реферат о Пушкине, и как они потом долго, горячо его обсуждали, и как в одно прекрасное утро он в новеньком вицмундире отправился читать этот реферат и она, подавая ему в передней только что выглаженный, еще горячий от утюга носовой платок, жарко его поцеловала и перекрестила тонкими пальчиками, и как потом, когда он с триумфом возвратился домой, они весело обедали, а крошечный Петя, которого они приучали к самостоятельности, размазывал по своим толстым щекам кашу «геркулес» и время от времени спрашивал отца, сияя черными глазками: «Папа, а ты умеешь кушать?» Как давно и вместе с тем как недавно это было! Теперь Василий Петрович один должен был решать свою судьбу.

Первый раз в жизни он ясно понял то, чего раньше не мог или не хотел понять: нельзя в России быть честным и независимым человеком, находясь на государственной службе. Можно быть только тупым цар-

ским чиновником, не имеющим собственного мнения, и беспрекословно исполнять приказания других, высших чиновников, как бы эти приказания ни были несправедливы и даже преступны. Но самое ужасное для Василия Петровича заключалось в том, что все это исходило именно от той высшей власти помазанника божия, российского самодержца, в святость и непогрешимость которого Василий Петрович до сих пор так крепко и простодушно веровал.

Теперь, когда эта вера поколебалась, Василий Петрович всем своим сердцем обратился к религии. Он молился за свою покойницу-жену, просил у бога совета и помощи. Но молитва уже не давала ему прежнего успокоения. Он крестился, кланялся и вместе с тем с каким-то новым чувством смотрел на священника и псаломщика, в два голоса наскоро служивших панихиду. Все то, что они делали, теперь уже не создавало религиозного настроения, как бывало раньше, а казалось грубым, ненатуральным, как будто бы Василий Петрович не сам молился, а наблюдал со стороны, как совершают молитвенные действия какие-то языческие жрецы. То, что раньше всегда умиляло Василия Петровича, теперь было как бы лишено всякой поэзии.

Священник в траурной глазетовой ризе с серебряным вышитым крестом на спине, изпод округленных краев которой высовывались короткие ручки в темных рукавах подрясника, произносил красивые слова панихиды и ловко крутил на цепочках и бросал в разные стороны кадило с раскаленными угольями, рдеющими, как рубины. Лиловый дым вылетал клубами и быстро седел, таял на ветру, оставляя в воздухе тяжелый балзамический запах росного ладана. Псаломщик с благоговейно выпуклыми веками прикрытых глаз и солдатскими усами, в точно таком же драповом пальто, как у Василия Петровича, даже с такой же потертой бархаткой на воротнике, быстро, то повышая, то понижая голос, подпевал священнику. Оба — священник и псаломщик — делали вид, будто совсем не торопятся, хотя Василий Петрович видел, что они очень спешат, так как им предстоит отслужить еще несколько панихид на других могилах, где их уже ждут и даже делают издали нетерпеливые знаки. И было заметно, как они обрадовались, когда дошли до конца, и с особенным, бодрым воодушевлением запели «Надгробное рыдание творяще песнь» и так далее, после чего семейство Бачей приложилось к холодному

серебряному кресту, и, пока этот крест псаломщик поспешно завертывал в епитрахиль, Василий Петрович пожал руку священника, с чувством неловкости передавая в его ладонь два скользких серебряных рубля, на что священник сказал:

— Благодарствуйте! — и прибавил: — А я слышал, что у вас крупные служебные неприятности. Но уповайте на бога, авось как-нибудь обойдется. Имею честь кланяться! Какова погода, а? Так и крутит...

Что-то оскорбительное послышалось Василию Петровичу в этих словах. Петя видел, как отец вспыхнул. Василий Петрович вдруг с особенной остротой вспомнил, как на него кричал попечитель, вспомнил свой униженный страх, и в нем снова заговорило чувство гордости, которое он все время старался подавить с христианским смирением. В эту минуту он решил ни за что не сдаваться, а если придется, то до конца пострадать за свою правду.

Но, вернувшись с кладбища домой и немного успокоившись, он снова почувствовал прежние сомнения: имеет ли он право жертвовать благополучием семьи?

Между тем рождественские каникулы шли своим чередом, только не так весело, беззаботно, как в прежние годы.

Так же томительно-медленно приближался синий вечер сочельника с его постным кухонным чадом и первой звездой в окне, до появления которой нельзя было ни зажигать огня, ни садиться за стол есть кутью и узвар. Так же на первый день справляли елку и так же заходили на кухню с улицы славить Христа мальчики со звездой, увешанной елочными бумажными цепями и с круглой бумажной иконкой посередине. Так же по вечерам таинственно и празднично вспыхивали в замерзших окнах синие алмазики месячного света. Так же встречали Новый год яблочным слоеным пирогом с запеченным на счастье новеньким гривенником в бумажке. И так же в яркий, трескучий морозный полдень с соборной площади доносились звуки полковых оркестров крещенского парада.

Приближался конец каникул. Нужно было принять какое-нибудь решение. Василий Петрович совсем пал духом. Чувствуя душевное состояние отца, мальчики тоже приуныли. Одна лишь тетя изо всех сил старалась поддерживать праздничное настроение. В новом шелковом платье, со всеми своими любимыми кольцами на тонких пальцах,

пахнувшая французскими духами «Кёр де Жанетт», она то и дело садилась за пианино и, раскрыв комплект «Нувелиста», играла вальсы, польки и цыганские романсы из репертуара Вьяльцевой. В крещенский вечер она затеяла гадания. В полоскательницу со свежей водой лили, за неимением воска, парафин; жгли на кухне скомканную бумагу и потом рассматривали ее тень на празднично выбеленной стене. Но все это тоже выходило не вполне натурально.

## VI

### ОТСТАВКА

Накануне первого учебного дня, поздно вечером, сквозь сон Петя снова услышал за дверью столовой голоса папы и тети.

— Вы этого не сделаете, не должны сделать! — говорила взволнованным голосом тетя.

— Но что же? — спрашивал отец, и было даже слышно, как он хрустит пальцами. — Как же быть? Каким образом мы станем существовать? Имею ли я на это право? Какое горе, что с нами нету покойной Женечки!

— Поверьте, покойница Женя ни за что не позволила бы вам унижаться перед всеми этими чиновниками!..

Скоро Петя заснул и уже больше ничего не слышал, но утром произошло необыкновенное событие: первый раз в жизни Василий Петрович не надел сюртука и не пошел на уроки. Вместо этого кухарка была послана в лавочку за «министерской» бумагой, и Василий Петрович своей четкой, бисерной скорописью, без росчерков и завитушек написал прошение об отставке.

Отставка была холодно принята. Однако никаких неприятных последствий не произошло: повидимому, не в интересах попечителя было раздувать это дело. Таким образом, Василий Петрович остался без службы, то есть с ним случилось самое страшное, что только могло случиться с семейным человеком, не имеющим никаких других средств существования, кроме жалованья.

У Василия Петровича были небольшие сбережения, которые он копил уже давно, мечтая съездить за границу сначала с женой, а потом, после ее смерти, с мальчиками. Теперь эти мечты, конечно, рушились. Вместе с деньгами, полученными Василием Петровичем при выходе в отставку из эмеритальной кассы и кассы взаимопомощи, об-

разовалась сумма, на которую можно было очень скромно прожить около года. Но как существовать дальше — было решительно неизвестно, тем более что возникал вопрос о дальнейшем пребывании в гимназии Пети и Павлика: до сих пор мальчики, как сыновья преподавателя, учились даром, а теперь предстояло вносить непосильную плату за право ученья.

Но самое тягостное для Василия Петровича, всю свою жизнь привыкшего трудиться, было вынужденное ничегонеделанье. Он не знал, куда себя девать, целыми днями ходил по комнатам в старом домашнем пиджаке, забывал стричься, заметно постарел и часто ездил на конке на кладбище, где подолгу сидел у могилы жены.

Павлик, еще не вышедший из детского возраста, совсем не понимал, что на них свалилось большое несчастье, и продолжал жить в полное свое удовольствие. Но Петя понимал все. Мысли о том, что, вероятно, ему придется оставить гимназию, снять с фуражки герб и донашивать свою форму с крючками вместо блестящих металлических пуговиц, как обычно ходили выгнанные гимназисты или экстерны, вызывала в нем чувство болезненного стыда. Это усугублялось той зловещей переменной, которую Петя стал замечать по отношению к себе со стороны гимназического начальства и некоторых товарищей.

Словом, новый год начался как нельзя хуже. Настроение было подавленное. Что касается тети, то, к Петинуму удивлению, она не только не выражала никакого уныния или беспокойства, а, наоборот, всем своим видом показывала, что все идет превосходно. На ее лице прочно установилось боевое выражение непреклонной решимости во что бы то ни стало спасти семью от гибели.

План спасения заключался в том, чтобы давать вкусные, питательные и дешевые домашние обеды для интеллигентных тружеников, что, по расчетам тети, должно было если не дать денежной прибыли, то, во всяком случае, избавить семью от расходов на собственное питание. Для того, чтобы квартира тоже ничего не стоила, тетя решила сама переселиться в столовую, кухарку переселить в кухню, а освободившиеся таким образом две комнаты отдавать внаймы с полным пансионом все тем же воображаемым интеллигентным труженикам.

Отец болезненно поморщился при одной лишь мысли, что его дом собираются «пре-

вратить в кухмистерскую», но делать было нечего, и он махнул на все рукой:

— Поступайте как знаете.

И тетя развила бурную деятельность. На окнах отдающихся комнат были наклеены билетики, хорошо видные с улицы. У ворот прибили фанерную дощечку: «Домашние обеды», весьма художественно исполненную Петей масляными красками с изображением дымящегося супника и упоминанием одиноких интеллигентных тружеников. По мысли тети, все это должно было придать их коммерческому предприятию некий общественно-политический, даже оппозиционный оттенок. Начали закупать кухонную посуду, а также делать запасы самой лучшей и самой свежей провизии. Дуняше сшили новое ситцевое платье и белоснежный фартук.

Большую часть времени тетя посвящала изучению поваренной книги Молоховец, этой библии каждого зажиточного семейного дома. Она выписывала в особую тетрадь наиболее необходимые рецепты и сочиняла разнообразное меню — вкусные и здоровые.

Никогда еще семейство Бачей не питалось так хорошо — даже, можно сказать, празднично. За месяц все заметно потолстели, в том числе и Василий Петрович, что находилось в странном противоречии с его положением человека, гонимого правительством.

Все бы шло хорошо, даже блестяще, если бы не отсутствие посетителей. Можно было подумать, что интеллигентные труженики нарочно сговорились не обедать.

Правда, в первые дни наблюдалось некоторое оживление. Пришли два прилично одетых бородатых господина с впалыми щеками и недоброжелательными глазами фанатиков, узнали, что вегетарианских блюд не имеется, и сердито ушли не попрощавшись.

Затем как-то с черного хода зашел разбитной денщик — солдат Модлинского полка в бескозырке — и попросил налить в судки две порции щей для своего офицера. Тетя объяснила, что щей нет, а есть суп-премтаньер. Денщик сказал, что это все равно, лишь бы при этом было вволю ситника, так как его благородие проигралось в стуколку и уже второй день сидят на квартире простудимши и не емши горячего. Тетя отпустила в долг две порции супа-премтаньер с большим количеством хлеба, и денщик, проворно перебирая толстыми, короткими ногами в сбитых сапогах, сбежал с лестницы, оставив в кухне густой запах пехотной казармы. Че-



рез два дня он явился снова и на этот раз унес в судках две порции бульона с пирожками, тоже в долг, обещав заплатить деньги, как только его благородие отыграется; но, по всей вероятности, его благородие так и не отыгралось, потому что посещения денщика навсегда прекратились.

Больше обедать не приходил никто.

Что касается сдачи внаем двух комнат, то и тут дело обстояло не лучше. В первый же день, как только наклеили на окна билетики, комнаты пришли нанимать молодые: он — молодой военный врач, во всем совершенно новеньком и сияющем, она — пухлая блондиночка в ротонде на беличьем меху, в кокетливом капоре, с муфточкой на шнурке, ямочками на щеках и родинкой над ротиком, круглым, как черешня. Они оба до такой степени дышали счастьем, так нестерпимо блестели на их безымянных пальцах новенькие обручальные кольца девяностошестой пробы, от них так благоухало цветочным мылом, кольдкремом, бриолином, везеталем, духами Брокер и еще чем-то, — как показалось Пете, «новобрачным», — что квартира Бачей, с ее старыми обоями и дурно натертыми полами, сразу же показалась маленькой, бедной и темной.

Пока молодые осматривали комнаты, муж все время крепко держал жену под руку, как будто боялся, что она от него куда-нибудь убежит; а жена, прижимаясь к нему, с ужасом озиралась вокруг и громко восклицала, почти пела:

— Мивый, это же савай! Это же настоящий савай! Здесь воняет куфней! Нет, нет, это нам совсем не подходит!

И они поспешно ушли, причем военный врач нежно позванивал маленькими серебряными шпорами, а молодая жена брезгливо подбирала юбку и так осторожно ставила ножки, словно боялась запачкать свои маленькие новые ботинки. Лишь после того, как внизу хлопнула дверь, Петя сообразил, что загадочное иностранное слово «савай» было не что иное, как «сарай», и ему стало так обидно, что он чуть не заплакал. А у тети потом долго горели уши.

Больше нанимать комнаты никто не являлся. Таким образом, тетины планы рухнули. Перед семейством Бачей снова встал призрак нищеты. Надежды сменились отчаянием. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в один прекрасный день, и, как это всегда случается, совершенно неожиданно, не пришло спасение.

## VII

### СТАРЫЙ ДРУГ

Это был действительно прекрасный день, один из тех мартовских дней, когда снега уже нет, земля черна, над голыми прутьями приморских садов сквозь тучи просвечивает водянистая голубизна, тяжелый ветерок несет по сухим тротуарам первую пыль, и над городом, как басовая струна, непрерывно гудит и колеблется звук великопостного колокола. В булочных пекли жаворонки с подгоревшими изюмными глазками, а на соборной площади, над громадным угловым домом, над кафе Либмана и над двуглавым орлом аптеки Гаевского летали тучи грачей, своим весенним гомоном заглушая шум города.

Этот день надолго запомнился Пете. Именно в этот день он сделался репетитором и первый раз в жизни давал за деньги урок латинского языка другому мальчику. Этот другой мальчик был Гаврик.

Дело произошло так. Несколько дней назад Петя возвращался из гимназии. Он шел медленно, погруженный в свои невеселые мысли, и представлял, как его скоро исключат из гимназии за невзнос платы.

Вдруг кто-то налетел на него сзади и стукнул кулаком по ранцу так, что в ранце подпрыгнул и загремел пенал. Петя споткнулся, чуть не упал, обернулся, готовый вступить в бой с неизвестным врагом, и очутился нос к носу с Гавриком, который стоял возле него, расставив ноги, и добродушно улыбался.

— Здорово, Петя! Давно не видались.

— Что ж ты, босяк, на своих кидаться?

— Чудак человек! Я же не по тебе стукнул, а по ранцу.

— А если бы я зарылся носом?

— Так я б тебя подхватил, о чем речь?

— Ну, как живешь?

— Ничего себе. Зарабатываю на жизнь.

Гаврик жил на Ближних Мельницах, и Петя встречался с ним редко, большей частью случайно, на улице. Но давняя детская дружба не проходила. Когда они при встречах задавали друг другу обычный вопрос: «Как живешь?» — то Петя всегда отвечал, пожимая плечами: «Учусь». А Гаврик, озабоченно морща небольшой круглый лоб, говорил: «Зарабатываю на жизнь». И каждый раз, когда они встречались, Пете приходилось выслушивать новую историю, которая непременно кончалась тем, что очеред-

ной хозяин либо прогорел, либо зажил на заработанные Гавриком деньги. Так было с владельцем купален между Средним Фонтаном и Аркадией, куда Гаврик нанялся на весь летний сезон ключником, то-есть отпирать кабины, давать напрокат полосатые купальные костюмы и стеречь вещи. Осенью владелец купален скрылся, не заплатив ни копейки, и Гаврику остались одни лишь чаевые. Так было с греком — хозяином артели грузчиков в Практической гавани, который нагло обманул артель, не доплатив больше половины. То же произошло и в артели по расклейке афиш и во многих других предприятиях, куда нанимался Гаврик в надежде хоть немного поддержать семью брата Терентия и заработать на жизнь.

Веселее, хотя в конечном счете так же невыгодно, было работать в синемаатографе «Биоскоп Реалитэ» на Ришельевской, недалеко от Александровского участка. В то время знаменитое изобретение братьев Люмьер — кинематограф — уже не было новинкой, но все еще продолжало удивлять человечество волшебным явлением «движущейся фотографии». В городе расплодилось множество синемаатографов, получивших общее название «иллюзион».

С понятием «иллюзион» были связаны: вывеска, составленная из разноцветных, крашенных электрических лампочек, иногда с бегущими буквами, и бравурный гром пианолы — механического фортепиано, клавиши которого сами собой нажимались и бегали взад-вперед, вызывая у посетителей дополнительное преклонение перед техникой XIX века. Кроме пианолы, в фойе обычно стояли автоматы, откуда, если опустить в шелку медный пятак, таинственно выползала шоколадка с передвижной картинкой или изпод чугунной курицы выкатывалось несколько разноцветных сахарных яичек. Иногда в стеклянном ящике выставлялась восковая фигура из паноптикума. Специальных помещений для иллюзионов еще не строили, а просто нанималась квартира, и в самой большой комнате, превращенной в зрительный зал, давали сеансы.

Иллюзион «Биоскоп Реалитэ» содержала вдова греческого подданного мадам Валиадис, женщина предприимчивая и с большим воображением. Она решила сразу убить всех своих конкурентов. Для этого она, во-первых, наняла известного куплетиста Зингерталь, с тем чтобы он выступал перед каждым сеансом, а во-вторых, решила произвести смелый переворот в технике, превратив

немой синемаатограф в звуковой. Публика повалила в «Биоскоп Реалитэ».

В бывшей столовой, оклеенной старыми обоями с букетами, узкой и длинной, как пенал, перед каждым сеансом возле маленького экрана стал появляться любимец публики Зингерталь. Это был высокий, тощий еврей в сюртуке до пят, в пожелтевшем пикейном жилете, штучных полосатых брюках, белых гетрах и траурном цилиндре, надвинутом на большие уши. С мефистофельской улыбкой на длинном бритом лице, с двумя глубокими морщинами на впалых щеках, он исполнял, аккомпанируя себе на крошечной скрипке, злободневные куплеты «Одесситка — вот она какая», «Солдаты, солдаты по улицам идут» и, наконец, свой коронный номер — «Зингерталь, мой цыпочка, сыграй ты мне на скрипочка». Затем мадам Валиадис в шляпке со страусовыми перьями, в длинных перчатках с отрезанными пальцами, чтобы люди могли видеть ее кольца, садилась за ободранное пианино, и под звуки «матчиша» и «Ой-ра, ой-ра!» начинался сеанс.

Шипела спиртово-калильная лампа проекционного аппарата, стрекотала лента, на экране появлялись красные или синие надписи, маленькие, убористые, как будто напечатанные на пишущей машинке. Потом одна за другой без перерыва шли коротенькие картины: видовая, где как бы с усилием, скачками двигалась панорама какого-то пасмурного швейцарского озера; за видовой — Патэ-журнал, с поездом, подходящим к станции, и военным парадом, где, суетливо выбрасывая ноги, очень быстро, почти бегом мелькали роты каких-то иностранных солдат в касках — и все это как бы сквозь мелькающую сетку крупного дождя или снега. Потом среди облаков на миг появлялся биплан авиатора Блерио, совершающего свой знаменитый перелет через Ла-Манш — из Кале в Дувр. Наконец начиналась комическая. Это был подлинный триумф мадам Валиадис. Все в той же мелькающей сетке крупного дождя неумело ехал на велосипеде маленький обезьяноподобный человечек — Глупышкин, сбивая на своем пути разные предметы, причем публика не только все это видела, но и слышала. Со звоном сыпались стекла уличных фонарей. Громыхая ведрами, падали на тротуар вместе со своей лестницей какие-то маляры в блузах. Из витрины посудной лавки с неописуемыми звуками вываливались десятки обеденных сервизов. Отчаянным голосом мяукала кошка, попавшая под велосипед. Разгневанная толпа,

потрясая кулаками, с топотом бежала за улепетывающим Глупышкиным. Раздавались свистки ажанов<sup>1</sup>. Лаяли собаки. Со звоном скакала пожарная команда. Взрывы хохота потрясали темную комнату иллюзиона. А в это время за экраном, не видимый никем, в поте лица трудился Гаврик, зарабатывая себе на жизнь пятьдесят копеек в день. Это он в нужный момент бил тарелки, дул в свисток, лаял, мяукал, звонил в колокол, кричал балаганным голосом: «Держи, лови, хватай!», топал ногами, изображая толпу, и со всего размаху бросал на пол ящик с битым стеклом, заглушая лающие звуки «Ой-ра, ой-ра!», которую, не жалея клавишей, наяривала мадам Валиадис по сю сторону экрана.

Несколько раз помогать Гаврику приходил Петя. Тогда они вдвоем поднимали за экраном такой кавардак, что на улице собиралась толпа, еще больше увеличивая популярность электрического театра.

Но жадной вдове этого показалось мало. Зная, что публика любит политику, она приказала Зингерталю подновить свой репертуар чем-нибудь политическим и подняла цены на билеты. Зингерталя сделал мефистофельскую улыбку, пожал одним плечом, сказал «хорошо» и на следующий день вместо устаревших куплетов «Солдаты, солдаты по улицам идут» исполнил совершенно новые, под названием «Галстуки, галстучки».

Прижав к плечу своим синим лошадиным подбородком крошечную, игрушечную скрипку, он взмахнул смычком, подмигнул почечным глазом публике и, намекая на Столыпина, вкрадчиво запел:

У нашего премьера

Ужасная манера

На шею людям галстуки цеплять, —

после чего сам Зингерталя в двадцать четыре часа вылетел из города, мадам Валиадис совершенно разорилась на взятки полиции и была принуждена ликвидировать свой иллюзион, а Гаврик получил лишь четвертую часть того, что он заработал.

## VIII

### МЕЧТА ГАВРИКА

Теперь Гаврик предстал перед Петей в синем засаленном сатиновом халате поверх старенького пальто с полысевшим каракулевым

воротником и в такой же шапке, из числа тех, что носили пожилые рабочие интеллигентных профессий: переплетчики, наборщики, официанты.

Петя сразу понял, что его друг опять переменил работу и теперь «зарабатывает на жизнь» в каком-то новом месте.

Гаврику шел уже пятнадцатый год. У него появился юношеский басок. Он не слишком заметно прибавил в росте, но плечи его расширились, окрепли. Веснушек на носу стало меньше. Черты лица определились, и глаза твердо обрезались. Но все же в нем еще сохранилось много детского: валкая черноморская походочка, манера озабоченно морщить круглый лоб и ловко стрелять слюной сквозь тесно сжатые зубы.

— Ну, и где же ты теперь зарабатываешь на жизнь? — спросил Петя, с любопытством осматривая странную одежду Гаврика.

— В типографии «Одесского листка».

— Брешешь!

— Побей меня кичкины лапки!

— Что же ты там делаешь?

— Пока разношу по заказчикам оттиски объявлений.

— Оттиски? — неуверенно переспросил Петя.

— Оттиски. А что?

— Ничего.

— Может быть, ты не знаешь, что такое оттиски? Так я тебе могу показать. Видал?

С этими словами Гаврик вынул из нагрудного кармана своего халата свертки сырой бумаги, остро пахнувшей керосином.

— А ну, покажи, покажи! — воскликнул Петя, хватая сверток.

— Не лапай, не купишь, — сказал Гаврик, но не зло, а добродушно, скорее по привычке, чем желая обидеть Петю. — Иди сюда, я тебе сейчас сам покажу.

Мальчики отошли в сторону, к чугунной тумбе возле ворот, и Гаврик развернул сырую бумагу, сплошь покрытую жирными, как вакса, глубокими оттисками газетных объявлений, преимущественно с рисунками, хорошо знакомыми Пете по «Одесскому листку», который выписывала семья Бачей. Здесь были изображения ботинок «Скороход» и калош «Проводник», непромокаемые макинтоши с треугольными капюшонами фирмы «Братья Лурье», бриллианты торгового дома Фаберже в открытых футлярах, окруженные сиянием в виде черных палочек, бутылки рябиновки Шустова, лиры театров, тигры меховщиков, рысаки шорников, черные кошки гадалок и хиромантов, коньки, экипажи, игрушки, ко-

<sup>1</sup> А ж а н ы — французские полицейские.

стюмы, шубы, рояли и балалайки, кренделя булочников, пышные, как клумбы, торты кондитеров, пароходы трансатлантических лайнеров, паровозы железнодорожных компаний... Наконец, здесь были — солидные, без рисунков — балансы акционерных обществ и банков, представленные колонками цифр основных капиталов и баснословных дивидендов.

Небольшие, крепкие, запачканные типографской краской руки Гаврика держали сырой лист газетной бумаги, на котором как бы магически отпечатались в миниатюре все богатства большого торгово-промышленного города, недоступные для Гаврика и для многих тысяч подобных ему простых рабочих людей.

— Вот, брат! — сказал Гаврик и, заметив в глазах Пети отражение той же мысли о природе человеческого богатства, которая не раз приходила и ему самому при виде газетных объявлений, вывесок и афиш, со вздохом прибавил: — Оттиски! — и посмотрел на свои заплатанные парусиновые, не по сезону и не по ноге, туфли. — Ну, а ты как живешь?

— Хорошо, — сказал Петя, опустив глаза.

— Бреешь! — сказал Гаврик.

— Честное благородное!

— А зачем же вы тогда стали давать домашние обеды?

Петя густо покраснел.

— Что? Скажешь, неправда? — настойчиво спросил Гаврик.

— Ну и что ж из этого? — пробормотал Петя.

— Значит, нуждаетесь.

— Мы не нуждаемся.

— Нет, нуждаетесь. У вас не хватает на жизнь.

— Еще чего!

— Брось, Петя! Не пой мне ласточку. Я же знаю, что твоего фатера поперли со службы и вы теперь не имеете на жизнь.

Первый раз Петя услышал правду о положении своей семьи, выраженную так просто и грубо.

— Откуда ты знаешь? — упавшим голосом спросил он.

— А кто этого не знает? Вся Одесса знает. Но ты, Петя, не пугайся. Его не заберут.

— Кого... не заберут?

— Батьку твоего.

— Как... не заберут?.. Что это такое — заберут?

Гаврик знал, что Петя наивен, но не до такой же степени! Гаврик засмеялся:

— Чудак человек, он не знает, что такое «заберут»! «Заберут» — значит посадят.

— Куда посадят?

— В тюрьму! — рассердился Гаврик. — Знаешь, как людей сажают в тюрьму?

Петя посмотрел в серьезные глаза Гаврика, и ему в первый раз стало по-настоящему страшно.

— Но ты не дрейфь, — сказал Гаврик поспешно, — твоего батьку не посадят. Сейчас за Льва Толстого редко кого сажают. Можешь мне поверить... — И, приблизив к Петю лицо, прибавил шопотом: — Сейчас почему зря хватают за нелегалышину. За «Рабочую газету» и за «Социал-демократа» хватают. А Лев Толстой — это их уже не интересует.

Петя смотрел на Гаврика, с трудом понимая, что он говорит.

— Э, брат, с тобой разговаривать... — с досадой сказал Гаврик.

Он только было собрался поделиться со своим другом разными интересными новостями — о том, например, что недавно, после многих лет, вернулся из ссылки брат Терентий и опять поступил на работу в железнодорожные мастерские, что вместе с ним возвратился кое-кто из комитетчиков, что «дела идут, контора пишет» и что в типографию Гаврик нанялся не сам по себе, а его туда «впихнули» по знакомству все те же комитетчики для специальных целей. Гаврик даже чуть было не начал объяснять, в чем заключаются эти цели, но вдруг по лицу Пети увидел, что его друг мало во всем этом разбирается и лучше всего пока помолчать.

— Ну так как же ваши домашние обеды? — спросил он, чтобы переменить разговор. — Есть чудaki, которые ходят к вам обедать?

Петя грустно махнул рукой.

— Понятно, — заметил Гаврик. — Значит, горите?

— Горим, — сказал Петя.

— Что же вы думаете делать?

— Вот, может быть, кто-нибудь комнаты наймет...

— Как? Вы уже и комнаты отдаете?! Так это последнее дело! — И Гаврик сочувственно свистнул.

— Ничего, как-нибудь выкрутимся. Я буду уроки давать, — сказал Петя, делая мужественное лицо.

Он давно уже решил сделаться репетитором и давать уроки отстающим ученикам, но только не знал, как взяться за дело. Правда, репетиторами бывают главным образом сту-

денты или, в крайнем случае, гимназисты старших классов. Но, в конце концов, возможны исключения. Важно только, чтобы повезло найти ученика.

— Как же ты будешь давать уроки, когда ты, наверно, сам ни черта не знаешь? — со свойственной ему грубой прямоотой сказал Гаврик и добродушно ухмыльнулся.

Петя обиделся. Было время, когда он действительно лентяйничал, но теперь он изо всех сил старался учиться как можно лучше.

— Я шутю, — сказал Гаврик и вдруг, осененный счастливой мыслью, быстро спросил: — Слышь, а по латинскому языку можешь учить?

— Спрашиваешь!

— Вот это здорово! — воскликнул Гаврик. — Сколько возьмешь подготовить человека по латинскому за третий класс?

— Как это — сколько?

— Ну, сколько грошей?

— Я не знаю... — смущенно пробормотал Петя. — Другие репетиторы берут по рублю за урок.

— Ну, это ты сильно перебрал. Хватит с тебя и полтинника.

— А что? — спросил Петя.

— Ничего.

Некоторое время Гаврик стоял с опущенной головой, шевеля пальцами, как бы что-то подсчитывая.

— А что? Что? — нетерпеливо повторял Петя.

— Ничего особенного, — сказал Гаврик. — Слушай сюда... — Он взял Петю под руку и, заглядывая сбоку в его лицо, повел по улице.

Гаврик не любил говорить о себе и распространяться относительно своих планов. Жизнь научила его быть скрытным. Поэтому сейчас, решив открыть Пете свою самую заветную мечту, он все-таки еще колебался и некоторое время шел молча.

— Понимаешь, какое дело... — произнес он. — Только дай честное благородное, что никому не скажешь.

— Святой истинный! — воскликнул Петя и по детской привычке быстро, с готовностью перекрестился на купола Пантелеймоновского подворья, синевшие за Куликовым полем.

Гаврик округлил глаза и сказал шопотом:

— Имею думку: сдать экстерном за три класса казенной гимназии. По другим предметам мне разные чудачки помогают, а по латинскому не знаю, что делать.

Это было так неожиданно, что Петя даже остановился:

— Что ты говоришь?!

— То, что ты слышишь.

— Зачем это тебе надо? — невольно вырвалось у Пети.

— А зачем тебе? — сказал Гаврик, с силой нажимая на слово «тебе», и глаза его зло и упрямо заблестели. — Тебе надо, а мне не надо? А может быть, мне это надо еще больше, чем тебе, откуда ты знаешь?

И он уже приготовился рассказать Пете, как вернувшийся из ссылки Терентий сокрушался о том, что мало среди рабочих образованных людей, говорил, что наступает время новых революционных боев, а потом — видимо, посоветовавшись кое с кем из комитетчиков, — прямо заявил Гаврику, что хочешь не хочешь, а надо экстерном кончать гимназию: сначала сдать за три класса, потом за шесть, а там, смотришь, и на аттестат зрелости. Но ничего этого Гаврик Пете не рассказывал.

— Ну как, берешься? — лишь коротко спросил он. — Даю полтинник за урок.

Хотя Петя в первую минуту и растерялся, но все же почувствовал себя весьма польщенным и нежно покраснел от удовольствия.

— Ну что ж... пожалуй, я возьмусь, — сказал он, покашляв. — Только, конечно, не за деньги, а даром.

— Почему это даром? Что я, нищий? Слава богу, зарабатываю. Полтинник за урок, четыре раза в месяц. Итого два дублона. Это для меня не составляет.

— Нет, только даром.

— С какой радости? Бери, чудак! Денежки на земле не валяются. Тем более что вы теперь нуждаетесь. По крайней мере, сможешь кое-что давать тете на базар.

Это подействовало на Петю. Он ясно представил себе, как в один прекрасный день он протягивает тете деньги и равнодушно говорит: «Да, я совсем забыл, тетечка... тут я заработал уроками немного денег, так, пожалуйста, возьмите их. Может быть, они вам пригодятся на базар».

— Ладно, — сказал Петя. — Буду с тобой заниматься. Только имей в виду: станешь лодырничать — тогда до свидания. Я даром денег брать не привык.

— А я их тоже не в дровах нашел, — сумрачно сказал Гаврик, и друзья расстались до воскресенья, когда был назначен первый урок.

## БАНКА ВАРЕНЬЯ

Никогда еще Петя не готовился к своим собственным урокам в гимназии так тщательно, как к этому уроку с Гавриком, где ему впервые предстояло выступить в роли педагога. Полный гордости и сознания своей ответственности перед наукой, Петя сделал все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь. Он замучил отца бесконечными вопросами из области сравнительной лингвистики. Он сделал кое-какие весьма важные выписки из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В гимназии он неоднократно обращался к латинисту за разъяснениями по поводу некоторых параграфов латинского синтаксиса, что весьма удивило латиниста, который был не слишком высокого мнения о Петиним прилежании. Петя очинил несколько карандашей, приготовил перья и чернила, вытер тряпкой папин письменный стол и поставил на него Павликов глобус, а также свой двадцатипятикратный микроскоп и небрежно разложил несколько толстых книг, что должно было придать обстановке строго академический характер и внушить Гаврику уважение к науке.

Василий Петрович после обеда поехал на кладбище. Тетя с Павликом пошли на выставку. Дуняша отпросилась к родственникам. Все благоприятствовало Пете. Оставшись один, он стал расхаживать по комнатам, как заправский педагог, заложив руки за спину и повторяя про себя вступительную часть своего первого урока. Нельзя сказать, чтобы он волновался, но он испытывал острое чувство уверенного в себе конькобежца перед выходом на лед.

Гаврик не заставил себя ожидать. Он появился точно в назначенное время. Было знаменательно, что он пришел не с черного хода, через кухню, как обычно хаживал в детстве, предварительно посвистев со двора в четыре пальца. Гаврик позвонил с парадного хода, сдержанно поздоровался и, сняв свое старенькое пальто в передней, пригладил перед зеркалом волосы маленькой костяной расческой. У него были чистые руки, и, прежде чем войти в комнаты, он аккуратно заправил под узкий ремешок сатиновую косоворотку с перламутровыми пуговичками. В обеих руках он держал, как бы торжественно нес перед собой, новую пятикопеечную тетрадь с выглядывающей розовой промокашкой и заложенным в нее новеньким ка-

рандашом. Петя молча провел приятеля в комнату и усадил за письменный стол как раз между микроскопом и глобусом, на которые Гаврик тревожно покосился.

— Значит, так, — сказал Петя очень строго, но вдруг сконфузился.

Он мужественно переждал припадок застенчивости и бодро начал снова:

— Значит, так. Латинский язык есть один из богатейших и могущественнейших в семье индо-европейских языков. Первоначально, подобно умбскому и оскскому, он раньше принадлежал к группе главных наречий неэтрасского населения средней Италии, как диалект жителей равнины Лациума, из среды которых выделились римляне. Понятно?

— Не, — сказал Гаврик, отрицательно качнув головой.

— Что же тебе непонятно?

— Которые главные наречия неэтрасского населения, — тщательно выговорил Гаврик, жалобно глядя на Петю.

— Ага. Хорошо. Потом поймешь. Это потому, что ты еще не привык. А пока пойдем дальше. Значит, так. В то время как языки остальных народов Италии — ну, там этрусков, япигов, лигуров... понятное дело, кроме родственных с латинянами умбров и сабеллов, — остались, так сказать, замкнутыми в пределах более или менее тесных областей, народными диалектами, — Петя сделал руками по воздуху очень красивый профессорский жест, обозначавший, что языки остальных народов Италии остались замкнутыми, — латинский язык благодаря римлянам не только превратился из диалекта в господствующий язык Италии, но и развился до степени языка литературного. — Петя многозначительно поднял вверх указательный палец. — Понятно тебе?

— Не! — повторил удрученно Гаврик и снова отрицательно потряс головой. — Ты мне, Петя, лучше сразу покажи ихний алфавит.

— Я сам знаю, что лучше, а что хуже, — сухо заметил Петя.

— А может быть, — сказал Гаврик, — которые эти самые этруски и япиги, то мы их потом будем проходить, а пока что ударим по самым латинским буквам, как их писать. Нет?

— Кто репетитор: я или ты?

— Допустим, ты.

— Так и слушайся меня.

— Я же слушаюсь, — покорно сказал Гаврик.



— В таком случае, пойдем дальше, — сказал Петя, расхаживая по комнате, заложив за спину руки и наслаждаясь своим превосходством перед Гавриком и своей властью учителя. — Значит, так. Ну там, в общем, потом этот самый классический литературный латинский язык приблизительно через триста лет утратил свое господство и уступил, понимаешь ты, место народному латинскому языку, и так далее, и так далее, и тому подобное — одним словом, это все не так важно. (Гаврик одобрительно кивнул головой.) А важно, братец мой, то, что в конечном счете в этом самом латинском языке оказалось сначала двадцать букв, а потом прибавилось еще три буквы.

— Всего, стало быть, двадцать три! — быстро и радостно подсказал Гаврик.

— Совершенно верно. Всего двадцать три буквы.

— А какие?

— Не лезь поперед батьки в пекло! — сказал Петя традиционную поговорку гимназического учителя латинского языка, которому он все время незаметно для себя подражал. — Буквы латинского алфавита суть следующие. Записывай: А, В, С, D...

Гаврик восторженно и, посплюнув карандаш, стал красиво выводить в тетрадке латинские буквы.

— Постой, чудак человек, что же ты пишешь? Надо писать не русское «Б», а латинское.

— А какое латинское?

— Такое самое, как русское «В». Понял?

— Чего ж тут не понять!

— Сотри и напиши, как надо.

Гаврик вынул из кармана своих широких бобриковых штанов кусочек аккуратно завернутой в бумажку полустертой резинки «слон» с оставшейся задней половинкой слона, стер русское «Б» и на его месте написал латинское «В».

— Впрочем, — сказал Петя, которому уже изрядно надоело преподавать, — ты пока тут переписывай латинский алфавит прямо из книжки, а я немножко разомнусь.

Гаврик стал покорно переписывать, а Петя стал разминаться, то-есть гулять, заложив руки за спину, по квартире, и гулял до тех пор, пока не остановился в столовой перед буфетом. Как известно, все буфеты имеют для мальчиков особую притягательную силу. Редкий мальчик в состоянии пройти мимо буфета, не посмотрев, что там находится. Петя не составлял исключения, тем более что, уходя, тетя имела неосторожность сказать:

— ...И, пожалуйста, не лезь в буфет.

Петя отлично понимал, что тетя имеет в виду ту большую банку клубничного варенья, которую прислала бабушка из Екатеринослава к рождеству. Варенье еще не начинали, хотя оно предназначалось к праздникам, а праздники уже прошли, и это слегка раздражало Петю. Вообще трудно было понять тетю. Обычно очень добрая и щедрая, она становилась безумно, а главное, совершенно непонятно, скупой, как только дело касалось варенья. При ней страшно было даже заикнуться о варенье. У нее сейчас же делались испуганные глаза, и она быстро говорила, дрожа от беспокойства:

— Нет, нет! Ни в коем случае! Даже не подходи близко. Когда будет надо, я сама дам.

Но когда будет надо, этого решительно никто не знал, а она не говорила и только испуганно махала руками. В конце концов, это было просто глупо: ведь варенье варилось и посылалось специально для того, чтобы его ели!

Петя, разминаясь, открыл буфет, подставил стул и заглянул на самую верхнюю полку, где стояла тяжелая, как снаряд, полная банка екатеринославского варенья. Полюбовавшись банкой, Петя закрыл буфет и пошел посмотреть, как идут дела у его ученика. Гаврик прилежно выводил латинские буквы и уже дошел до «N», не зная, как ее надо писать. Петя показал, как пишется латинское «N», похвалил Гаврика за аккуратность и вскользь заметил:

— Между прочим, нам бабушка прислала на рождество банку клубничного варенья. Шесть фунтов банка.

— Заливаешь.

— Святой истинный!

— Таких даже и банок не бывает.

— Не бывает? — едко улыбнулся Петя.

— Не бывает.

— Много ты понимаешь в банках! — пробормотал Петя, прошел в столовую и, вернувшись назад, бережно поставил на стол между глобусом и микроскопом тяжелую банку. — Ну, скажешь, не шесть фунтов?

— Ладно. Твоя взяла.

Гаврик придвинул к себе тетрадь и написал еще три латинские буквы: «O», которая писалась так же точно, как и русское «О», «P», которая писалась, как русское «Р», и довольно-таки странную букву «Q», над хвостиком которой пришлось потрудиться.

— Молодец! — сказал Петя и, немного

поколебавшись, прибавил: — Между прочим, давай попробуем варенья... хочешь?

— Можно, — согласился Гаврик. — А от тети не нагорит?

— Мы попробуем только по одной чайной ложечке, она даже не заметит.

Петя сходил за чайной ложечкой, а затем терпеливо развязал бантик туго затянутого шпагата. Он осторожно снял верхнюю бумажку, которая уже приобрела форму шляпки, а потом еще более осторожно снял пергаментный кружок.

Под этим кружком, пропитанным ромом, для того чтобы варенье могло сохраняться возможно дольше, уже была непосредственно поверхность самого варенья, глянцевого и тяжело блестящая вровень с краями банки. С величайшей осторожностью Петя и Гаврик съели по полной ложке.

Екатеринославская бабушка вообще славила как великая мастерица варить варенье, причем клубничное удавалось ей особенно хорошо. Но это варенье было поистине неслыханное. Никогда еще Петя, а тем более Гаврик не пробовали ничего подобного. Оно было душистое, тяжелое и вместе с тем какое-то воздушное, с цельными прозрачными ягодами, нежными, отборными, аппетитно усеянными желтенькими семечками, и елось на редкость легко.

Друзья по очереди начисто вылизали ложку и с радостью заметили, что варенья в банке, в сущности, совсем не убавилось: его поверхность была попрежнему вровень с краями. Несомненно, здесь действовал какой-то закон больших и малых чисел — большого объема банки и малого объема чайной ложечки, — но так как Петя и Гаврик еще не имели понятия об этом законе, то им показалось почти чудом, что варенье не иссякает.

— Как было, — сказал Гаврик.

— Я же тебе говорил, что она не заметит.

С этими словами Петя положил на поверхность варенья пергаментный кружок, прикрыл банку шляпкой бумажки, крепко завязал шпагатом, сделал точно такой же бантик, как раньше, отнес банку в буфет и поставил на прежнее место.

За это время Гаврик успел написать еще две латинские буквы: «R», вызвавшую у него насмешливую улыбку, так как она представляла собой не что иное, как по-детски перевернутое русское «Я», и двуличное латинское «S».

— Хорошо! — похвалил Петя Гаврика. — Между прочим, я считаю, что мы можем со-

вершенно свободно попробовать еще по одной ложечке.

— Кого?

— Варенья.

— А тетя?

— Чудак, ты же видел сам, что его осталось ровно столько, сколько было. Значит, если мы попробуем еще по одной ложечке, то его опять-таки останется столько, сколько было. Верно?

Гаврик подумал и согласился: нельзя же было идти против очевидности.

Петя принес банку, так же терпеливо развязал бантик тугого шпагата, осторожно снял верхнюю бумажку, затем еще более осторожно — пергаментный кружок, полюбовался литой поверхностью варенья, попрежнему тяжело блестящего вровень с краями, после чего друзья съели еще по ложечке, начисто ее вылизали, и Петя завязал банку шпагатом и сделал точно такой же бантик, как был раньше.

На этот раз варенье показалось еще вкуснее, а испытанное блаженство еще короче.

— Вот видишь, и опять все, как было! — самодовольно сказал Петя, поднимая попрежнему тяжелую банку.

— Ну, нет, — сказал Гаврик. — Теперь, положим, самую чуточку, но не хватает. Я нарочно посмотрел.

Петя поднял банку и стал ее рассматривать.

— Где ты видишь? Ничего подобного. Варенье как было. Абсолютно как было.

— А вот и не абсолютно, — сказал Гаврик. — Это потому, что недостачу закрывают края бумажки. Ты отогни края, тогда сам увидишь.

Петя приподнял сборчатые края верхней бумажки и посмотрел банку на свет. Банка была почти так же полна, как и раньше. Но именно почти, а не совсем. Образовался просвет не толще волоса, но все же просвет. И это было крайне неприятно, хотя трудно было представить, чтобы тетя могла что-нибудь заметить. Петя понес банку в столовую и поставил в буфет на прежнее место.

— Ну, покажи, что ты там нацарапал, — сказал он с наигранной бодростью.

Вместо ответа Гаврик молчаливо почесал затылок и вздохнул.

— Что? Устал?

— Не. Не в этом. Я думаю, что хотя его и не хватает самую чуточку, а она все-таки заметит.

— Не заметит.

— Бьюсь на пари, что заметит. И тогда ты будешь иметь вид.

Петя вспыхнул:

— А хоть и заметит! Подумаешь! Ну и что из этого? В конце концов, бабушка прислала варенье для всех, и я имею полное право. Ко мне пришел человек заниматься, так что, я не могу угостить человека клубничным вареньем? Вот еще новости! Давай я сейчас принесу, и мы его съедим по блюдечку. Я уверен, тетя ничего не скажет. Даже будет довольна, что мы поступили честно и открыто, а не исподтишка.

— Может быть, не стоит? — робко сказал Гаврик.

— Нет, именно стоит! — с жаром воскликнул Петя.

Он принес банку и, чувствуя, что совершает честный, благородный поступок, наложил два полных блюдечка варенья.

— И хватит! — решительно сказал он, завязал банку и отнес ее в буфет.

Но как раз и не хватило. Только теперь, съев по полному блюдечку, друзья по-настоящему распробовали дивное варенье и почувствовали такое страстное, такое неудержимое желание съесть хотя бы еще по одной ложке, что Петя с суровым лицом принес банку и, не глядя на Гаврика, наложил еще по одному полному блюду. Петя никак не предполагал, что блюдец такая вместительная вещь. Посмотрев банку на свет, он увидел, что варенье уменьшилось по крайней мере на треть.

Мальчики съели каждый свою порцию и облизали ложки.

— Знаменитое варенье! — сказал Гаврик и принялся за латинские буквы «Т», «У», «V», «Х», продолжая испытывать острейшее желание съесть хотя бы еще самую малость волшебного варенья.

— Ладно, — решительно сказал Петя, — съедим уж ровно до половины банки, и basta!

Когда в банке осталась ровно половина, Петя в последний раз завязал банку и отнес в буфет с твердым намерением больше к ней не прикасаться. О тете он старался не думать.

— Ну, ты сыт? — спросил он Гаврика с бледной улыбкой.

— Даже чересчур, — ответил Гаврик, чувствуя во рту густую сладость, которая уже стала переходить в кислоту.

Петю тоже стало слегка поташнивать. Блаженство начало незаметно превращаться в свою противоположность. О варенье

уже не хотелось думать, но, как это ни странно, о нем невозможно было не думать. Оно как бы мстило за себя, вызывая вместе с легкой тошнотой безумное, противоестественное желание снова положить его в рот по полной ложке. С этим желанием невозможно было бороться. Петя, как лунатик, пошел в столовую, и друзья стали есть тошнотворное лакомство полными ложками, прямо из банки, потеряв уже всякое представление о том, что они делают. Это была ненависть, дошедшая до обожания, и обожание, дошедшее до ненависти. Челюсти сводило от сладостной кислоты. На лбу выступил пот. Варенье с трудом проходило в судорожно сжимавшееся горло. А они его всё ели и ели, словно кашу. Они его даже не ели, а боролись с вареньем, скорее уничтожая его, как врага. Они очнулись, когда глубоко на дне банки остался тонкий слой, который уже невозможно было достать ложками.

Только тогда Петя понял весь ужас того, что совершилось. Как преступники, желающие поскорее скрыть следы своего преступления, мальчики побежали на кухню и стали лихорадочно полоскать липкую банку под краном, не забывая, впрочем, по очереди из последних сил пить из банки мутную, сладкую воду.

Когда банка была начисто вымыта и вытерта, Петя для чего-то аккуратно поставил ее в буфет на прежнее место, как будто это могло поправить дело. Петя утешал себя глупой надеждой, что, может быть, тетя уже забыла о бабушкином варенье или, увидя чистую пустую банку, подумает, что варенье уже давно съели. Петя сам понимал, что это по меньшей мере глупо.

Стараясь не смотреть друг на друга, Петя и Гаврик вернулись к письменному столу и стали продолжать урок.

— Значит, так, — сказал Петя, с усилием двигая губами, которые сводило от тошноты. — Из двадцати трех мы записали двадцать букв латинского алфавита. Впоследствии — исторически — были введены еще две буквы...

— Итого двадцать пять, — сказал Гаврик, с отвращением глотая слюну.

— Совершенно верно. Пиши!

Но в это время вернулся Василий Петрович. В грустном, но умиротворенном настроении — это с ним бывало всегда после кладбища — он заглянул в комнату, где прилежно занимались мальчики, и, заметив на их лицах странное выражение плохо скрытой гадливости, сказал:

— Что, господа, трудитесь, несмотря на воскресный день? Нелегко достается? Ничего! Корень ученья горек, зато плоды его сладки.

С этими словами он на цыпочках, чтобы не мешать мальчикам заниматься, подошел к иконам, вынул из бокового кармана узкую бутылочку деревянного масла, купленного в церковном магазине Афонского подворья, и стал бережно заправлять лампадку, что призывал делать аккуратно каждое воскресенье.

Вскоре пришла тетя, а за нею Дуня; только Павлик задержался на улице. В кухне загремела самоварная труба. Из столовой доносился нежный звон чайной посуды.

— Ну, я пошел, — сказал Гаврик, быстро складывая письменные принадлежности. — Остальные буквы я как-нибудь дома допишу. Будь здоров. До следующего воскресенья! — И он своей озабоченной, валкой походочкой пошел через столовую, мимо буфета, в переднюю.

— Куда же ты? — спросила тетя. — Оставайся с нами чай пить.

— Спасибо, Татьяна Ивановна, дома ждут. Мне еще надо там кое-чего поделать по хозяйству.

— А может быть, выпьешь стаканчик? С клубничным вареньем. А?

— Ой, нет, что вы! — испуганно воскликнул Гаврик и, шепнув Пете в передней: — Полтинник за мной, — быстро сбежал по лестнице, от греха подальше.

— Чего это у тебя кислое лицо? — сказала тетя, посмотрев на Петю. — Такое впечатление, что ты поел несвежей колбасы. Может быть, ты болен? Покажи-ка язык.

Уныло повесив голову, мальчик показал величественный розовый язык.

— Ах, понимаю! — сказала тетя. — Это на тебя, наверно, так подействовала латынь. Видишь, друг мой, как нелегко быть репетитором! Ну, ничего. Сейчас в честь твоего первого урока мы откроем бабушкино варенье, и все как рукой снимет.

С этими словами тетя подошла к буфету, а Петя лег на кровать и со стоном накрыл голову подушкой, чтобы уже больше ничего не видеть и не слышать.

Но как раз в тот самый миг, когда тетя с удивлением рассматривала чисто вымытую пустую банку, не понимая, почему она здесь стоит и как сюда попала, в переднюю с улицы ворвался Павлик, крича на всю квартиру:

— Файг! Файг! Слушайте, только что к нашему дому в собственной карете подъехал Файг!

## Х

### ГОСПОДИН ФАЙГ

Все бросились к окнам, даже Петя, отшвырнувший подушку. Действительно, у ворот стояла карета Файга.

Господин Файг был одним из самых известных граждан города. Он был так же популярен, как градоначальник Толмачев, как сумасшедший Марьяшек, как городской голова Пеликан, прославившийся тем, что украл из городского театра люстру, как редактор-издатель Ратур-Рутер, которого часто били в общественных местах за клевету в печати, как владелец крупнейшего в городе мороженого заведения Кочубей, где каждый год летом происходили массовые отравления, наконец как бравый старик генерал. Радецкий, герой Плевны.

Файг был выкrest, богач, владелец и директор коммерческого училища — частного учебного заведения с правами. Училище Файга было надежным пристанищем состоятельных молодых людей, изгнанных за неспособность и дурное поведение из остальных учебных заведений не только Одессы, но и всей Российской империи. За большие деньги в училище Файга всегда можно было получить аттестат зрелости. Файг был крупный благотворитель и меценат. Он любил жертвовать и делал это с большим шиком и непременно с опубликованием в газетах.

Он жертвовал в лотереи-аллегри гарнитуры мебели и коров, вносил крупные суммы на украшение храма и на покупку колокола, учредил приз своего имени на ежегодных гонках яхт, платил на благотворительных базарах по пятьдесят рублей за бокал шампанского. О нем ходили легенды. Одним словом, он был рогом изобилия, откуда на нищее человечество сыпались различные благодеяния.

Но главная причина его популярности заключалась в том, что он ездил по городу в собственной карете.

Это не была старомодная, зловещая карета из числа тех, которые обычно тащились за похоронной процессией первого и второго разрядов. Это не была свадебная карета, обитая внутри белым атласом, с хрустальными фонарями и откидной подножкой. Наконец, это не была архиерейская карета — скрипящий рыдван, — в которой, кроме архиерея, по совместительству также возили по домам икону касперовской богматери, связанную с именем Кутузова и взятием Очакова. Карета

Файга была щегольским «двухместным купе» на английских рессорах, с высокими козлами и кучером, одетым по английской моде, как Евгений Онегин. На дверцах кареты был изображен фантастический баронский герб, а на запятках стоял не более не менее как настоящий ливрейный лакей, что приводило уличных зевак в состояние почти религиозного восторга.

Карету везли отчетливой рысью бежавшие лошади с коротко обрезанными хвостами и в лакированных шорах. Внутри кареты на сафьяновых подушках сидел сам Файг, в цилиндре, пальмерстоне, с черными крашеными бакенбардами и с гаванской сигарой в зубах. Его ноги были закутаны в шотландский плед.

В то время как семейство Бачей рассматривало из окон карету Файга, уже окруженную зеваками, и делало различные предположения насчет того, к кому именно пожаловал с визитом господин Файг, в передней раздался звонок. Дуня открыла дверь и чуть не потеряла сознание. Перед ней стоял ливрейный лакей, прижимая к груди треугольную шляпу с галунами.

— Илья Францевич Файг просит господина Бачей его принять, — сказал ливрейный лакей. — Они в карете. Как прикажете доложить?

Все семейство Бачей, которое отхлынуло от окон в переднюю, некоторое время находилось в столбняке. Не растерялась одна лишь тетя. Значительно взглянув на Василия Петровича, она обратилась к ливрейному лакею и, не моргнув глазом, произнесла слово, которое Петя до сих пор слышал только в театре, и то лишь один раз.

— Просите, — сказала тетя со светской улыбкой, несколько в нос.

И, покорно уронив напوماженную голову, ливрейный лакей пошел вниз, подметая лестницу своей ливреей, длинной, как юбка.

Едва Василий Петрович успел пристегнуть воротничок и галстук и, беспорядочно тыкая руками в рукава, натянуть на себя парадный сюртук, как в квартиру уже вступил господин Файг. В одной руке он, несколько на отлете, нес цилиндр, в который были небрежно брошены перчатки, в другой, сверкавшей бриллиантовым перстнем, держал сигару. На его лице, между черными бакенбардами, сияла демократическая улыбка. От него во все стороны распространялся запах гаваны и английских духов Аткинсон. Гирлянда значков, жетонов и благотворительных медалей ниспадала вдоль выреза его фрака.

Нежно светились маленькие жемчужины, вдетые в тугие петли безукоризненно накрахмаленного пластрона фракной сорочки.

Он был само счастье и само богатство, внезапно вступившее в дом.

Файг поставил цилиндр на подзеркальник и широким жестом протянул отцу пухлую руку. Дальнейшего Петя не видел — тетя весьма ловко оттеснила его и Павлика в кухню и продержала их там до тех пор, пока визит господина Файга не кончился.

Судя по тому, что из столовой, которая в квартире Бачей также была и гостиной, иногда слышался звонкий, раскатистый смех Файга и веселое покашливание отца, визит носил характер весьма дружественный. Все терялось в догадках. Но когда наконец господин Файг при помощи ливрейного лакея сел в карету и закутал ноги шотландским пледом, помахал в окно белой рукой с сигарой и карета уехала, — выяснилось все. Файг приезжал для того, чтобы лично предложить Василию Петровичу место преподавателя в своем учебном заведении.

Это было так неожиданно и так напоминало чудо, что Василий Петрович даже повернулся лицом к иконе и перекрестился. Преподавать у Файга было гораздо выгоднее, чем в казенной гимназии: Файг платил своим педагогам почти вдвое больше, чем государство. Василий Петрович был очарован Файгом, его простотой, любезностью и демократическими манерами, которые находились в таком приятном и неожиданном противоречии с его внешностью и образом жизни.

В разговоре с Василием Петровичем Файг проявил тонкое понимание современной жизни, ядовито и вместе с тем корректно высмеял министерство народного просвещения, не умеющее ценить своих лучших педагогов, решительно осудил попытки правительства превратить школу в казарму, весьма откровенно заметил, что наступило время самому обществу взять в свои руки дело народного образования и вытеснить из него чиновников и самодуров вроде попечителя Одесского учебного округа, воскресившего самые мрачные традиции аракчеевщины. Он сказал, что с Василием Петровичем поступили не только несправедливо, но прямо-таки подло и что он надеется исправить эту подлость и восстановить справедливость — именно в этом состоит его священный долг перед русским обществом и наукой. Он надеется, что в его учебном заведении Василий Петрович сможет с полной силой проявить свой блестящий педагогический талант и свою любовь к ве-

ликой русской литературе. Будучи сторонником свободного европейского воспитания, он уверен, что они с уважаемым Василием Петровичем найдут общий язык. Что же касается формальной стороны вопроса, то он не сомневается, что ему без труда удастся получить согласие министра просвещения на то, чтобы Василий Петрович был утвержден округом в должности преподавателя, так как казенная гимназия есть казенная гимназия, а частное учебное заведение есть частное учебное заведение. Он даже не скрыл от Василия Петровича, что решил его пригласить отчасти из желания поднять реноме своего училища в глазах либеральных кругов одесского общества, а отчасти в пику правительству, ввиду того что после своего знаменитого, как выразился Файг, выступления по случаю смерти Толстого Василий Петрович приобрел весьма определенную политическую репутацию.

Для Василия Петровича это было ново и лестно, хотя при упоминании о политической репутации он поморщился. Когда, кроме того, Файг прибавил: «Вы будете нашим знаменем», — Василий Петрович даже слегка испугался. Но, так или иначе, предложение Файга было принято, и жизнь семьи Бачей волшебным образом изменилась.

Файг заплатил Василию Петровичу за полгода вперед, а это составляло такую сумму, которая семейству Бачей и не снилась. Теперь, когда Василий Петрович выходил из дому, в окна на него смотрели жильцы, говоря с завистью:

— Смотрите, это идет тот самый Бачей, которого пригласил Файг.

Василий Петрович снова стал думать о поездке за границу и в конце концов, подсчитав свои средства и в последний раз посоветовавшись с тетей, окончательно решил: едем!

## XI

### ФЛАНЕЛЬКА

Весна выдалась ранняя, жаркая, нарядная. Пасха прошла весело. Потом наступило время экзаменов, как всегда связанное в представлении Пети с короткими майскими грозами — огнестрельным блеском лиловых молний, персидской сиренью, роскошно цветущей в гимназическом саду, и сухим воздухом опустевших классов со сдвинутыми партами и клубами меловой пыли, пронизанной жаркими столбами слепополуденного солнца,

оставшейся висеть в воздухе после окончания последнего экзамена.

Одновременно с экзаменами начались сборы за границу. Главной целью путешествия была Швейцария, которая всегда имела для Василия Петровича какую-то особую притягательную силу. Но ехать туда было решено сначала морем до Неаполя, а уже потом, через всю Италию, — по железной дороге. Василий Петрович высчитал, что это обойдется ненамного дороже, зато они увидят Турцию, Грецию, острова Архипелага<sup>1</sup>, Сицилию и, наконец, побывают во всех знаменитых музеях Неаполя, Рима, Флоренции и Венеции, а затем из Швейцарии, может быть, даже, если позволят финансы, махнут в Париж.

Маршрут путешествия был разработан Василием Петровичем уже давно, в то время, когда еще была жива покойная мама. Они вдвоем просиживали напролет вечера, перелистывая различные справочники и путеводители и аккуратно выписывая в особую тетрадку все предстоящие расходы: стоимость проездных билетов, пансионов, гостиниц; даже цены входных билетов в музеи и оплата носильщиков — все учитывалось самым тщательным образом.

Несмотря на это, Василий Петрович, больше всего на свете боясь, боже упаси, выйти из бюджета, опять обложился железнодорожными и пароходными тарифами и заново проделал все расчеты.

Много горячих семейных споров вызвал вопрос о том, какие вещи нужно с собой взять и куда их поместить. Тетя считала, что надо купить два самых обыкновенных чемодана и положить в них самые обыкновенные вещи. Но, оказывается, Василий Петрович имел на этот счет совсем другое мнение. Он считал, что нужно специально заказать какой-то особый саквояж и особые альпийские мешки с особыми ремнями, чтобы их можно было надевать при восхождении на горы.

Тетя юмористически развела руками, но так как Петя и Павлик подняли невероятный крик, требуя, чтобы заказали именно особые мешки для восхождения, тетя быстро сдалась, а Василий Петрович с собственноручным чертежом специального саквояжа и особых альпийских мешков отправился в город. И через несколько дней в квартире Бачей появились два альпийских мешка и довольно странное произведение шорно-чемоданного

<sup>1</sup> Архипелаг (Греческий архипелаг) — острова в Эгейском море.



искусства, сделанное из клетчатой шотландской материи и несколько напоминающее громадную гармонику, обшитую множеством наружных карманов.

Эти новые, еще пустые дорожные вещи, полнующий запах свежей кожи и крашеной материи внесли в дом атмосферу предстоящего путешествия. Затем выяснилось, что мальчикам нельзя ехать за границу в гимназической форме, а полагалось быть «штатском».

Для Павлика это решалось просто. У него сохранились прошлогодние, «догимназические» вещи — короткие штанишки и матроска. Но как быть с Петей? Нелепо было бы нарядить четырнадцатилетнего мальчика во взрослый костюм — с пиджаком, жилетом и галстуком. Но и детский костюмчик, с короткими штанишками, конечно, тоже не годился. Нужно было найти что-то среднее. И Петя, уже весь охваченный лихорадкой нетерпения, придумал себе наряд, несомненно навеянный иллюстрациями к Жюль Верну или Майн Рида. Это было, по мысли Пети, нечто вроде костюма гардемарина — длинные гимназические брюки и матроска, но не детская матроска, как у Павлика, а настоящая флотская — из темносиней фланели.

Соорудить такую матроску оказалось весьма трудно. Ни одна портниха, привыкшая шить на детей, и ни один портной, привыкший работать на взрослых, никак не могли понять, что от них требуется. Петя, который уже так живо представлял себя в виде гардемарина, был в полном отчаянии. Выручил Гаврик. Он посоветовал сходить в швальню морского батальона, где у него были знакомства среди матросов хозяйственной команды. В каких только местах не было у него знакомых!

Швальня помещалась в так называемых Сабанских казармах — старинном здании с белыми колоннами. Внутренний двор, громадный, как площадь, испугал Петю своей зловещей крепостной пустотой, пирамидами старинных чугунных ядер, якорями, гимнастическими параллельными брусками и мачтой с пестрыми сигнальными флагами. На скамеечке под колоколом сидел матрос в бескозырке — дневальный.

— Не дрейфь, — сказал Гаврик, заметив, что Петя в нерешительности остановился. — Здесь всё свои люди.

Они поднялись по старинной каменной лестнице с вытертыми ступенями на второй этаж и очутились в казарменном коридоре — темном и холодном, как склеп, что особенно

сильно чувствовалось после майского полуденного зноя, ослепительно сиявшего снаружи.

Гаврик уверенно нашел в потемках какую-то дверь, и мальчики вошли в сводчатую комнату с такими толстыми стенами, что два окошка в нишах трехаршинной толщины с трудом пропускали дневной свет, хотя и выходили прямо в сияющее море, как раз против Карантинной гавани и белого рейдового маяка, окруженного чайками, который отчетливо светился на фоне взволнованной синезеленой воды.

За большой швейной машиной сидел матрос с красными погонами береговой службы и, качая босыми ногами чугунную педаль, строчил край шерстяного сигнального флага. Множество других сигнальных флагов целой горой лежало в углу комнаты.

Увидев Гаврика, матрос перестал строчить. На его потном лице, сильно испорченном оспой, появилась улыбка, но, заметив за спиной Гаврика незнакомого гимназиста, матрос вопросительно поднял колосистые брови.

— Ничего, это тот самый чудака, который меня учит латинскому, — сказал Гаврик, из чего Петя мог заключить, что матросу хорошо известны все обстоятельства жизни Гаврика.

— Что скажешь новенького? — спросил матрос.

— Ничего особенного, — ответил Гаврик. — Я как раз сегодня заскочил до вас не по тому делу, а совсем по другому. Можете вы пошить человеку, — Гаврик показал головой на Петю, — флотскую фланельку казенного образца?

— Материала подходящего нет.

— У него есть... Петя, покажи ему материал.

Петя подал сверток. Матрос раскинул на руках плотную, но легкую и мягкую шерстяную ткань глубокого темносинего цвета.

— Богатый материалчик! — сказал Гаврик без гордости.

— Почему платили? — спросил матрос.

Петя сказал цену, и матрос со значением и, как показалось Пете, неодобрительно переглянулся с Гавриком.

— Не, — сказал Гаврик, — не думайте. Его батька — обыкновенный учитель. Они живут не слишком... Даже иногда нуждаются. Но у них как раз подошел такой случай, что непременно требуется пошить парнишке специальную фланельку.

И Гаврик, с удивившей Петю точностью и осведомленностью, рассказал матросу, для чего понадобилась Пете фланелька и куда именно за границу собрался ехать учитель Бачей со своими сыновьями. При этом Пете показалось, что Гаврик и матрос несколько раз понимающе переглянулись.

Может быть, мальчик и не обратил бы на это внимания, если бы уже нечто подобное не случилось на Ближних Мельницах, куда Петя приходил давать Гаврику очередной урок латинского языка. Тогда, воодушевленный присутствием Моти, которая до сих пор продолжала смотреть на Петю, как на существо высшее — с робостью тайного обожания, — мальчик расхвастался. Он стал с жаром описывать предстоящее путешествие, не жалея самых ярких красок и географических названий. Когда он дошел до красот Швейцарии, Терентий сначала незаметно переглянулся с Гавриком, а потом с гостем — Синичкиным, худым, чахоточным рабочим в сапогах и черной сатиновой косоворотке под засаленным пиджаком.

Перехватив взгляд Терентия, Синичкин отрицательно мотнул головой и пробормотал: «Нет, он сейчас уже не там», — или что-то в этом роде. И вдруг спросил Петю, глядя на него в упор очень серьезно:

— А Францию вы посетить не собираетесь? В Париже не будете?

И когда Петя сказал, что если хватит денег, наверно съедят и во Францию, то Синичкин опять многозначительно посмотрел на Терентия, но больше они уже ничего у Пети не спрашивали.

Вообще Петя заметил, что предстоящая поездка за границу вызвала у Гаврика и почти у всех людей его круга на Ближних Мельницах какой-то особый, скрытый интерес, смысла которого он не понимал...

Вот и теперь. Матрос и Гаврик тоже переглянулись. Впрочем, подумал Петя, может быть, всегда так ведут себя в присутствии человека, собирающегося ехать за границу. Петя еще не выехал из своего родного города, а уже стал испытывать чувство новизны, подстерегавшее его на каждом шагу. Он вдруг попадал в какой-нибудь переулок, где еще ни разу в жизни не был, и с изумлением путешественника видел кафельный дом или палисадник, на который раньше никогда бы не обратил внимания.

Сколько раз он, например, проходил мимо круглых ворот Сабанских казарм, совсем не подозревая, что за этими воротами есть

какой-то новый, ни на что не похожий мир знойного, пустынного двора с ядрами и якорями и есть какая-то швальня, где матрос шьет на машине шерстяные сигнальные флаги, и есть старинные окна в глубоких сводчатых нишах, откуда совсем по-новому, дико и незнакомо, виднеется море, зовущее в еще более новую, незнакомую даль.

Осмотрев и похвалив материал, матрос согласился пошить Пете фланельку, но заломил пять рублей. Решительно отстранив Петю рукой, Гаврик серьезно посмотрел на матроса, укоризненно покачал головой и сказал, что один рубль — и то чересчур. Они торговались до тех пор, пока матрос наконец согласился на два рубля, и то лишь потому, что Петя «свой человек». Что он при этом имел в виду, Петя тоже не совсем понял. Затем матрос вытер рукавом крышку большого флотского сундука, сказал мальчиком: «Седайте, хлопцы», — и принес медный чайник с кипятком. Они напились чаю вприкуску из жестяных кружек и наелись очень хорошего житного хлеба, который матрос ловко и крупно нарезал, прижимая буханку к выпуклой груди.

Во время чаепития Гаврик и матрос вели между собой степенную беседу, из которой Петя заключил, что матрос (его Гаврик называл «дядя Федя») хорошо знаком с семьей Терентия и является дальним родственником со стороны его покойной матери. Беседа шла все больше вокруг семейных и материальных вопросов. Но по нескольким недомолвкам и случайным фразам Петя понял, что между дядей Федей и Терентием, кроме чисто семейных, существуют и еще какие-то другие связи. Смысл их Петя уловить не мог, а только смутно почувствовал, что на него пахло чем-то забытым: грозным и тревожным воздухом «пятого года».

Наконец дядя Федя обмерил Петю ветхим клеенчатым сантиметром с облупившимися цифрами, пообещал сшить фланельку через три дня и обещание свое исполнил. Сверх того, из остатков материала он даром сшил мальчику еще матросскую шапку-бескозырку и надел на нее старую георгиевскую ленту с двумя длинными концами.

Петя посмотрел на себя в маленькое, неровное, как бы сделанное из жести зеркало, висевшее на стене швальни рядом с цветным портретом Шевченко, вырезанным из обложки «Кобзаря», и не мог скрыть счастливой, самодовольной улыбки, поползшей по его лицу до самых ушей.

## ХII

### ОТЪЕЗД

Неожиданные затруднения начались при получении заграничного паспорта из канцелярии градоначальника. Нужно было представить справку о политической благонадежности. Это оказалось не так просто. Василий Петрович написал прошение, и через четыре дня на квартиру Бачей явился субъект из Александровского участка с двумя понатыми, для того чтобы произвести дознание. Уже одно это слово — дознание — вызвало у Василия Петровича раздражение. Когда же субъект из участка расселся в столовой, разложил на обеденной скатерти свои грязные полотняные папки, казенную чернильницу-непроливайку и стал официальным тоном задавать Василию Петровичу глупейшие вопросы: какого он пола, возраста, вероисповедания, чина, звания и прочее, — Василий Петрович чуть было не вспылил, но взял себя в руки и выдержал это двухчасовое испытание. Он поставил под дознанием свою подпись рядом с корявой подписью понятого, дворника Акимова, и хлесткой подписью, с выкрутасами, другого понятого, какого-то неизвестного прыщавого молодого человека в технической фуражке с молоточками и странной фамилией «Переконь».

Затем городской принес Василию Петровичу повестку с приглашением явиться к господину приставу. И Василий Петрович явился и беседовал с господином приставом у него в комнате на разные темы, преимущественно политические, а также объяснял ему, по каким причинам оставил государственную службу по министерству народного просвещения. Расстались они вполне дружески.

Но это оказалось не все. Еще нужно было представить множество нотариально заверенных копий с разных документов: послужного списка, метрики, свидетельства о смерти жены и т. п. Это потребовало массу времени и хлопот и было похоже на издевательство. Следовало сначала изготовить все эти копии без единой ошибки, а уже потом нести их к нотариусу. Петя всюду ходил с отцом.

О, как мучительны были все эти бюро переписок, где злые, высокомерные старые девы с развязными манерами вставали, скрипя корсетами, из-за своих «ундервудов» и «ремингтонов» с двойной кареткой, осматривали Василия Петровича с ног до головы презрительным взглядом и категорически заявляли,

что раньше чем через неделю ничего не будет готово! Как страшно надоели знойные, полетному опустевшие улицы города, испещренные прозрачной тенью буйно цветущей белой акации, и вывески нотариусов — овалы с черным двуглавым орлом!

Когда же все копии были изготовлены и надлежащим образом заверены, оказалось, что требуется еще одно дознание.

А время шло, и был момент, когда Василий Петрович, доведенный до белого каления, чуть было не плюнул на всю эту затею с заграничным путешествием. Но опять пришел на помощь Гаврик.

— Чудаки люди! — сказал он Пете, пожимая плечами. — Не умеете жить. Скажи своему батьке, чтобы он дал хабара.

— Взятку! Ни за что! — закричал Василий Петрович, когда Петя передал ему совет своего друга. — Никогда до этого не унижусь!

И все-таки, истерзанный волокитой, он в конце концов унизился. После этого все сразу изменилось: не только в один миг было получено свидетельство о благонадежности, но был получен и самый заграничный паспорт, который принесли из Александровского участка прямо на дом.

Теперь оставалось лишь купить билеты и отправляться с богом. Так как решили ехать на итальянском пароходе, то уже в самой покупке билетов было нечто в высшей степени заграничное. В конторе Ллойда на Николаевском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом, то-есть в самой фешенебельной части города, наших будущих путешественников встретили с такой почтительной любезностью, с такими корректными поклонами, что Пете даже показалось, будто их принимают за кого-то другого.

Господин в серой визитке, с крупной жемчужиной в галстук оригинального рисунка «павлиний глаз», усадил их в очень глубокие кожаные кресла вокруг маленького стола красного дерева. На этом зеркально отполированном столе в художественном беспорядке были разложены узкие иллюстрированные проспекты Ллойда на разных языках, превосходно отпечатанные на меловой бумаге. Здесь были фотографии многоэтажных отелей, пальм, античных развалин и океанских пароходов. Петя увидел маленьких белых Ромула и Рема, прильнувших к зубчатым соскам белой волчицы, крылатого льва святого Марка, Везувий с зонтичной пинией на переднем плане, рыбью кость Миланского собора, косую Пизанскую башню — все эти

разнообразные символы итальянских городов, которые сразу перенесли мальчика в мир заграничного путешествия.

К этому же миру, несомненно, принадлежала и самая контора пароходства вместе со всеми своими цветными плакатами, тарифами, респектабельными бюро и шкафами палисандрового дерева, корабельными хронометрами вместо обыкновенных часов, моделями пароходов в стеклянных ящиках, портретами итальянского короля и королевы и с самим господином в серой визитке, который с такой изысканной вежливостью тараторил на ломаном русском языке, продавая Василию Петровичу красивые билеты второго класса с продовольствием от Одессы до Неаполя и время от времени поглаживая Павлика по стриженной головке, называя его с нежной улыбкой «маленький синьор туристо».

С этого времени Петю не оставляло чувство, что они уже путешествуют.

Когда, приобретя билеты и получив, сверх того, бесплатно целый ворох путеводителей и проспектов, взволнованные, они вышли из конторы Ллойда, то Николаевский бульвар представился Пете приморским бульваром какого-то заграничного города, а хорошо знакомый памятник дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе — одной из его главных достопримечательностей, на которую надо не просто смотреть, а которую уже надо «осматривать». Этому чувству соответствовал также вид порта, раскинувшегося внизу под бульваром, со множеством иностранных флагов, по которым струился широкий морской ветер.

Наступил день отъезда.

Пароход отходил в четыре часа пополудни. В половине второго Дуню послали к вокзалу за двумя извозчиками. На одном уселись провожавшая их тетя, в мантильке и шляпке с маргаритками, вместе с онемевшим от волнения Павликом, на другом — Василий Петрович с Петей, с альпийскими мешками и непомерно раздутым клетчатым саквояжем.

Уличные зеваки стояли вокруг извозчиков, громко обсуждая событие. Дуня, в новом коленкоровом платье, плакала, утирая глаза фартуком. Василий Петрович похлопал себя по карманам свежeweгглаженного чесучового пиджака, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь, снял соломенную шляпу с черной лентой, перекрестился и с наигранной бодростью сказал:

— Трогай!

Толпа расступилась, извозчики тронулись, а Дуня заплакала еще громче.

Ощущение уже начавшейся заграничности не оставляло Петю. Для того чтобы попасть в порт, нужно было проехать через весь город, пересечь его центр — самую богатую торговую часть. Только сейчас Петя обратил внимание на то, как сильно изменилась Одесса за последние несколько лет. Провинциальный характер южного новороссийского города — с небольшими ракушниковыми домами под черепицей «татаркой», с деревьями грецкого ореха и шелковицей во дворах, с ярко-зелеными будками квасников, греческими кофейнями, табачными лавочками, ренсковыми погребамн с белым фонарем в виде виноградной кисти над входом — сохранился во всей своей неприкосновенности лишь на окраинах.

В центре же царил дух европейского капитализма. На фасадах банков и акционерных обществ сверкали черные стеклянные доски со строгими золотыми надписями на всех европейских языках. В зеркальных витринах английских и французских магазинов были выставлены дорогие, элегантные вещи. В полуподвалах газетных типографий выли ротационные машины и стрекотали лино-типы.

Пересекая Греческую улицу, извозчики остановились, испуганно придерживая лошадей, и пропустили мимо себя новенький вагончик электрического трамвая, с ролика которого сыпались трескучие искры. Это была первая линия, проведенная Бельгийским акционерным обществом между центром города и торгово-промышленной выставкой, недавно открытой на приморском пустыре за Александровским парком.

На углу Ланжероновской и Екатерининской, против громадного европейского кафе Фанкоңи, где на парижский манер, прямо на тротуаре, под тентом, среди кадок с лавровыми деревьями, за мраморными столиками сидели в панاماх биржевики и хлебные маклеры, на извозчика с тетей и Павликом чуть не налетел красный фыркающий автомобиль «Дион-Бутон», которым управлял наследник прославленной фирмы «Братья Пташниковы», чудовищно толстый молодой человек в маленькой яхт-клубской фуражке, похожий на выставочную йоркширскую свинью.

Лишь когда стали спускаться в порт и поехали мимо обжорок, ночлежек, лавочек старьевщиков, мимо вонючих щелей, где в сумрачной тени спали прямо на земле или играли в карты те страшные люди с земли-

сто-картофельными лицами и в таких же землистых лохмотьях, которые назывались «босьяками», — дух «европейского капитализма» кончился. Впрочем, он кончился ненадолго, так как почти сейчас же снова предстал в виде серых пакгаузов из рифленого железа, коммерческих агентств, высоких штабелей ящиков и мешков, представлявших целый город с улицами и переулками, и, наконец, пароходов разных национальностей и компаний.

Узнав у карантинного надзирателя, где грузится пароход «Палермо» Ллойда Итальяно, извозчики поехали по мостовой в конец мола Практической гавани и остановились возле очень большого, хотя и, к великому разочарованию мальчиков, однотрубного парохода с нарядным итальянским флагом за кормой.

Как и следовало ожидать, семья Бачей приехала слишком рано, чуть ли не за полтора часа до третьего гудка.

Еще полным ходом шла погрузка, и стрелы мощных паровых лебедок вертелись во все стороны, опуская в трюм на цепях стопудовые ящики и целые гроздья связанных вместе бочек. Пассажиров еще не пускали, да, впрочем, их и не было, кроме кучки палубников — каких-то не то турок, не то персов в чалмах, которые неподвижно и молчаливо сидели на своих пожитках, завернутых в ковры.

### ХІІІ

#### ПИСЬМО

Вдруг Петя увидел Гаврика, который шел к нему, размахивая цветущей веткой белой акации. Петя не поверил своим глазам. Неужели Гаврик пришел его проводить? Это было совсем не в его характере.

— Ты чего пришел? — спросил Петя сурово.

— А провожать, — ответил Гаврик и с великолепным пренебрежением подал Пете ветку акации.

— Ты что, сдурел? — смущенно спросил Петя.

— Не, — ответил Гаврик.

— А что же?

— Я — твой ученик. Ты — мой учитель. А Терентий говорит, что своих учителей надо уважать. Скажешь, нет? — И в глазах Гаврика мелькнула пытливая улыбочка.

— Кроме шуток, — сказал Петя.

— Кроме шуток, — согласился Гаврик и,

крепко взяв Петю за локоть, серьезно сказал: — Есть дело. Пройдемся.

И они зашагали вдоль пристани, чуть не наступая на ленивых портовых голубей, которые стаями ходили по мостовой, поклевывая кукурузные зерна.

Дойдя до конца, мальчики сели на громадный трехлапый якорь. Гаврик огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, сказал, как бы продолжая прерванный разговор:

— Значит, так. Сейчас я тебе дам письмо, ты его спрячешь, а когда вы приедете куда-нибудь за границу, ты на него наклеишь заграничную марку и бросишь в почтовый ящик. Только, конечно, не в Турции, потому что это одна шайка. Лучше всего в Италии, Швейцарии или в самой Франции. Можешь ты это для нас сделать?

Петя с удивлением смотрел на Гаврика, стараясь понять, шутит он или говорит серьезно. Но у Гаврика было такое деловое выражение лица, что сомневаться не приходилось.

— Конечно, могу, — сказал Петя, пожав плечами.

— А где ты возьмешь деньги на марку? — пытливо спросил Гаврик.

— Ну, вот еще! Мы же будем посылать письма тете! Словом, это не вопрос.

— А то я тебе могу дать русский двугривенный на марку, ты его там поменяешь на ихние деньги.

Петя усмехнулся.

— Ты, брат, не строй из себя барина, — строго сказал Гаврик. — И попомни, что это дело... как бы тебе объяснить... — Он хотел сказать: «партийное», но не сказал. Другого же подходящего слова подобрать не смог и лишь многозначительно покачал перед Петиним носом пальцем, запачканным типографской краской.

— Понимаю, — серьезно кивнул головой Петя.

— Это к тебе личная просьба Терентия, — после некоторого молчания сказал Гаврик, как бы желая объяснить всю важность поручения. — Понял?

— Понял, — сказал Петя.

Тогда, еще раз осмотревшись по сторонам, Гаврик вынул из кармана письмо, завернутое в газетную бумагу, чтобы не запачкалось.

— Куда же я его спрячу?

— А вот сюда.

Гаврик снял с Петиней головы матросскую шапку и бережно засунул письмо за

подкладку, не застроченную с одной стороны.

Петя уже собирался ругнуть дядю Федю, так небрежно сшившего шапку, но в это время раздался очень густой и очень длинный пароходный гудок, почти на целую минуту заглушивший все разнообразные звуки порта. Когда же он вдруг, как отрезанный, прекратился и как бы улетел через весь город далеко в степь, а затем раздался снова, но уже на этот раз совсем короткий, как точка в конце длинного предложения, Петя увидел, что по трапу на пароход поднимаются пассажиры.

Гаврик быстро надел на голову Пети шапку, расправил георгиевские ленты, и мальчики побежали назад к пароходу.

— Имей в виду, — торопливо говорил Гаврик на бегу, — если засыпешься и тебя будут спрашивать, скажи, что ты его нашел, а лучше всего успеешь мелко порвать и выбросить, хотя в нем ничего особенного не написано. Так что ты не дрейфь.

— Понимаю, понимаю, — отвечал Петя прыгающим голосом.

— Петя!.. Петя!.. Петечка!.. — в три голоса кричали Василий Петрович, Павлик и тетя, выражая разные оттенки ужаса и бегая возле альпийских мешков и альпийского саквояжа.

— Отвратительный мальчишка! — кипятился отец. — Ты доведешь меня до белого каления!

— Где ты пропадал? Разве так можно? Уже первый гудок, а тебя нигде нет... А его, вообразите себе, нет, нигде нет! — взволнованно говорила тетя, обращаясь то к Пете, то к другим пассажирам, которых уже съехалось довольно много.

— Мы чуть без тебя не уехали! — вопил Павлик на всю пристань.

Итальянский матрос подхватил их вещи. Они пошли вверх по сходням, над таинственной щелью между бортом парохода и причалом, где глубоко внизу сумрачно светилась зеленая вода с прозрачным мешочком маленькой медузы.

Помощник капитана, итальянец, отобрал у Василия Петровича билеты, а русский пограничный офицер — паспорт, причем Петя совершенно ясно заметил, как он с нескрываемым подозрением осмотрел его матросскую шапку.

По очереди, споткнувшись о высокий медный порог, Василий Петрович, Павлик и Петя спустились по крутому трапу в недра парохода, где в дневных потемках коридоров

слабо горели электрические лампочки, а под кокосовыми матами и пробковыми половиками явно чувствовался довольно сильный наклон корабля, одним бортом пришвартованного к пристани.

Пожилая горничная-итальянка шелкнула ключом, и матрос втащил багаж в тесную каюту с круглым иллюминатором, над которым по слишком низкому бело-кремовому потолку маленьким зеркальным ручейком играло отражение моря.

Пока, толкаясь спинами, раскладывали по сеткам дорожные мешки и общими усилиями запихивали альпийский саквояж куда-то наверх, раздался второй гудок — один длинный и два отрывистых, коротких.

Когда, путаясь в коридорах и продолжая больно спотыкаться о высокие пороги, выбрались по трапу наверх, на какую-то палубу, паровые лебедки уже не грохотали, стрелы кранов не вертелись, лишь в солнечной тишине откуда-то слышалось напряженное сипенье пара.

Тетя и Гаврик стояли внизу на мостовой, в небольшой толпе провожающих. Увидев Петю, Гаврик исподтишка показал ему кулак и подмигнул. Петя очень хорошо понял своего друга. Как бы случайно он поправил на голове матросскую шапку и крикнул:

— Не забудь повторить, что я тебе задал!

— Я помню! — закричал в ответ Гаврик, прикладывая ладони ко рту. — Хик, хэк, хок! Эйюс! Эйюс! Эи! Скажешь, нет?

— Правильно!

— А ты думал!

— Имей в виду: приеду — буду гонять по всему курсу!

Наступила мучительно длинная пауза перед третьим гудком, когда ни пассажиры на палубах, ни провожающие на пристани не знают, что им делать. Тетя рылась в сумочке, доставая платок, чтобы в любую минуту начать им махать. Гаврик не сводил глаз с Петиной шапки.

— Идите домой, что вы будете здесь стоять, — говорил Василий Петрович тете, наклоняясь над поручнями.

— Что? Что? — спрашивала тетя, прикладывая ладони к ушам.

— Я говорю — идите уже домой! — кричал Василий Петрович.

Но тетя так энергично мотала шляпкой, как будто самый главный и самый священный долг ее жизни состоял именно в том, чтобы, несмотря ни на что, лично присутствовать до конца при отплытии парохода.



— Курочка моя, — сквозь слезы кричала она своему любимцу Павлику, — тебе не будет холодно в открытом море? Может быть, ты наденешь пальто?

Но Павлик только с досадой морщился и независимо отходил в сторону, чтобы пассажиры не подумали, будто именно он и есть «курочка моя».

— Надень шерстяные чулочки! — не унималась тетя.

И Павлику опять приходилось делать вид, что это не имеет к нему никакого отношения, хотя втайне его сердце ныло от горечи разлуки с дорогой тетечкой.

Но вот, как бы разорвав в клочья воздух над пароходом, раздался третий гудок. Уезжающие и провожающие с облегчением замахали платками, шляпами и зонтиками. Но они поторопились: пароход все еще не трогался с места.

На палубе снова появились помощник капитана и офицер пограничной стражи с солдатами в зеленых погонах. Офицер стал раздавать пассажирам паспорта, и тут только Петя заметил за его спиной господина, показавшегося ему странно знакомым. Он был весь какой-то потертый, в соломенном картузе, с грустными, собачьими глазами. Но вот он, неторопливо разглядывая пассажиров, вдруг приложил к мясистому носу темное пенсне, и в тот же миг мальчик узнал того самого усатого, — усы его, правда, теперь заметно поседели и висели вниз, — который когда-то, пять лет назад, бегал по палубе «Тургенева» за матросом Жуковым.

В это время сыщик как раз посмотрел на Петю, и глаза их встретились. Нельзя было понять, узнал ли он мальчика, но сейчас же повернулся к офицеру и сказал несколько слов на ухо.

Петя похолодел. Офицер, с пачкой паспортов в руке, подошел к Василию Петровичу и, показав подбородком на Петю, спросил:

— Ваш сын?

— Мой.

— Так потрудитесь снять с его головного убора георгиевскую ленту; в противном случае принужден буду вернуть вас на берег и привлечь к ответственности за незаконное ношение вашим сыном военной формы. Это и у нас запрещается, а тем более неуместно за границей.

— Петя, сию же минутуними ленту!

— Извольте ваш паспорт... А ленточку позвольте мне. По возвращении из-за грани-

цы вы можете ее получить обратно в канцелярии военного коменданта порта.

Гаврик увидел с пристани, как Петя, окруженный солдатами с офицером, снимает свою матросскую шапку.

— Тикай! Петька, тикай! — закричал он и очертя голову бросился к сходням, но в ту же минуту понял свою ошибку, так как увидел, что Петя снимает с шапки георгиевскую ленту и отдает ее офицеру, а шапку снова как ни в чем не бывало надевает на голову.

Гаврик тревожно оглянулся по сторонам; но никто не обратил внимания на его крик. Все были заняты церемонией махания платками.

Раздав пассажирам паспорта, офицер отдал честь и в сопровождении своих солдат и усатого сошел по сходням на пристань, после чего раздалась веселая итальянская команда и сходни убрали.

Вдоль борта побежали итальянские матросы в синих фуфайках, ловко убирая концы; послышался прерывистый, канительный звон машинного телеграфа; в воде под кормой, с золотой надписью «Palemto», в прорези руля повернулись красные лопасти парового винта, забила буграми пена, палуба выровнялась под ногами, пароход задрожал, и Петя увидел, как пристань со всеми ее постройками, штабелями грузов и толпой провожающих сначала поехала вперед, потом назад, потом каким-то образом переехала за другой борт, потом вернулась на прежнее место, но уже значительно уменьшившись и все время продолжая уменьшаться, как будто ее уносила вдаль широкая полоса малахитовой пены, бегущая из-под кормы назад.

Петя уже с трудом различал в толпе Гаврика и тетю, махавшую зонтиком. Из-за портовых сооружений стала медленно подниматься панорама города с Николаевским бульваром, белой колоннадой Воронцовского дворца, повисшей над обрывом, с городской думой и маленьким дюком де Ришелье, простершим руку вдаль.

#### XIV

### НА ПАРОХОДЕ

Вышли за волнорез и увидели его обратную сторону, обращенную в открытое море, где в брызгах и пене разбивающихся волн сновало множество рыболовов с длинными бамбуковыми удочками.

Теперь уже были видны Ланжерон, Александровский парк, остатки его знаменитой старинной стены с арками и рядом — торгово-промышленная выставка: целый город затейливых павильонов, среди которых возвышались высотой с трехэтажный дом деревянный самовар чайной фирмы «Караван» и черная бутылка шампанского «Редерер» с золотым горлышком.

На выставке играл симфонический оркестр, и вечерний бриз, трепавший на белых флагштоках сотни цветных флагов и вымпелов, доносил иногда до парохода его торжественную скрипичную бурю, нежно смягченную расстоянием.

Петя не уходил с палубы, весь охваченный восторгом выхода в открытое море. Единственное, что немного омрачало его радость, это были георгиевские ленты, оставшиеся в кармане пограничного офицера. А как бы они сейчасгодились!

Ветер крепчал, красиво надувая и полоща за кормой итальянский флаг, и мальчик с горечью представил себе, как прекрасно могли бы струиться и шелкать длинные концы его георгиевской ленты.

Впрочем, и без этого свежему морскому ветру было много возни с Петиным костюмом. Ветер трепал воротник Петиной матроски, надувал ее на спине и раздувал просторные рукава, тесно застегнутые на запястьях. А то, что шапка теперь была без ленты, может быть, даже и к лучшему: она с некоторой натяжкой могла сойти за берет пятнадцатилетнего капитана из романа того же названия, но имела перед ним то преимущество, что под ее подкладкой лежало письмо.

Словно желая доставить Пете как можно больше радости, судьба подарила ему в этот изумительный день еще одно незабываемое впечатление.

— Смотрите, смотрите: летит! — кричал вдруг Павлик.

— Где летит? Кто?

— Да Уточкин же!

Петя совсем забыл, что именно на сегодня был назначен так долго ожидаемый перелет Уточкина из Одессы в Дофиновку. При благоприятных метеорологических условиях смелый авиатор должен был подняться на своем «Фармане» с территории выставки, пролететь одиннадцать верст по прямой над заливом и опуститься в Дофиновке. Не каждому мальчику посчастливилось бы увидеть такое зрелище не с берега, а именно с моря.

Петя и все пассажиры, выбежавшие из своих кают на палубу, увидели невысоко над

водой аппарат Уточкина, который только что оторвался от земли и теперь, стрекоча мотором, медленно приближался к пароходу. Он пролетел совсем недалеко за кормой, так что в лучах заходящего солнца были отчетливо видны велосипедные колеса аэроплана, медный бак и между двумя желтыми полупрозрачными плоскостями согнутая фигурка самого Уточкина с ногами, повисшими над морем.

Поравнявшись с пароходом, отчаянный Уточкин сорвал с головы кожаный шлем и помахал им в воздухе.

— Ура! — кричал Петя и тоже было сорвал с головы шапку, но, вспомнив про письмо, нахлобучил ее еще крепче.

— Ура! — кричали пассажиры, размахивая кто чем мог, и летательный аппарат стал уменьшаться по направлению к Дофиновке, оставляя над заливом синюю струйку отработанного газа.

До этого времени Петя если и уезжал куда-нибудь из Одессы, то не дальше Екатеринослава, где раза два гостил у бабушки, или Аккермана, возле которого они каждый год проводили лето, — в Будаках, на берегу моря. В Екатеринослав ездили на поезде, а в Аккерман на пароходе «Тургенев», который казался чудом техники.

Теперь он плыл из Одессы в Неаполь на океанском пароходе. «Палермо», строго говоря, не был океанским пароходом. Но так как было известно, что ему случалось совершать рейсы и по океану, то Петя, сделав маленькую натяжку, уверил себя и с жаром уверял других, что «Палермо» настоящий океанский пароход.

Путешествие должно было продолжаться около двух недель — довольно-таки долго для быстроходного лайнера, каким он изображался во всех проспектах и объявлениях.

Дело в том, что, продавая Василию Петровичу билеты, синьор в серой визитке весьма ловко умолчал о том, что «Палермо» пароход не вполне пассажирский, а скорее полугрузовой и должен делать продолжительные остановки в портах следования. Но это выяснилось только в Константинополе, где началась первая длительная погрузка, а до Константинополя плыли быстро и со всевозможным комфортом.

Петя сразу с головой окунулся в упорную жизнь океанского парохода. Здесь все, каждая мелочь, волновало его своей особой ультрасовременной технической целесообразностью, соединенной со старинными романтическими формами парусного флота.

Ровный, непрерывный, напряженно-дрожащий звук паровых и электрических машин в тысячи индикаторных сил сливался со свежим, живым шумом волны, также непрерывно льющейся, волнисто бегущей по железным бортам. Крепкий ветер, насыщенный всеми запахами открытого моря, вольно поспытывал в вантах, и тот же самый ветер, раздувая брезентовые рукава вентиляционных кожухов, врвался в их разинутые жерла и потом дул то горячими, то холодными сквозняками машинного отделения и грузовых трюмов.

Здесь смешивались самые различные запахи: теплый, уютный запах полированного красного дерева кают-компаний и запах риполина, которым были выкрашены переборки коридоров; ароматы ресторана и дух горячей стали, машинного масла и сухого пара; смолисто-пеньковый запах матов и свежий запах соснового экстракта, которым опрыскивали из пульверизатора кафельные отдаленные комнаты с горячей и холодной водой. Здесь были тяжелые качающиеся медные бра, со свечами под стеклянными колпаками, и элегантные матовые плафоны электрического освещения; стальные трапы и решетки машинного отделения и дубовая лестница с натертыми воском фигурными перилами и точеными балясинами, двумя широкими маршами ведущая в салон.

В первый же день Петя облазил весь пароход, все его таинственные закоулки и глубины угольных ям, где круглые сутки слабым накалом светились электрические лампы, дрожа в проволочных сетках, как в мышеловках.

Чем глубже под палубу вводили мальчика почти отвесные трапы с очень скользкими, добела вытертыми стальными ступеньками, тем становилось неуютнее и грязнее. Под ногами сочилась черная, масляная вода, и тошнило от оглушительного стука машин, шороха гребного вала, безостановочно вращающегося в своем масляном ложе, и тяжелого трюмного воздуха.

В подводной части парохода жили и все время трудились механики, смазчики, кочегары. Иногда открывалась железная дверь кочегарки, и тогда Петю обдавало нестерпимым зноем топок. В адском пламени спекшегося раскаленного угля проворно двигались фигуры кочегаров с длинными ломом в руках. Петя видел их черные, потные лица, облитые багровым светом, и чувствовал ужас от одной только мысли остаться здесь хотя бы на пять минут.

Он поскорее шел дальше, скользя по стальным половикам, держась за маслянистые стальные поручни, спускался и поднимался по трапам, стараясь выбраться из этого страшного мира. Но не так-то легко это было сделать. Оглушенный грохотом и тонким звоном тысячи индикаторных сил паровой машины, разбушевавшейся где-то совсем рядом и лихорадочно сотрясающей тонкие переборки, Петя попадал в помещения, существование которых трудно было себе представить.

Петя знал, что, кроме пассажиров классных, есть еще палубные, но оказалось — существует еще одна категория пассажиров, так называемых трюмных. Они не имели права выходить даже на самую нижнюю палубу, где обычно везли скот. Они ехали на дощатых нарах в самой глубине одного из недогруженных трюмов.

Петя увидел груды какого-то грязного восточного тряпья, на котором сидели и лежали измученные качкой, дурным воздухом, полутьмой, шумом машин несколько турецких семейств, куда-то переезжающих вместе с детьми, медными кофейниками и цыплятами в больших деревянных клетках.

С трудом выбрался Петя на верхнюю палубу, на свежий морской воздух, и долго еще не мог прийти в себя.

Для пассажиров первого и второго классов жизнь на пароходе шла по твердо заведенному порядку: в восемь часов утра пожилая горничная в крахмальной наколке входила в каюту и, сказав баритоном: «Буон джорно», ставила на столик поднос с кофе и булочками; в полдень и в шесть часов вечера по коридору бесшумной рысью проносился официант с салфеткой подмышкой и, по очереди стуча в двери кают, кричал скороговоркой итальянской *commedia dell'arte*, раскатываясь на букве «р»:

— Пр-рего синьор-р-ри, манджар-р-ре! — что значило: «Пожалуйста кушать».

Для пассажиров первого класса полагался еще пятичасовой чай и поздний ужин. Но семейство Бачей, принадлежавшее к той золотой середине человеческого общества, которая обычно ездит во втором классе, было лишено этого преимущества.

Это оставило в душе неприятный осадок, в особенности у Пети и Павлика: за обедом пассажирам первого класса, кроме десерта, подавалось очень вкусное сладкое, даже иногда мороженое, а пассажиры второго класса довольствовались лишь одним десертом, состоящим из сыра и фруктов.

Первый и второй классы столовались в разных салонах. Во втором классе за столом председательствовал старший помощник, а в первом — сам капитан, личность, недоступная для простых смертных, поэтому несколько таинственная: его даже пронира Павлик видел за весь рейс всего несколько раз.

Зато старший помощник — весельчак и, судя по его глянцевиному лилово-розовому носу с древнеримской горбинкой, пьяница — был в полном смысле душа общества. Он так мило щипал Павлика под столом и называл его «маленьким руски», так предупредительно передавал дамам сыр и подливал мужчинам вина, так скрипел белоснежным, туго пахламленным китем, поворачиваясь направо и налево и оделяя всех обедающих своими простодушными улыбками!

За обедом подавались настоящие итальянские макароны под томатным соусом, жаркое с гарниром «фаджоли», то-есть фасолью, затем десерт — круглые мессинские апельсины с веточками и листиками, сморщенные лилово-зеленые фиги и свежий миндаль, который не кололся щипцами, а свободно разрезался столовым ножом вместе с его толстой зеленой шкуркой и еще мягкой скорлупкой.

Несколько смущало то обстоятельство, что кушанья подавал официант. Он просовывал мельхиоровое блюдо с левой руки, держа его на весу, и надо было самому себе брать, и от застенчивости брали гораздо меньше, чем хотелось.

Но решительно не понравилось и даже испугало Василия Петровича то, что к обеду полагалось вино — по бутылке на троих. Правда, это было слабенькое, довольно кислое итальянское вино и пассажиры пили его пополам с водой, но все равно Василию Петровичу показалось это ужасным. Увидев в первый раз перед своим кувертом толстую бутылку без этикетки, он затряс бородой и чуть было не крикнул лакею: «Уберите эту гадость!» — но во-время сдержался и ограничился тем, что демонстративно отодвинул от себя вино.

Но впоследствии, попробовав его и убедившись, что пароходное общество вовсе не имело в виду спаивать своих пассажиров второго класса крепкими, дорогими винами, разрешил детям, чтобы не пропадало добро, за которое было заплачено, подкрашивать воду несколькими каплями вина.

Это ежедневное подкрашивание и составляло для Пети и Павлика одну из главных радостей обеда.

Из тяжелого запотевшего графина, насквозь промерзшего в пароходном холодильнике, в большой бокал наливалась ледяная вода, а потом туда прибавлялась тонкая струйка вина.

Вино смешивалось с водой не сразу. Оно сначала кружилось гарусными нитями, а уже потом распускалось, и тогда вода окрашивалась в яркий рубиновый цвет, а на крахмальной скатерти вспыхивала розовая качающаяся звезда.

## XV

### СТАМБУЛ

Самым сильным впечатлением в первые дни путешествия — да, впрочем, и потом — был вид открытого моря. День и две ночи — между Одессой и Босфором — не было видно берегов. Пароход шел полным ходом, в то же время как бы неподвижно оставаясь в центре синего круга.

И когда в полдень солнце стояло над головой, Пете трудно было понять, в каком направлении движется пароход.

Было что-то упительное в этой мнимой неподвижности, в отсутствии на горизонте земли, в этом торжестве двух синих стихий — воздуха и воды, — в которых как бы купалось все Петино существо, освобожденное от грубой власти земли.

На рассвете второго дня Петя проснулся от беготни над головой. Звонил пароходный колокол, машина не работала, и в непривычной тишине слышалось свежее, булькающее движение воды вдоль борта. Петя посмотрел в иллюминатор и в легком утреннем тумане близко увидел высокий зеленый берег с маленьким маяком и казармой под черепичной крышей.

Петя быстро оделся и побежал наверх. На спардеке рядом с капитаном стоял турецкий лоцман в красной феске, а пароход самым малым ходом втягивался в зеленое ущелье Босфора. Оно то расширялось, то сужалось, как извилистая река. Иногда берег так близко придвигался к пароходу, что Пете казалось — можно дотянуться до него рукой и потрогать надмогильные столбики мусульманского кладбища, беспорядочно и косо белеющие между черными кипарисами, маково-красный флаг с полумесяцем над таможенной или дерновые кронверки береговых батарей.

Это уже была Турция — заграница, чужбина, и вместе с острым любопытством Петя

вдруг почувствовал мгновенный прилив никогда не испытанной им раньше острой тоски по родине, и это чувство уже не проходило до тех пор, пока Петя не вернулся в Россию.

Солнце уже поднялось довольно высоко, и жаркое отражение воды бегало по всему пароходу, от ватерлинии до кончиков мачт, когда вошли в Золотой Рог и остановились на константинопольском рейде.

С этой минуты семейством Бачей овладел род безумия, свойственный всем неопытным путешественникам. Им захотелось немедленно, не теряя ни одной минуты драгоценного времени, осмотреть все без исключения достопримечательности этого единственного в мире города, длинная панорама которого, полная знойного мерцания муравьиного движения толпы, так близко стояла перед глазами, со своими куполами приземистых, но тем не менее высоких мечетей, окруженных пирами минаретов.

Плюнув на завтрак и с нетерпением дождавшись, когда жуликоватый турецкий чиновник, получив несколько серебряных пиастров, поставил в паспорте какую-то закорючку, оказавшуюся, впрочем, знаком Османа, семейство Бачей спустилось по внешнему трапу и, раздираемое на части разбойниками-лодочниками, наконец кое-как упало на бархатные подушки ялика и было за две лиры привезено на набережную.

Все дальнейшее слилось для Пети в ощущение одного бесконечного, мучительно знойного трудового и в то же время праздничного дня, состоящего из чередования оглушительного, поистине восточного базарного шума и поистине восточной, скучной религиозной тишины огромных, как площади, пустынных дворов вокруг мечетей и каменного, музейного холода внутри них. Но и там и здесь надо было все время платить лиры, пиастры, пары и меджидиэ — монеты, восхищавшие мальчиков турецкими надписями и странным знаком Османа.

В Турции семейство Бачей впервые столкнулось со страшным явлением гидов, то-есть проводников, показывающих туристам достопримечательности города. Гиды преследовали их в продолжение всего путешествия. Были гиды греческие, итальянские, швейцарские. При всех своих национальных особенностях они имели одну общую черту — назойливость. Но у константинопольских гидов эта назойливость достигала высшего предела.

Едва ступив на мостовую константинопольской пристани, семейство Бачей сразу

же подверглось нападению гидов. Так же как и лодочники, гиды рвали их на части, оспаривая, кому достанется добыча. Это была настоящая уличная свалка, почти побоище, на которое, впрочем, никто не обращал внимания, как на зрелище вполне обычное.

Со страшными проклятиями на всех языках и диалектах восточной части Средиземного моря гиды вырывали друг у друга бумажные манишки, со зверскими лицами замахивались тросточками, пихались локтями, становились задом и лягались.

В конце концов семейство Бачей досталось одному, наиболее влиятельному гиду, оттеснившему своих соперников при содействии знакомого полицейского. Он был в визитке, сильно полинявшей подмышками, в штучных полосатых брюках и красной феске. Его воинственно раздутые ноздри и жгучие усы янычара выражали решимость умереть, но победить, в то время как во всем остальном лицо и в особенности испуганные глаза с абрикосовыми мешочками улыбались в страстном желании немедленно показать туристам решительно все достопримечательности Константинополя: Перу, Галату, Илдыз-киоск, фонтан змей, семибашенный замок, древний водопровод, катакомбы, бродячих собак, знаменитую мечеть Айя-София, мечеть султана Ахмеда, мечеть Сулеймана, мечеть Османа, Селима, Баязета и все двести двадцать семь больших и шестьсот шестьдесят четыре малых мечети — одним словом, все, что только пожелают осмотреть туристы.

Он втолкнул их в пароконный фазтон, сверкающий раскаленной медью, а сам стал на подножку и, дико озираясь по сторонам, велел кучеру гнать во всю мочь...

Вечером до такой степени измучились и устали, что пока наконец добрались до парохода, Павлик заснул уже в лодке, и матросу пришлось нести его по трапу до самой каюты.

Василий Петрович был не на шутку встревожен, даже удручен безумными издержками этого дня, не говоря уже о том, что даром пропали оплаченные завтрак и обед. Было решено повести себя завтра умнее: обойтись без гида, своими средствами. Этому должно было способствовать то, что ночью «Палермо» перевели с рейда к пристани, где он пришвартовался для погрузки в числе десятка других пароходов.

Трудно было себе представить, чтобы гид отыскал их в этой однообразной пароконной тесноте. Они заснули мертвым сном в тесной, нагретой за день каюте, под грохот лебедек и

при движущемся свете разноцветных рейдовых огней, проникавшем сквозь иллюминатор.

Разбуженные зеркальным блеском утреннего солнца и снова увидев перед собой волшебную панораму Стамбула, Василий Петрович и мальчики поторопились сойти на пристань. Это был последний день их стоянки, и надо было воспользоваться им как можно лучше.

Первый, кого они увидели на пристани, был гид, радостно приветствующий их взмахами бамбуковой трости над головой, а немного в стороне стоял фаэтон с покорной фигурой меднолицего македонца на козлах.

И повторился вчерашний день, с тем лишь добавлением, что под видом достопримечательностей гид стал таскать их по базарам и знакомым лавочкам, уговаривая покупать сувениры.

Покупка сувениров оказалась столь же опасной и разорительной, как и осмотр достопримечательностей. Но семейство Бачей, оглушенное впечатлениями, уже вступило в ту стадию туристской горячки, когда люди теряют всякую волю и с лунатическим бездумьем подчиняются всем прихотям своего гида.

Они покупали пачки грубо раскрашенных открыток с видами тех же самых достопримечательностей, от которых изнемогали в действительности. Они платили пиастры и лиры за кипарисовые четки, за какие-то литые стеклянные шары с разноцветными спиралями в середине, за тропические раковины, за ножи для разрезания и алюминиевые перья, точно такие же, какие можно было купить в Одессе на выставке.

В ограде греческого монастыря афонские монахи всучили им за шесть пиастров желтый деревянный ящик с громадным увеличительным стеклом, через которое надо было рассматривать виды Афона.

Они очнулись лишь перед европейским кварталом Константинополя — среди роскошных магазинов, ресторанов, банков и посольств, утопающих в темной зелени южных садов. Гид тащил их в знакомый магазин фотографических принадлежностей покупать кодаки, а после покупки аппаратов предлагал семейству Бачей пообедать с ним в шикарном французском ресторане.

Но тут Василий Петрович снова очнулся, взбунтовался, и они, спасаясь от роскоши и разорения, ударились в другую крайность — в константинопольские трущобы, где увидели

человеческую нищету, доведенную до крайности.

Впечатление от этих трущоб так тягостно подействовало на Петину душу, что мальчик не скоро пришел в себя. Даже поездка на азиатский берег, в Скутари, не сразу вернула Пете душевное спокойствие.

Маленький пароходик бежал через Босфор, разваливая носом зеленую воду и оставляя за собой две расходящиеся зеркальные морщины. Сотни яликов отражались в проливе, неподвижном, как озеро. Под их легкими тентами на бархатных подушках полулежали турецкие купцы, чиновники с портфелями и офицеры, едущие по делам в Скутари или обратно.

По всему заливу вспыхивали на солнце мокрые весла. С азиатского берега доносились степные запахи чебреца и тмина. А Пете все еще казалось, что он дышит смрадом трущоб и видит тучи зеленых мух над гноящимися глазами нищих стариков.

Едва причалили к пристани Скутари, как отдохнувший на пароходике гид с новой энергией бросился вперед, стараясь напоследок показать как можно больше местных достопримечательностей. Но силы наших путешественников уже окончательно иссякли.

Рядом был базар. Они набросились на прохладительные напитки. Несладкий лимонад со странным привкусом анисовых капель показался им райским напитком. Потом пили розовую ледяную воду, подкрашенную фуксином, и ели костяными ложечками из толстых стаканчиков разноцветное мороженое, какое обычно продавалось на пасху на Куликовом поле. Затем их внимание привлекли горы самых разнообразных восточных сладостей.

Василий Петрович всегда был противником того, чтобы детям давали много сладостей, которые портят зубы и отбивают аппетит. Но здесь даже и он не мог устоять против искушения попробовать баклаву, плавающую в медовом сиропе на железных противнях, или соленые фисташки с костяной скорлупкой, лопнувшей на конце, как палец лайковой перчатки, откуда выглядывала темнозеленая мякоть.

Восточные сладости вызвали жажду, а выпитые потом прохладительные напитки, в свою очередь, снова вызвали непреодолимое желание есть восточные сладости. Петя, хорошо помнивший случай с бабушкиным вареньем, вел себя в отношении восточных сладостей аккуратно. Зато Павлик не стеснялся. Он так разъелся, что его невозможно



было остановить. Когда же отец решительно отказался больше покупать сласти, Павлик нырнул в базарную толпу и через некоторое время вынырнул, держа в руках довольно большую коробку самого лучшего рахат-лукума, оклеенную яркими лаковыми картинками.

— Где ты взял рахат-лукум? — грозно спросил отец.

— Купил, — ответил Павлик с независимой улыбкой.

— А деньги?

— У меня было полтора пиастра.

— Откуда ты их взял?

— Выиграл! — не без гордости сказал Павлик.

— Как — выиграл? Где? Когда? У кого?

И тут выяснилось, что во время переезда из Одессы в Константинополь, пока отец изучал путеводитель и уточнял бюджет путешествия, а Петя целые часы проводил на палубе, мечтательно подставив грудь в своей фланельке и полосатой тельняшке под широкий черноморский ветер, Павлик успел познакомиться с итальянским официантом, был введен в общество ресторанной прислуги второго класса и помаленьку поигрывал с ними в лото, пустив в дело завалявшиеся русские три копейки, обмененные ему итальянским официантом на турецкую валюту. Павлику повезло, и он выиграл несколько пиастров.

Василий Петрович схватил Павлика за плечи и, не обращая внимания на то, что они находятся в центре большого азиатского базара, стал его трясти, крича:

— Как ты смел играть в азартные игры, негодный мальчишка! Сколько раз я тебе говорил, что порядочный человек никогда не должен играть на деньги... тем более с... с иностранцами!

Павлик, которого уже начало слегка подташнивать от восточных сладостей, притворно захныкал, так как совершенно не разделял взглядов отца на игру в лото, к тому же еще такую удачную. Отец вспылил еще больше. И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы гид вдруг не посмотрел на свои шикарные часы накладного американского золота с четырьмя крышками. Оказалось, что до отхода «Палермо» остается не более двух часов.

Не хватало еще опоздать!

Семейство Бачей бросилось на пристань, не торгуясь нашло ялик и скоро очутилось на палубе парохода, который за это время уже погрузился и, готовый к отплытию, стоял на рейде и давал первый гудок.

Прощание же с гидом превратилось в настоящую драматическую сцену. Получив следующие ему две лиры и стоя в качающейся лодке на своих вынослизых ногах старого волка, в то время как Василий Петрович с семейством уже находился на штормтрапе, он начал просить бакшиш. Он и вообще отличался красноречием, свойственным его беспокойной профессии, но теперь он превзошел самого себя. Обычно он говорил одновременно на трех европейских языках, весьма ловко и своевременно вставляя самые необходимые русские слова. Теперь же он говорил главным образом по-русски, вставляя французские фразы, что придавало его речи экспрессию ложноклассических трагедий Расина и Корнеля.

Язык его монолога был темен, но смысл ясен. Протягивая руку, сверкающую медными перстнями с большими искусственными бриллиантами, с такой же страстью, с какой он описывал достопримечательности, он теперь описывал бедственное положение своей несчастной семьи, обремененной парализованной бабушкой и четырьмя малютками, лишёнными молока и одежды. Он жаловался на старость, на плохие отношения с константинопольской полицией, которая отнимает у него почти все заработки, на хронический катар желудка, на чудовищные налоги и на конкуренцию, буквально убивающую его. Он умолял пожалеть дряхлого, необеспеченного турка, всю свою жизнь отдавшего служению туристам. Он горестно поднимал густые брови с проседью. По его щекам текли слезы.

Все это могло бы показаться обыкновенным шарлатанством, если бы не настоящее человеческое горе, светившееся в его испуганных каштановых глазах. Василий Петрович не выдержал, и в протянутую руку гида посыпалась последняя турецкая мелочь, которая нашлась в карманах Василия Петровича.

## XVI

### КУРИНЫЙ БУЛЬОН

Приближался вечер, а вместе с ним в неподвижном, отяжелевшем от зноя воздухе чувствовалось томительное созревание грозы. Она ниоткуда не шла, она как бы сама собой зарождалась над амфитеатром города, среди мечетей и минаретов. Когда со скрежетом поползла вверх стопудовая якорная цепь, а затем перегруженный пароход, освещенный ниже ватерлинии, стал медленно пово-

рачиваться на рейде, солнце уже потонуло в грозовых тучах. Сделалось так темно, что в каюте и салонах зажгли электричество. Из люков дохнуло горячими запахами кухни и машин. Панорама города, лишенного красок, еще больше усиливала грозовую зелень Золотого Рога.

Пароходные машины дышали тяжело, с натугой. Хотя поверхность воды казалась неподвижной, как литое стекло, пароход начало очень медленно покачивать.

Павлик, только что через силу съевший последний кубик рахат-лукума, густо посыпанного сахарной пудрой, который показался ему слишком мучнистым на вкус и как-то неприятно, слишком податливо-вязким, вдруг почувствовал во рту противную металлическую кислоту. Начало неудержимо сводить челюсти. Резко зеленая, прозрачная вода, чем-то напоминающая рахат-лукум, так тягостно поразила его зрение, что он зажмурился и тут же испытал ощущение полета на качелях. Он сделал усилие, чтобы выговорить «папа, я, кажется, отравился», но не успел, так как у него начался приступ морской болезни.

В это время как раз над самым полумесяцем Айя-Софии в угольно-черных тучах, среди минаретов, вспыхнула ломаная молния, и вслед за этим все вокруг потряс такой удар, как будто бы небо раскололось пополам и его обломки посыпались на город и на рейд. Пронесся вихрь, гоня по холмам смерчи пыли. Вода закипела. А когда, обогнув Серай Бурну и зарываясь в пенистые волны, вошли в Мраморное море, то оно, все исписанное зигзагами шквалов, и впрямь показалось мраморным.

Но Мраморного моря Петя уже не увидел, так как его постигла участь Павлика. Они оба, белые как мел, пластом лежали в душной каюте. Отец метался между ними, не зная, что предпринять. А горничная-итальянка с привычной сноровкой бегала по коридору, меняя тазы.

Дело, конечно, было не только в качке и восточных сладостях. Мальчики переутомились от впечатлений, от жары, беготни, уличного шума. Морская болезнь скоро прошла, но поднялась температура — они горели, бредили. Пароходный доктор-итальянец осмотрел их со всеми традиционными приемами старого европейского врача-педанта: он сильно прижимал их языки серебряной ложкой, взятой в буфете первого класса; мял их голые животы опытными твердыми пальцами; выстукивал молоточком, выслушивал

в трубку, а также без трубки, приложив к телу большое, мясистое ухо; крепко держал за пульс, следя за стрелкой больших золотых часов, в крышке которых с внутренней стороны отражался круглый иллюминатор и вода, быстро бегущая мимо него; грубовато шутил по-латыни с испуганным отцом, чтобы вдохнуть в него бодрость; ничего особенно опасного не нашел, но велел три дня оставаться в постели, дал слабительные порошки и милостиво удалился, прописав куриный бульон с сухарями и легкий омлет.

Последнее крайне взволновало Василия Петровича, так как еще в Одессе все знающие в один голос заклинали его ни в коем случае ничего не требовать из пароходного буфета сверх того, что входило в стоимость билета, потому что: «Вы не знаете этих мошенников: они вас обдерут, как липку; они на этом только и отыгрываются; они вам насчитают бог знает что — и за сервировку, и за хлеб, и за подачу, и десять процентов пур буар, так что и не заметите, как останетесь без штанов».

Как ни ужасала Василия Петровича подобная перспектива, но все же он, порывшись в словаре, на ломаном итальянском языке заказал официанту две порции куриного бульона с сухарями и два омлета из ресторана, за отдельную плату.

Таким образом, мальчики пропустили не только Мраморное море и Дарданеллы, но также и Салоники, портовый шум которых и крики на разных языках — греческом, турецком, итальянском — слышали через иллюминатор, полуотвинченный ввиду сильной жары.

## XVII

### А К Р О П О Л Ь

Пароход шел на юг вдоль Салоникского залива. Слева было открытое море, справа тянулись пустынные берега, на первом плане низкие, а дальше холмистые, переходящие в горную цепь с одной высокой вершиной, над которой плоско висела гряда кудрявых неподвижных облаков, как бы отлитых из гипса. Было в этой одинокой горе и в этих облаках, бросавших на нее голубые тени, что-то притягательное. Пассажиры рассматривали ее в бинокли с таким вниманием, как будто на ней должно было сию минуту произойти чудо.

Отец, прижимая одной рукой к груди красный томик путеводителя, а в другой дер-

жа бинокль, тоже смотрел на волшебную вершину. Когда Петя подошел, он с живостью повернул к сыну лицо с блестящими от восторга глазами, вложил в его руку маленький перламутровый бинокль покойной мамы и сказал:

— Смотри, дружок, это Олимп!

Петя не понял:

— Что?

— Олимп! — торжественно повторил Василий Петрович.

Петя подумал, что отец шутит, и засмеялся:

— Нет, серьезно?

— Тебе говорят — Олимп!

— Какой Олимп? Тот самый?

— А какой же еще?

И вдруг Петя с поразительной ясностью понял, что именно эта самая земля, которую он видит так близко от парохода, и есть древняя Пиэрия, а гора Олимп и есть тот самый Олимп Гомера, где некогда обитали греческие боги, довольно хорошо известные мальчику по сказкам древней истории.

А может быть, они и сейчас там обитают? Петя посмотрел в мамин бинокль, но, к сожалению, он был слишком слаб, для того чтобы сколько-нибудь заметно увеличить божественный Олимп. Петя только сумел рассмотреть отару овец, ползущую по ближнему склону как тень облака, и прямую фигуру пастуха, окруженного собаками. Но все же ему показалось, что он очень хорошо видит богов, так как одно облако напоминало полулежащую фигуру Зевса, а другое летело в развевающемся плаще, как Афина-Паллада, по всей вероятности спешащая к осажденной Трое на помощь Ахиллу...

Однажды летом Василий Петрович, чтобы расширить умственный кругозор своих мальчиков, прочитал им от доски до доски всю «Илиаду», так что теперь Пете было легко увидеть летящую Афину-Палладу. Но, значит, где-то здесь поблизости должна быть и самая Троя...

— Папочка, а где же Троя? Мы увидим Троию? — с волнением спросил Петя.

— Увы, мой друг, — сказал отец, — Троя осталась уже далеко позади, возле Дарданелл, и вы с Павликом ее уже больше никогда не увидите... — И назидательно добавил, намекая на печальный случай с восточными сладостями: — Так судьба наказывает жадность и обжорство.

Это, конечно, было справедливо, но все же Пете показалось, что судьба поступила слишком жестоко, лишив их из-за какого-то

паршивого рахат-лукума счастья собственными глазами увидеть Троию.

Впрочем, для того чтобы не слишком восстанавливать Петю против судьбы, Василий Петрович поспешил заметить, что все равно с парохода Троию не было видно, и мир между Петей и судьбой был восстановлен.

Но зато, увидев через два дня Афины, Петя был с избытком вознагражден за потерю Трои.

Мучительно долго тянулись гористые пустынные берега длиннейшего греческого острова Эвбеи — сухого и каменистого. Но вот наконец он кончился. Ночью прошли какой-то пролив, видели в иллюминатор береговые маяки. Пароход несколько раз менял скорость, поворачивался. Заснули поздно, а когда утром проснулись, то пароход уже стоял на рейде Пирея, в виду Афин.

На этот раз Василий Петрович твердо решил обойтись без гидов.

Греческие гиды отличались от турецких тем, что были помельче и вместо алых фесок с черной кистью носили черные фесочки без кисти, а в руках держали янтарные четки. Они не нападали на туристов, как воинственные магометане, в открытую, с воплями и проклятиями, а, как смиренные христиане, окружали молчаливой толпой и брали измором. Оказавшись в кольце греческих гидов, которые, перебирая свои янтарные четки, нежно, но молчаливо смотрели в лицо глазами, черными как маслины, Василий Петрович не растерялся.

— Нет! — сказал он решительно по-русски и для большей убедительности прибавил еще по-французски и по-немецки: — Нон! Найн! — причем сделал ладонью такой энергичный жест, что Пете даже показалось, будто свистнул воздух.

Хотя это не произвело на греческих гидов никакого впечатления и они продолжали стоять вокруг со своими уныло висящими большими носами и перебирали четки, Василий Петрович крепко взял мальчиков за руки и решительно двинулся вперед. Гиды пошли тоже, не выпуская семейство Бачей из своего кольца. Не обращая на них внимания, Василий Петрович шагал по улицам Пирея с такой уверенностью, как будто это был его родной город. Недаром же он последние дни, вместо того чтобы наслаждаться морскими видами, все время сидел в каюте над планом Пирея и Афин.

Удивленные гиды сделали робкую попытку втолкнуть семейство Бачей в один из больших дряхлых экипажей, следовавших за ними

по пятам, но Павлик так пронзительно закричал на всех гидов: «Пошли вон!», что гиды немного отступили, хотя и не выпустили путешественников из заколдованного круга.

Ни разу не сбившись с дороги, они дошли до вокзала, купили билеты и на глазах у потрясенных гидов, столпившихся на перроне, уехали в Афины, которые оказались совсем рядом. В Афинах так же решительно и молчаливо они отыскивали другой вокзал, откуда незамедлительно и отправились в древний город на дачном поезде с открытыми, летними вагончиками.

Взволнованное войной с гидами, одержанной победой и ожиданием нового нападения, семейство Бачей первое время почти не обращало внимания на окружающее. Но когда по ступенчатым улицам Василий Петрович и мальчики взобрались на гору, усеянную мраморными обломками, и вдруг увидели Акрополь, Парфенон, Пропилеи, маленький храм Бескрылой победы, Эрехтейон — все эти постройки, как бы в беспорядке расставленные на холме и вместе с тем представляющие одно божественное целое, — они ахнули от изумления, от той ни с чем не сравнимой первоначальной красоты, которая потом уже породила тысячи подражаний и пошла гулять по свету, все более и более мельчая и приедаясь.

Как все грандиозные архитектурные сооружения, они сначала показались совсем небольшими и изящными на фоне дикого, пустынного неба такой яркости и синевы, что закружилась голова, как от полета в пропасть.

Это было царство мраморных, желтоватых от времени колонн и ступеней, рядом с которыми фигуры многочисленных туристов казались совсем маленькими.

О, как долго ждал Василий Петрович минуты, когда он собственными глазами увидит афинский Акрополь и прикоснется к его древнему мрамору! Это была мечта его жизни. Сколько раз он втайне предвкушал, как подведет своих детей к Парфенону и расскажет им о золотом веке Перикла и его гении — великом Фидии! Но действительность оказалась настолько грубее, проще и поэтому величественнее, что Василий Петрович ничего не был в состоянии сказать, а долго стоял молча, немного сгорбившись под тяжестью красоты, потрясшей его до слез.

Петя же и Павлик, не теряя времени, побежали по скользкой известняковой щебенке к Парфенону, удивляясь, что он стоит так близко, а бежать до него так далеко. Подса-

живая друг друга и пугая ящериц, они забрались на выветрившиеся ступени и очутились среди дорических колонн, сложенных как бы из колоссальных мраморных жерновов.

Все вокруг слепило глаза полуденным блеском. Но зноя не чувствовалось, так как с Архипелага дул крепкий ветер. Далеко внизу мерцали черепичные крыши Афин, почти сливающиеся с Пиреем, виднелся порт, множество пароходов, лес корабельных мачт над крышами пакгаузов и на ярком рейде, осыпанном серебряным дождем полуденного солнца, — английский броненосец в шапке зловещего дыма.

С другой стороны, еще дальше внизу, за холмами, синел Петалийский залив, а с третьей, совсем далеко, виднелась полоска еще одного залива — Коринфского, густого, как синька, по-южному пламенного и еще более древнего, чем сама Эллада.

Здесь можно было неподвижно простоять до вечера, не испытывая ни усталости, ни скуки, ничего земного, кроме чувства невероятной красоты, созданной человеком.

## XVIII

### НОВАЯ ШЛЯПА

Однако надо было торопиться. Пароход отходил в пять часов, а Василий Петрович еще рассчитывал показать мальчикам афинские музеи. И он их показал. Но, конечно, ни мраморные изваяния богов и героев, ни глиняные черепки за стеклами музейных витрин, ни танагрские статуэтки, ни дивной красоты амфоры и плоские чаши, расписанные по черному фону красными и белыми фигурами, уже ничего не могли прибавить к восторгу, вызванному видом Акрополя.

Очутившись опять в Пирее, в узких портовых улицах, по-восточному живописных, но тоже уже ничего не прибавлявших нового к тому, что на первых порах так поражало в Константинополе, семейство Бачей рискнуло зайти в кофейню выпить по чашке греческого кофе.

Здесь было не так жарко, как на улице, пахло кипящим кофе, анисом, жареной бараниной и еще чем-то пряным, овощным и до такой степени вкусным, что у проголодавшихся мальчиков потекли слюнки. Мысленно прикинув, во сколько драхм все это может обойтись, Василий Петрович решил заказать две порции на троих чего-нибудь по-гречески.

Маленькая усатая гречанка, вся в черном, толстенная и добрая, вытерла кухонным полотенцем мраморный столик и поставила рагу из баранины с греческим соусом.

Только теперь семейство Бачей поняло, что можно сделать из небольшого количества синих баклажан, красных помидоров, зеленого перца, петрушки и настоящего оливкового масла.

Пока они, нацепив на железные вилки кусочки хлеба, начисто вытирали с тарелок остатки янтарного соуса, добрая гречанка с грустной материнской нежностью гладила Павлика по голове смуглой, как бы закопченной рукой с печатным афонским колечком и все время говорила по-русски:

— Кўсай, мальчик, кўсай!

Когда же они насытились, она убрала со стола, снова вытерла мраморную доску и скромно удалилась за прилавок, под икону с горящей лампадкой и пальмовой веткой, а ее место возле столика занял ее супруг, хозяин кофейни, который принес на подносе три маленькие дымящиеся чашечки, три стакана свежей воды, три блюдечка с греческим печеньем «Курабье» и три блюдечка зеленоватого померанцевого варенья с орехами. Кроме того, он на ломаном русском языке предложил Василию Петровичу кальян, от которого Василий Петрович в смятении отказался.

В этой маленькой пирейской кофейне было очень хорошо и как-то по-семейному покойно. На окнах — кружевные домашние занавески, на стенах — бумажные обои, в бамбуковой клетке брызгала водой и заливалась своими однообразными трелями канарейка.

В кофейне были и другие посетители, но они сидели за своими столиками так чинно и незаметно, что нисколько не нарушали семейного характера заведения. Перед каждым из них стояли чашечка кофе и стакан воды, но они редко к ним притрагивались, а молчаливо играли в домино, перебирали четки или читали греческие газеты, так что были похожи скорее на родственников, чем на посетителей. Даже портреты греческого короля и королевы над дверью в кухню не имели официального характера, а их легко можно было принять за увеличенные фотографии дедушки и бабушки в молодости. И было трудно себе представить, что мраморный ковчег Парфенона, сияющий на вершине горы совсем недалеко отсюда, создан руками предков этих самых мирных греков, передвигающих по мрамору столиков черные плитки до-

мино и посасывающих змеевидную трубку булькающего кальяна.

Пока семейство Бачей пило густой кофе с каймаком, хозяин стоял возле столика и занимал их, как иностранцев, приятным разговором на русском языке. Оказалось, что его родная сестра замужем за старшим сыном владельца греческой пекарни в Одессе Феми-стокла Криади и что сам он тоже три года жил в Одессе, когда был маленьким мальчиком, и что его дедушка был членом греческого тайного общества Гетерия и тоже некогда проживал в Одессе, а потом сражался за свободу Греции и был расстрелян турками.

Вероятно, он принимал Василия Петровича за русского революционера, убежавшего за границу, и поэтому все время весьма неодобрительно отзывался о русском правительстве, поносил Николая Кровавого и уверял, что в России скоро будет опять революция и тогда для всех наступит свобода, а царских сатрапов повесят.

Василий Петрович чувствовал себя крайне неловко и несколько раз испуганно озираясь по сторонам, но хозяин каждый раз его успокаивал, уверяя, что все честные греки сочувствуют русской революции и скоро у себя в Греции тоже сделают революцию и тогда уже окончательно разделаются с турками. Говорил он по-русски совершенно так, как грек Дымба из чеховской «Свадьбы» — «которая Россия и которая Греция», — так что мальчики с трудом сдерживали смех, а Павлик даже зажал себе нос, чтобы не фыркнуть. Но отец грозно постукал обручальным кольцом по мраморному столику, и они успокоились.

Пока пили кофе, несколько раз в кофейню заходили уличные торговцы и предлагали иностранцам свои товары.

Один, весь увешанный длинными нитками с нанизанными на них сухими губками, держал в руках банку, где среди водорослей плавали померанцево-красные рыбки, такие яркие, что вся кофейня вдруг странно осветилась и стала похожа на подводное царство.

Другой был увешан твердыми туфельками с загнутыми вверх носками, а в руках держал розовые и голубые газовые шарфы, превратившие на миг бедную греческую кофейню в лавку «Тысячи и одной ночи».

Сириец с коврами еще больше подтвердил это сходство, а когда появился продавец халатов и медной посуды, то уже невозможно было сомневаться, что семейство Бачей находится не в Пирее, а в Багдаде, а хозяин-грек есть не кто иной, как переодетый Гарун аль Рашид.

Однако появление продавца восточных сладостей, разложившего на полу свои пестрые лакированные коробки с халвой, рашат-лукумом и финиками, так испугало мальчиков — в особенности Павлика, почувствовавшего во рту опасную кислоту, — что видения мигом рассеялись.

Как ни твердо решил Василий Петрович ничего не покупать, все же без покупок дело не обошлось. Правда, покупка была совсем не дорогая, но зато крайне нужная. У продавца головных уборов купили для Пети широкополую шляпу из греческой соломы. Хотя она не вполне подходила к матросскому костюму, но больше невозможно было носить теплую матросскую шапку. Голова мальчика все время потела, горячие капли постоянно ползли из-под шапки по вискам, по бровям, по шее. Шапка так пропотевала, что едва успевала высыхать за ночь. Василий Петрович боялся, что в конце концов мальчика хватит тепловой удар.

Пете жаль было расстаться с шапкой, делавшей его похожим на пятнадцатилетнего капитана. Но, посмотрев на себя в засиженное мухами зеркало, он увидел, что стал теперь похож на бура. Во всяком случае, такие же большие шляпы — впрочем, кажется, не соломенные, а войлочные — носили бурские генералы, портреты которых Петя часто рассматривал в старой «Ниве» времен англо-бурской войны. Не хватало только карабина и патронташа.

— Вот теперь ты настоящий молодой бур, — сказал отец, и это решило дело.

Почувствовав себя молодым буром, Петя стал принимать перед зеркалом воинственные позы, и ему захотелось поскорее пройтись по Пирею в новом виде. Как раз в это время из порта донесся длинный пароходный гудок, и наши путешественники сразу узнали густой итальянский баритон «Палермо», к которому уже настолько привыкли, что могли бы его узнать из тысячи других. И, оставив на мраморном столике несколько греческих драхм, они поспешили на пристань.

«Палермо» уже стоял на рейде.

Вдруг Петя вспомнил, что забыл в кофейне старую шапку с письмом за подкладкой, и похолодел. Не говоря ни слова, он бросился назад. Ни отец, ни Павлик сначала этого не заметили. Отсутствие Пети обнаружилось при посадке в баркас. Случилось то, чего больше всего опасался Василий Петрович: потерялся ребенок!

Между тем Петя сломя голову бежал по узким портовым переулкам Пирея, разыски-

вая кофейню. Но переулки были так похожи один на другой и всюду было так много кофейен, что через десять минут Петя понял, что заблудился. Потеряв всякое представление о расположении кварталов и проклиная себя за то, что, увлекшись новой шляпой, он забыл о старой, мальчик вбегал без разбору во все кофейни подряд и всюду видел одно и то же: мраморные столики, портреты греческих короля и королевы, домино, дымящиеся чашечки, булькающие кальяны, бумажные обои, кружевные занавески, маленьких усатых гречанок-хозяек за прилавком, под иконой с пальмовой веткой и зажженной лампадкой, и греков-хозяев, углубленных в чтение греческой газеты.

Петя с жаром объяснял по-русски и почему-то по-французски, что забыл шапку, но его никто не понимал, так как греки плохо понимали по-русски, а Петя еще хуже говорил по-французски. Петя вспомнил Ближние Мельницы, Терентия, Синичкина. Он так ясно увидел Гаврика, вкладывающего письмо за подкладку матросской шапки, сшитой дядей Федей... Теперь он отлично понимал, что дядя Федя умышленно оставил в подкладке прощуху для письма. Петя понял, что ему было поручено очень важное дело. На него так рассчитывали, а он поступил, как легкомысленный, тщеславный мальчишка, вообразивший, что в этой глупой греческой шляпе он похож на бура.

Ему стало так досадно на себя и так стыдно, что он чуть не заплакал.

Чувствуя, как новая соломенная шляпа, ставшая ему уже ненавистной, колотится на резинке за спиной, Петя бежал по переулкам среди разносчиков, осликов, навьюченных корзинами с фруктами, мороженщиков, уличных цырюльников, но никак не мог найти знакомую кофейню. Он забыл обо всем на свете, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг он не услышал третий гудок «Палермо». Он побежал по направлению этого гудка и очутился на пристани, где отец что-то объяснял по самоучителю греческого языка портовому надзирателю в мундире и твердом кепи с галунами.

— Вот он! Наконец! — закричал Василий Петрович, с такой силой потрясая над головой самоучителем, что с его носа свалилось пенсне и закачалось на шнурке. — Негодный мальчишка! Как ты смел? Где ты шлялся?

— Я забыл свою шапку, — задыхаясь, бормотал Петя, — я ее всюду искал... И ее нигде нет... Я не мог найти нашу кофейню...

— Как! — еще громче закричал отец. —

Из-за какой-то отвратительной, мерзкой шапки!..

— Папочка, она не мерзкая! — жалобно бормотал Петя.

— Мерзкая! — загремел отец.

— Ах, папочка, ты ничего не понимаешь! — простонал Петя.

— Я не понимаю? — сказал отец и, выставив нижнюю челюсть с трясущейся бородой, схватил мальчика за плечи.

Он уже начал его трясти, приговаривая: «Я не понимаю? Я не понимаю?» — как в это самое время на пристани появилась усатая гречанка со свертком в руке.

— Мальчик, — сказала она с ласковой грустью, — ты забил у нас свою сапочку. Ай-яй-яй! У нас в Афинах жарко, а ночью на вапоре в Архипелаге тебе будет холодно, твоя головка замерзнет. На твою сапочку.

Петя схватил шапку, завернутую в старый номер афинской газеты на французском языке — «Ле мессажер д'Атен», но даже не успел поблагодарить добрую гречанку, так как отец швырнул его в лодку, которая домчала семейство Бачей к борту парохода в тот самый момент, когда уже начинали убирать штормтрап.

А через час «вапора», как называла на итало-греческий лад русское слово «пароход» добрая гречанка, уже поравнялся с островом Эгина, и Афины потонули за кормой в смешении чудных красок средиземноморского заката.

Но Петя этого не видел. Он сидел в каюте, перекладывая немного помявшееся и пропотевшее письмо из матросской шапки во внутренний карман своего альпийского мешка. На конверте было написано по-французски: «W. Oulianoff. 4. Rue Marie Rose. Paris XIV».

## XIX

### ПУСТЫННЫЙ КРУГ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Долго огибали и наконец обогнули Грецию — мыс Малею, самую южную точку Европы<sup>1</sup>. Последний остров, похожий на краюху сухого хлеба, потонул в лиловой зыби Архипелага. Двое суток не было видно берегов. Солнце всходило и заходило, а пустынный круг Средиземного моря казался одинаково неподвижным, только все время менял тона — от темноголубого на рассвете до

<sup>1</sup> Теперь самой южной точкой Европы считается южная оконечность Испании — мыс Марроки.

яркосинего днем и лилового с медным отливом на закате, но без малейшей примеси зеленого, как в Черном море.

Здесь уже чувствовалась близость Африки, громадного раскаленного материка, и если бы не ветер — правда, тоже горячий, но все же смягченный морем, — то было бы нелегко переносить эту серьезную, почти тропическую жару.

Ветер гнал длинные гладкие волны Ионического моря. Палуба медленно и плавно переваливалась, но не слишком, так что это было даже приятно. Машины работали ровно. Время от времени на баке появлялись закончившие вахту кочегары и обливали друг друга из брандспойта морской водой. Петя уже привык узнавать время по кочегарам. Но, в сущности, было все равно, который теперь час. Время казалось так же неподвижно, как и сам пароход посередине синего круга.

Петя ходил по всему пароходу. Особенно странно было пробираться по грузовой палубе, где везли стадо коров. Петя шел, как по скотному двору, в узком проходе между коровьими хвостами. Коровы лениво переставляли свои раздвоенные копыта, в щели которых продавливалась навозная жижа. Под ногами Петя с удовольствием чувствовал не твердые доски палубы, а упругий слой соломенной подстилки.

Часть палубы была занята штабелями прессованного сена, закрывавшими вид на море. Нагретое африканским солнцем, сено густо источало все свои степные запахи. Петя вытаскивал из плотной кипы сухой, слежавшийся стебель шалфея или репейника, растирал между ладонями, нюхал, и тогда ему казалось, что он не на пароходе в Средиземном море, а где-то в Бессарабии, в Будаках. И это было очень странно и необыкновенно приятно.

Приятно также было пробраться мимо сигнального колокола на самый нос парохода, лечь на горячие доски палубы, осторожно высунуть голову за борт и посмотреть глубоко вниз. Там из клюза выглядывала чудовищная лапа якоря, а еще ниже было видно, как с неуклонным постоянством форштевень парохода одну за другой разбивает волны. Оттуда в лицо летела соленая водяная пыль, обдавало железистым запахом глубоко взрытых волн, а ниже ватерлинии сквозь льющийся сапфир грубо просвечивал сурик пароходного киля. Только здесь полностью ощущалось движение парохода, вся его скорость, вызывавшая приятное головокружение, как на карусели. Петя готов был часами



смотреть вниз на стремительно мелькающую воду и в то же время слушать звуки мандолины, на которой играл, сидя верхом на якорной цепи, сменившийся с вахты молодой итальянский кочегар Пьерипо, с яркобелыми зубами и курчавой шевелюрой, синей, как ежевика. В нежной, глуховатой трели мандолины было уже предчувствие Италии.

И наконец Петя ее увидел. Рано утром на горизонте показался мутный конус. Это была вершина Этны. Скоро она выросла, расширилась, из моря выплыла полоса гористой земли — Сицилия.

По мере приближения к берегу обнаруживался ее мрачный, вулканический характер, так не похожий на ту Италию, которую представлял себе Петя.

Уже был виден простым глазом расположенный на горном склоне город Катания и порт, со всех сторон окруженный наплывами черной окаменевшей лавы, которая опускалась в воду, мрачную от ее отражений.

Неприветливо встретила Италия наших путешественников: дул сирокко, или, как произносят итальянцы, «широкко», очень горячий, сухой африканский ветер. Термометр показывал около сорока пяти градусов жары. По улицам, точно так же, как в Одессе, выложенным плитками лавы или просто вырубленным в ее окаменевших потоках, неслись клубы пыли. Небо было тусклое, желтоватое, со свинцовым отливом. Мулы и лошади с красными чехольчиками на ушах, запряженные в нарядные экипажи, понуро стояли на площади, и ветер загибал в одну сторону струю фонтана и их пыльные хвосты.

Редкие прохожие медленно двигались по улицам, охваченные апатией. Даже гиды, сидящие на краю фонтана, не в силах были подойти к путешественникам и только делали издали вялые знаки и показывали пачки открыток.

В городском саду слышался жестяный шелест пальм со сбитыми на сторону верхушками. Тускло мерцала почти черная листва магнолий; в аллеях валялись ее сломанные ветки с громадными восковыми цветами, уже мертвыми и покрытыми коричневыми пятнами гниения; в пиниях и лаврах билась разорванная вуаль серой паутины, и над всем этим чувствовалось давящее присутствие Этны.

Лучше всего было бы вернуться на пароход. Но, вычитав в путеводителе, что Катания расположена на месте древнего города

Катана, совершенно покрытого лавой, от которого, впрочем, сохранились остатки Форума, театра и других архитектурных сооружений древних римлян, Василий Петрович во что бы то ни стало пожелал показать их детям.

Они долго поднимались против ветра, изнемогая от зноя и обливаясь потом, по улицам, все время трудно идущим в гору, пока наконец не увидели эти достопримечательности. Но мальчики так измучились, что уже не могли ничего ни понять, ни оценить.

В музей не пошли. Им казалось, что они целую вечность бродят по этому зловещему городу и что за это время пароход, наверно, уже разгрузился и погрузился и можно будет плыть дальше.

Но под влиянием сирокко портовые работы шли вдвое медленнее, чем обычно. Лишь недавно окончили выгружать скот, и для того, чтобы попасть на пароход, пришлось пробираться через стадо измученных коров, которые уже не в состоянии были даже мычать, а только смотрели на Петину соломенную шляпу слезящимися глазами, в то время как сирокко круто загибал их хвосты и свистел в рогах.

## XX

### МЕССИНА

Но зато как все чудесно изменилось, когда на следующий день вошли в Мессинский пролив и бросили якорь на рейде против города Мессины!

Здесь уже была живописная Италия общеизвестных акварелей и олеографий. Синее небо, еще более синее море, косые паруса, скалы и берега в апельсиновых и маслиновых рощах.

С рейда город Мессина также выглядит по-сицилийски красиво, заманчиво, однако Пете на миг почудилось что-то тревожное в расположении и количестве домов. Их показалось гораздо меньше, чем могло быть. Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в беспорядочных зарослях.

Даже в самом названии «Мессина» как будто заключалось что-то ужасное. И лишь когда высадились на пристань, Петя увидел, что больше половины города представляет собой развалины.

Тогда он вдруг вспомнил слова, которые три года назад с ужасом повторял весь мир: мессинское землетрясение. Он сам не раз го-

ворил это, но плохо понимал, что это значит. Он уже видел развалины Византии, древней Греции, владений древних римлян, но то были живописные камни, исторические памятники — не больше; они разрушались медленно, в течение тысячелетий. Они поражали воображение, но оставляли душу холодной. Теперь же Петя увидел кучи нового строительного мусора, который еще совсем недавно был кварталами жилых домов.

Разрушение города и гибель десятков тысяч людей произошли в течение нескольких минут и не оставили после себя ни крепостных башен, ни мраморных колоннад, ничего, кроме жалких обломков квартирных перегородок с ключьями мешанских обоев, дранки, битого стекла и скрученных железных кроватей, поросших теперь дерезой и пасленом. Это был первый разрушенный город, который видел Петя. Не какой-нибудь великий, древний, из учебника истории, а самый обыкновенный, даже не очень большой современный итальянский город, населенный самыми обыкновенными итальянцами.

И через очень много лет, когда Петя, будучи уже взрослым, даже пожилым человеком, с ужасом увидел разрушенные города Европы, он все же не мог забыть развалины Мессины.

Всюду виднелась ужасающая итальянская нищета, полускрытая южной растительностью и смягченная яркими красками сицилийского лета. Большинство мессинских жителей до сих пор ютились во временных бараках, палатках, хижинах, сколоченных из остатков домов. Всюду висело на веревках разноцветное тряпье. Козы ходили по заросшим, мусорным холмам. Почти голые дети с блестящими, как антрацит, калабрийскими глазами бегали по разрушенным улицам и копались в развалинах, все еще надеясь найти там что-нибудь ценное.

На месте разрушенных магазинов стояли сарайчики, в которых торговали открытками, лимонадом, углем, маслинами...

Семейство Бачей шло по раскаленным улицам этого полумертвого города, окруженное толпой рыбаков, лодочников и детей. Они хватали путешественников за руки, улыбались и, заглядывая в лицо, сыпали трескучим итальянским речитативом. Это не были ни гиды, ни нищие, и невозможно было понять, чего они добиваются. Они с особенным оживлением трогали Петину фланельку и гладили его матросский воротник, на все лады повторяя: «Маринайо руссо, маринайо руссо!»

Василий Петрович вспомнил: во время

землетрясения на мессинском рейде стояла русская эскадра, и русские моряки проявили много самоотверженного героизма, спасая жителей гибнущего города.

Теперь, увидев Петину фланельку флотского образца и узнав по многим признакам в семействе Бачей русских, жители города выражали русским людям и в особенности маленькому русскому матросу чувства восхищения и признательности.

Они описывали непонятными словами, но понятными жестами страшную картину землетрясения и подвиги русских моряков, бросавшихся в горящие дома и выкапывавших из-под развалин погибших итальянцев.

В толпу ворвалась старая, седая итальянка, в лохмотьях, с большим глиняным кувшином за спиной, и подала семейству Бачей на подносе три стакана свежей воды — аквафреска! — единственное, чем она могла выразить свою благодарность русским. Петино сердце наполнилось чувством гордости, и он пожалел, что не надел матросскую шапку, сшитую дядей Федей, а еще больше пожалел, что на этой шапке не было георгиевской ленты.

— Грации, руссо! — повторяли итальянцы, пожимая руки Василию Петровичу, Пете и Павлику, и это было вполне понятно.

Но еще слышалось и нечто другое:

— Эввива ла риволуционе, эввива ла република русса!

Вероятно, растрепанная борода Василия Петровича, его пенсне в стальной оправе, демократическая косоворотка под чесучовым пиджаком создали в глазах мессинских лодочников и рыбаков фигуру русского революционера, освещенного отдаленным заревом тысяча девятьсот пятого года — немеркнувшей славой Пресни и броненосца «Потемкин».

Вечером «Палермо» поднял якорь и, пройдя Мессинский пролив, вышел в Тирренское море, прямым курсом на Неаполь — конечный пункт своего рейса.

## XXI

### ПЛИННИЙ МЛАДШИЙ

Душная ночь была так черна, что даже огромное звездное небо не могло хоть сколько-нибудь рассеять тьму, среди которой как бы висел пароход. Только светящаяся, снежнобелая пена за кормой, чуть заметное, плавное перемещение палубы под ногами да

шорох бегущих по бортам волн давали представление о том, что пароход плывет по воде, а не летит.

Может быть, потому, что это была последняя ночь на пароходе, Петя долго не мог заснуть, а все прохаживался по своему любимому месту, на спардеке, возле рулевого отделения. Неподвижный, как статуя, матрос стоял, положив руки на рога рулевого колеса. Петя любил следить за его действиями, подстерегая тот непонятный, таинственный миг, когда вдруг без всякой явной причины матрос, перебирая руками, немного поворачивал рулевое колесо.

Оно поворачивалось легко, бесшумно, но тотчас же где-то недалеко внизу, под ногами, начинал работать двигатель, слышались короткие отсечки пара, гремела цепь и вдоль бортов в своих масляных гнездах ползли стальные прутья, немного поворачивая руль. Это означало, что пароход сошел с румба и рулевой выправляет курс.

Было нечто весьма странное в том, что пароход все шел, шел верно по курсу и вдруг начинал отклоняться. Какие таинственные силы природы влияли на его прямое механическое движение? Ветер? Подводные течения? Вращение Земли? Петя не знал этого, но одно лишь сознание, что где-то вокруг все время существуют и действуют эти незримые силы и что с ними можно бороться, внушало Пете уважение к рулевому, а еще большее уважение к компасу, на который время от времени поглядывал рулевой.

Только теперь мальчик вполне понял великое значение компаса, этого волшебного простого прибора, созданного человеческим гением для борьбы с темными силами природы. Возле рулевого колеса на чугунной подставке стоял медный котел, в котором под стеклом, ярко освещенный скрытыми электрическими лампочками, виднелся как бы свободно висящий бумажный круг, надетый на спицу — картушка, — с делениями румбов, градусов и десятых долей градуса. Медная линейка, поставленная штурманом, определяла курс, и стоило пароходу хоть немного от него отклониться, как смещались деления и рулевой тотчас его выправлял.

В данное время медная линейка была поставлена прямо на Неаполь. И хотя вокруг было непроглядно темно, как в угольной яме, пароход уверенно шел вперед самым полным ходом, желая наверстать время, потерянное на стоянках.

Вдруг Петя увидел далеко впереди странный огонь, не похожий ни на маяк, ни на то-

повый огонь встречного корабля. Он был почти красный и какой-то неправильный. Некоторое время он подержался и погас, но минута через две снова зажегся, подержался и снова погас, и так все время через равные промежутки времени медленно гас и медленно зажигался, становясь все крупнее. Это было похоже на то, как берут в рот тлеющую спичку, дышат, и уголек жарко рдеет сквозь зубы.

Теперь уже слегка освещались волны и нижние края темного ночного облака, и казалось, что оттуда пышет жаром.

— Ой, что это? — испуганно воскликнул Петя.

— Стромболи, — сказал знакомый голос старшего помощника, появившегося на спардеке. — Иль фамозо вулкану Стромболи! — повторил он патетически и протянул Пете большой морской бинокль, в черных стеклах которого бегло отразился красный огонь Стромболи.

Петя посмотрел в бинокль на вулкан, уже поравнявшийся с пароходом. Как раз в это время из него, как из самоварной трубы, летел огонь, отчетливо освещая кромку кратера, и Пете даже показалось, что он слышит подводный гул и чувствует вулканический жар, но это было всего лишь плодом его воображения.

Вскоре Стромболи незаметно отошел назад, но долго еще среди крошечной тьмы виднелось его огненное дыхание, угрюмо озаоряя волны и облака.

Буйная радость бушевала в Петинем сердце: он собственными глазами видел огнедышащую гору, самый настоящий вулкан! Далеко не каждый гимназист мог этим похвастаться. Да что там гимназист! Наверно, ни один учитель никогда в жизни так близко не видел настоящего вулкана. Даже учитель географии, даже сам директор. Попечитель учебного округа, может быть, и видел, но инспектор казенных гимназий — вряд ли. Боже мой, что скажет тетя, когда узнает, что Петя видел вулкан! Что запоют знакомые! Тут уж даже Гаврик не посмеет презрительно сморщить нос и сказать, пустив через зубы длинную струю: «Брешешь». Жалко, что нет свидетелей, кроме рулевого и старшего помощника. Впрочем, это даже лучше, что папа и Павлик проспали вулкан. Теперь из всего семейства Бачей на стороне Пети будет полное преимущество.

Петя подождал, пока вулкан окончательно скрылся, и лишь тогда бросился со спардека вниз, предвкушая унижение Павлика и

свой триумф, когда он ворвется в каюту и скажет: «Ага, я только что видел вулкан, а ты проспал!»

Но, увы, триумф не состоялся: все пассажиры уже давно были на палубах, а Павлик, разбуженный своим другом-официантом, стоял на корме, положив подбородок на поручни, и с притворным вниманием выслушивал популярную лекцию Василия Петровича о только что увиденном вулкане.

Тогда Петя отправился в каюту, для того чтобы первым известить тетю о виденном зрелище. Он достал из мешка самую лучшую константинопольскую открытку с изображением галатской башни и написал: «Дорогая тетечка! Вы себе даже не можете вообразить, что со мной произошло! Вы, конечно, не поверите, но только что я собственными глазами видел настоящий действующий вулкан...»

Петя остановился, немного поторговался со своей совестью и решительно прибавил: «Он извергался!...»

Впрочем, Петя уже и сам верил, что вулкан извергался. Когда Петя брался за карандаш, его так распирало от впечатлений, что мальчик готов был заполнить всю открытку вдоль и поперек роскошнейшим описанием извержения вулкана в открытом море. Но едва он написал эти торжественные слова, как тут же его вдохновение иссякло.

В сущности, об извержении вулкана все уже было написано в учебнике географии Плинием Младшим, и Петя не решился соперничать с этим выдающимся римским писателем своего времени, тем более что Плиний Младший описал действительное извержение вулкана, а Петя должен был описать извержение воображаемое.

Поэтому после слов «он извергался» Петя поставил: «Любящий Вас племянник Петя», и спрятал открытку в мешок, рассчитывая при первом удобном случае бросить ее в почтовый ящик.

Таким образом, Петино описание извержения вулкана хотя и сильно уступало Плинию Младшему в достоверности, но зато безусловно превзошло его поистине классическим лаконизмом.

## XXII

### НЕАПОЛЬ И НЕАПОЛИТАНЦЫ

Днем впереди появилось несколько высоких скалистых островков. В серебряном сиянии полуденного солнца, ослепляющем глаза, они казались воздушными силуэтами

разных оттенков голубого цвета: ближние — темнее, дальние — светлее.

Пароход шел самым полным ходом. Освободившись по дороге от всех своих трюмных пассажиров, с начисто вымытыми морской водой и песком грузовыми палубами, жарко сверкающий медью порогов и трапов, свежей краской и спасательных кругов и шлюпок, покрытых крепко зашнурованным брезентом, с весело развевающимся итальянским флагом за кормой, «Палермо» снова приобрел щегольской вид океанского пассажирского парохода.

— Капри, Искья, Прочида, — называл Василий Петрович острова, мимо которых пароход входил в Неаполитанский залив.

— Везувий! — во все горло закричал Павлик.

Действительно, это был Везувий. Его серо-голубой силуэт с двумя пологими вершинами и сернистым дымом над одной из них явственно проступал из солнечного марева. Оно редело на глазах, уничтожалось, открывая город Неаполь и сотни пароходов в порту и на рейде.

А уже на «Палермо» налетела стая чаек, и красивые белые птицы скользили на раскинутых крыльях, хватая на лету остатки зелени, выброшенной из кухонного иллюминатора. По правде сказать, Пете уже порядком надоел пароход. Заключавший в себе сначала столько нового и даже таинственного, теперь, в конце длинного рейса, он уже потерял в глазах Пети почти всякий интерес. Но, сойдя на мощный двор неаполитанской таможни, Петя, как шильонский узник, вдруг пожалел о своей тюрьме.

Мальчик почувствовал, что ему трудно расстаться с надоевшим пароходом, со всеми его прелестными закоулками, с его особыми запахами и даже с очень длинными и очень узкими некрашеными буковыми досками палубы, всегда добела вымытыми с песком, щели между которыми были залиты смолой.

Во время таможенного досмотра Петя все время боялся, что итальянский чиновник найдет в его мешке письмо и тогда произойдет что-то ужасное. Но более чем скромный багаж семейства Бачей не привлек никакого внимания со стороны таможенного начальства. Напрасно Василий Петрович, открыв маленьким ключиком раздутый саквояж, демонстративно отстранился от него, как бы всем своим видом говоря: «Если вы подозреваете, что мы хотим провезти контрабанду, то можете убедиться, господа, что это ложь».

Но итальянский чиновник даже не посмотрел на затейливое произведение одесского шорно-чемоданного искусства, а лишь, проходя, ткнул в него большим пальцем, а шедший за ним агент нарисовал мелом на каждой вещи кружок, после чего семейству Бачей предоставлялось полное право идти со своим багажом на все четыре стороны.

В этом было что-то обидно-пренебрежительное, так как у многих других путешественников — преимущественно у пассажиров первого класса — открывали роскошные чемоданы и дорожные сундуки, оклеенные ярлыками отелей, рылись в дорожных вещах, извлекали какие-то сирийские шали, хрустальные банки турецкого табаку, круглые коробки русской паюсной икры и почтительно требовали пошлину.

Навьюченное альпийскими мешками, семейство Бачей не без труда общими усилиями выволокло на знойную площадь свой непомерно раздутый саквояж и сразу же очутилось в нервно-крикливой толпе комиссионеров.

На них были обшитые галунами фуражки с названиями отелей, которые они представляли. Нечто подобное Петя уже видел на одесском вокзале, когда однажды встречал бабushку. Тогда его крайне рассмешило, как галдящие комиссионеры тащили в разные стороны за руки какого-то господина, прижимающего подбородком свернутый зонтик.

Но одесские комиссионеры, в общем довольно робкие, хотя и суетливые, не шли ни в какое сравнение с неаполитанскими. Неаполитанских комиссионеров было втрое больше, и они были вчетверо беспощадней. Воинственно выкрикивая: «Гранд-отель! Континенталь! Ливорно! Везувио! Отель ди Рома! Отель ди Фиренце! Отель ди Венеция!» — они набросились на Василия Петровича, потрясая над головой пачками богато иллюстрированных проспектов и обещая на всех европейских языках баснословную дешевизну, неслыханный комфорт, апартаменты с видом на Везувий, семейный табльдот, бесплатные завтраки, экскурсию в Помпею...

Василий Петрович делал отчаянные знаки носильщикам, которые сидели на каменных плитах под стеной в своих синих блузах с бляхами на груди и совершенно безучастно смотрели на расправу комиссионеров с беззащитными иностранцами. Василий Петрович сделал попытку прорваться к извозчикам, даже прорвался, но извозчики так же безучастно, как и носильщики, сидели на козлах своих экипажей со счетчиками, курили

длинные вонючие сигары, и ни один из них не пожелал протянуть Василию Петровичу руку помощи.

Напротив, когда Василий Петрович занес уже было ногу на подножку одного из экипажей, извозчик сделал зверское лицо, сорвал со своей головы старую фетровую шляпу и так энергично замахал ею перед носом Василия Петровича, крича «Но, синьор, но!», что Василию Петровичу пришлось отступить.

В этом непонятном равнодушии извозчиков и носильщиков чувствовалось что-то злое. Василий Петрович не знал, что и подумать. Впоследствии выяснилось, что семейство Бачей прибыло в Неаполь как раз в тот день, когда началась забастовка извозчиков, носильщиков и трамвайных служащих в знак протеста против подготовки итальянским правительством войны с Турцией.

Но от этого семейству Бачей не стало легче, так как, повидимому, комиссионеры были согласны на завоевание Италией Триполитании и в этот день не бастовали. Несмотря на все свое неуважение к полиции, Василий Петрович уже готов был обратиться за помощью к двум карабинерам в треугольных шляпах и черных брюках с красными лампасами, похожих друг на друга, как двойники, своими усиками и большими носами полишинелей, но в это время все уладилось само собой.

Маленький, хитрый толстячок-комиссионер, сообразивший, что путь к сердцу отца лежит через любовь к сыну, кряхтя посадил брыкающегося Павлика на одно плечо, на другое взвалил клетчатый саквояж и рысью побежал в переулоч. Василий Петрович и Петя бросились следом за ним и минут через сорок утомительной погони очутились в «Эспланад-отеле». Это название блестело на фуражке предприимчивого толстяка-комиссионера.

Дотащив наконец Павлика и саквояж, толстяк тотчас повесил фуражку на гвоздь над конторкой, превратившись, таким образом, из комиссионера в самого хозяина предприятия. Впрочем, вскоре оказалось, что он в себе совмещает еще четыре лица: официанта, повара, номерного и портье, то-есть весь персонал отеля; кроме горничной и кассирши, чьи обязанности исполняла его супруга.

«Эспланад-отель» помещался между лавочкой старьевщика и харчевней — «тратто-рией» — в таком узком переулочке, что в нем ни в коем случае не могли бы разъехаться два экипажа. Впрочем, это имело чисто тео-

ретическое значение, потому что весь переулок представлял собой не что иное, как лестницу с вытертыми плитами широких каменных ступеней. Между высокими, но очень узкими домами на веревках сушилось разноцветное белье, и, несмотря на то что вокруг бушевали самые яркие краски неаполитанского июня, в переулке было темно, сыро, а в окне trattoria даже светился зеленый газовый рожок.

В «Эспланад-отеле» имелось всего четыре номера, выходящих дверями и окнами в стеклянную галерею внутреннего двора, очень похожего на дворы старой Одессы, с той лишь разницей, что цветущие олеандры и азалии росли здесь прямо из земли, а не стояли в зеленых кадках, а помойка была переполнена не только обрезками цветной зелени, рыбьими внутренностями, но также большим количеством устричных раковин, красной шелухи лангуст и половинками громадных выжатых лимонов.

Увидя обои со следами клопов, две страшные кровати под балдахинами и облупленный железный рукомойник, расписанный видами Неаполитанского залива, Василий Петрович схватил саквояж и уже готов был немедленно бежать из этого вертепа, но силы оставили его. Он сел на пошатнувшийся плетеный стул и, раскрыв самоучитель, стал торговаться. Хозяин требовал десять лир в сутки, Василий Петрович давал одну. В конце концов сошлись на трех, что было всего лишь на одну лиру дороже, чем следовало. Теперь, не теряя драгоценного времени, можно было отправляться осматривать достопримечательности. Но вдруг Василий Петрович почувствовал, что ему трудно встать со стула. Только теперь он понял, как утомило его длительное морское путешествие, показавшееся сначала таким легким и удобным. Он с усилием перебрался со стула на кровать и некоторое время сидел под распятием с красными, сонными глазами, протирая платком стекла пенсне. Видимо, он еще надеялся побороть усталость, но из этого ничего не вышло.

— Знаете что, братцы, — сказал он с виноватой улыбкой: — я с полчаса сосну. Да и вам советую. Снимайте сандалии, заваливайтесь...

Павлик, у которого после насильственного путешествия на плече комиссионера тоже слипались глаза, стал покорно снимать сандалии. Но Пете не терпелось выйти в город. Он хотел поскорее отправить корреспонденцию: письмо, взятое у Гаврика, и открытку

тете с описанием «извержения» вулкана Стромболи.

Сначала отец испугался, но Петя с таким достоинством заметил, что он уже не маленький, с таким глубоко религиозным выражением на лице поклялся и перекрестился на распятие, обещая лишь купить в лавочке марку и сейчас же возвратиться обратно, что отец в конце концов согласился и вручил Пете красивую итальянскую серебряную лиру на почтовые расходы. При виде этого у Павлика пожелтели глаза.

— А я? — быстро сказал он, надевая сандалии.

— А ты будешь спать, — холодно ответил Петя.

— Я не тебя спрашиваю, а я папу спрашиваю.

— Боже упаси! — испуганно воскликнул отец.

— Чего? — скривив на всякий случай рот, спросил Павлик, готовый в любую минуту заплакать.

— Что — чего? — строго сказал отец.

— Чего Петьке можно, а мне нельзя?

— Во-первых, не «чего», а «отчего»; пора бы уже научиться правильно говорить по-русски; а во-вторых, не «Петьке», а «Пете».

— Пожалуйста, — с готовностью согласился Павлик. — Отчего Пете можно, а мне нельзя?

— Оттого, что Петр большой, а ты маленький.

Этот аргумент всегда раздражал Павлика. Сколько он ни рос, как ни старался, но по сравнению с Петей всегда был маленьким.

— Я не виноват, что Петя старше, а я младше, — захныкал Павлик. — Ему все можно, а мне ничего нельзя!

— Да, но ведь я иду в город по делу, мне нужно отправить корреспонденцию, а ты для баловства, — назидательно сказал Петя.

— А может быть, мне тоже надо корреспонденцию?.. Папочка,пусти меня!

— Ни под каким видом! — решительно заявил отец, и это вселило в Павлика некоторую надежду.

Обыкновенно после слов «ни под каким видом» отец, немного подумав, прибавлял: «Впрочем, если ты дашь мне слово, что будешь вести себя прилично...» или что-нибудь в этом роде. Для того чтобы ускорить дело, Павлик с грубым притворством заплакал, укладкой поглядывая на отца. Он хорошо изучил характер своего папы.

— Впрочем... — сказал Василий Петрович, не переносивший детских слез, — если ты дашь мне слово...

— Честное благородное слово! — быстро сказал Павлик — и промахнулся.

Отец нахмурился:

— Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты никогда не клялся! Клятва унижает человека, который клянется. Давая слово, никогда не следует прибавлять: «честное благородное». Само собой понятно, что у каждого порядочного человека слово может быть только честное и только благородное. Совершенно достаточно, чтобы человек дал просто слово.

— Даю просто слово! — торжественно воскликнул Павлик, нетерпеливо застегивая сандалии, и опять промахнулся, потому что поторопился.

— В чем ты даешь слово?

— В том, что буду себя вести прилично.

— Это главное, и чтобы ты ни на шаг не отходил от Пети.

— Не буду.

— Как это — не будешь?

— Не буду отходить ни на шаг от Пети, — поправился Павлик.

— Ну, вот это другое дело.

— И пусть он меня будет слушаться, — вставил Петя, — а то я с ним не пойду, потому что он обязательно потеряется и я же буду за него отвечать.

— Я не потеряюсь, — сказал Павлик.

— Нет, ты потеряешься! Ты всегда теряешься.

— А кто потерялся в последний раз, в Одессе, когда мы чуть не остались из-за тебя на пристани и тетя чуть с ума не сошла?

— Не брешь!

— Я не брешу.

— Дети, перестаньте ссориться!

— Я не ссорюсь, это Петя ссорится.

— В таком случае, вы оба никуда не пойдете.

— Нет, нет, папочка! — торопливо пробормотал Павлик. — Просто даю слово, что буду его слушаться.

— Во всем? — спросил Петя, любивший командовать.

— Во всем, — ответил Павлик.

— Абсолютно во всем?

— Абсолютно во всем, — с легким раздражением сказал Павлик.

— Имей в виду! — торжественно и сурово сказал Петя.

— Ну, уж идите, идите, бога ради, — сонным голосом пробормотал отец, укладываясь на кровать под глупым балдахином. —

И только, ради бога, не потеряйтесь, — прибавил он уже совсем еле слышно.

А когда Петя и Павлик спускались по лестнице, то слышали храп отца.

Разумеется, они потерялись...

Выйдя на улицу, Петя на правах взрослого взял Павлика за руку, чего тот, кстати сказать, терпеть не мог, но принужден был подчиниться, так как твердо усвоил себе любимую поговорку отца: «Давши слово, держись, а не давши — крепись».

Сначала пошли покупать марку. Это оказалось совсем не так просто, как в России, где марки продавались в любой мелочной лавочке. Здесь же хотя мелочных лавочек было и больше, но почтовые марки в них, повидимому, не продавались. Никто из продавцов даже не мог понять, чего Пете нужно, хотя Петя весьма бойко объяснялся по-итальянски, изучив этот язык за табло-дотом на пароходе.

— Прего, синьоре... — говорил Петя развязно, но с испуганным выражением глаз, — прего, синьоре, дайте мне уна... уна... — А что именно «уна», не мог объяснить: он не знал, как называется по-итальянски марка.

Тогда он вынимал из кармана письмо, слюнил палец и очень художественно изображал, как на него наклеивается воображаемая марка. Он даже стучал по углу письма кулаком, давая понять, что на марку кладется почтовый штемпель. «Понимаете, уна марка... Уна марка...» На что продавец с чисто неаполитанской экспрессией театрально разводил руками и раздражался великолепной трескучей скороговоркой, чего Петя, несмотря на свое знание итальянского языка, уже совершенно не мог понять. Так повторилось раз десять, пока, наконец, где-то на третьей или четвертой улице хозяин винной лавочки, увешанной снаружи и внутри гроздьями больших и маленьких фиасок — мандолинообразных бутылок в соломенных плетенках, — не довел их до угла и не показал рукой куда-то вдаль, сказав при этом длиннейшую театральную фразу с единственным более или менее понятным словом «поста централе» — то-есть главный почтамт.

Мальчики отправились по указанному направлению. Время от времени Петя останавливал прохожих и, сурово поглядывая на Павлика, спрашивал по-итальянски:

— Прего, синьоре, дов'э ла поста централье?

Некоторые прохожие понимали, а некоторые не понимали, но и те и другие стара-



лись оказать всяческое содействие двум молодым иностранцам, желающим купить почтовую марку.

Вообще неаполитанцы оказались чуждым народом — горячим, отзывчивым, хотя и несколько суетливым. Правда, они не были похожи на тех неаполитанцев, которых мальчики представляли себе по картинкам: красавцы в коротких штанишках, широких кумачовых кушаках, с красными повязками на курчавых шевелюрах и жгучие красавицы в кружевных мантильях.

Это были люди весьма прозаического вида: мужчины в черных пиджаках и выгоревших шляпах, а женщины в коротких черных жакетках и преимущественно без шляпок. У мужчин была одна общая черта — отсутствие воротничков: спереди из расстегнутой зефировой рубашки торчала лишь запонка; а женщины были украшены кораллами разных видов.

Проявляя к Пете и Павлику самое горячее участие, они бросали свои дела, шумной толпой окружали мальчиков и вели их к главному почтамту. На каждом углу толпа останавливалась, и начиналось бурное обсуждение вопроса, по какой улице следует идти дальше.

Осыпая друг друга скороговоркой, неаполитанцы тащили мальчиков в разные стороны, и если бы они не держались изо всех сил за руки, их бы, конечно, растащили. К толпе присоединялись всё новые и новые люди. Впереди, как перед полковым оркестром, бежали задом, приплясывая и время от времени падая, уличные дети в лохмотьях, смуглые, как чертенята. Сзади плелся старик-шарманщик с длинной вонючей сигарой в желто-белых усах.

Уже шли не по тротуару, а посередине мостовой. Из окон высовывались любопытные и, узнав, в чем дело, оживленно жестикулировали, показывая кратчайший путь к главному почтамту. Уже какая-то добрая синьорина вытирала вспотевшую шею Павлика носовым платочком и нежно называла его «бамбино».

Появились собаки без ошейников, почти такие же страшные, как в Константинополе. И вообще все это уже начинало приобретать характер уличного скандала.

Петя даже немного струхнул. Единственное, что поддерживало в нем мужество, было сознание того, что он старший брат и как таковой несет перед отцом ответственность за судьбу Павлика. Вертясь в толпе, он продолжал разговаривать по-итальянски, для

большей убедительности вставляя французские слова из учебника Марго, а также русские восклицания.

— Си, синьорино, си, синьорино, — успокаивали его неаполитанцы, видя, как он волнуется.

В то же время Петя продолжал с жадным любопытством рассматривать знаменитый город, характер которого менялся каждую минуту. То шли по страшно узким, сумрачным переулкам, где прямо из стен домов торчали железные газовые фонари. То вдруг попадали на ослепительно сияющую белую площадь с каменным фонтаном и старой церковью, из открытых дверей которой слышались медлительные звуки органа.

Один раз на короткое время вдалеке показались невероятно синее море, набережная и ряд очень больших волосатых финиковых пальм. Пересекли шумную торговую улицу, полную движения и блеска. Потом шли мимо глухой монастырской стены, мимо громадной статуи святого, стоящего в каменной нише. Поднимались и опускались по крутым уличным лестницам — мимо узких, высоких домов, где на фасадах некоторые окна с зелеными жалюзи были настоящие, а некоторые для симметрии нарисованы красками, но так живо и ярко, что казались настоящими

## XXIII

### АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

Вышли на какую-то улицу, забитую длинным рядом пустых, неподвижных вагонов электрического трамвая. Бастующие кондукторы и вожатые сурово прохаживались вдоль вагонов со своими лаковыми сумками и медными ключами, переговариваясь с прохожими.

Увидев эту картину, толпа, сопровождавшая Петю и Павлика, в тот же миг потеряла всякий интерес к юным иностранцам. Зрелище трамвайной забастовки целиком захватило неаполитанцев, тем более что как раз в эту минуту в глубине улицы показались первые ряды демонстрации с черными и красными флагами, портретами, лозунгами.

Все бросились к ним навстречу. Мальчики остались одни. Крепко вцепившись в Петину руку, Павлик смотрел на первые ряды надвигающейся демонстрации.

Страшные, бородатые дядьки в широкополых шляпах несли черный флаг с белой итальянской надписью и портреты каких-то

столь же бородатых дядек, среди которых, к немалому своему удивлению, Павлик узнал «нашего, русского» — Льва Толстого.

За бородатыми шли другие дядьки, уже не бородатые, в каскетках; они несли красный флаг и держали на груди портреты еще двух совершенно неизвестных Павлику пожилых людей с большими, окладистыми бородами — Маркса и Энгельса. Шли рабочие, носильщики, кочегары, матросы, приказчики — в пиджаках, куртках, блузах, полосатых тельняшках, фуфайках... Они старались идти медленно, но у них ничего не выходило, и они все время сбивались на быстрый итальянский шаг.

Размахивая шляпами, каскетками и тросточками, они выкрикивали на разные голоса:

— Эввива ссциализмо! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой военные приготовления! К чорту правительство войны! Итальянцы хотят мира!

К демонстрации присоединились прохожие. Многие вели с собой велосипеды. Уличные продавцы катили свои тележки. Сбоку уже плелся знакомый старик с шарманкой — быть может, последний шарманщик Неаполя. И хотя все это, облитое розовым предвечерним светом, имело оживленно-театральный вид, Петя почувствовал сильную тревогу. Он стиснул руку брата. Петина тревога передалась Павлику.

— Петька, — закричал он, — революция идет!

— Не революция, а демонстрация, — сказал Петя.

— Все равно тикаем!

Но вокруг уже шумела толпа, и неизвестно было, как из нее выбраться и куда тикать.

В это время сзади слышались громкие голоса. Говорили по-русски. Несколько человек — и среди них мальчик Петино возраста в куртке — быстро пробирались сквозь толпу поближе к демонстрантам. Мальчик в курточке, лобастый, с капельками пота на утином носу, изо всех сил работал локтями, а худощавый человек в летнем кремовом пиджаке и такой же легкой фуражке, сбитой набок — повидимому, его отец, — с желтыми усами над бритым солдатским подбородком, крепко держал мальчика за плечо оранжевой от загара рукой и глуховатым басом сердито повторял:

— Макс, умерь свою прыть! Макс, умерь свою прыть!

Он вытягивал жилистую, длинную шею,

с острым вниманием всматривался поверх голов вперед и хотя сам требовал, чтобы Макс умерил прыть, но свою собственную прыть, повидимому, тоже никак не мог умерить. Иногда он оборачивался назад и кричал кому-то, делая по-нижегородски ударение на «о»:

— Пробирайтесь-ка, господа, поближе! Весьма рекомендую поближе. Обратите внимание: в прошлом году эти синьоры анархисты-синдикалисты ограничивались тем, что ложились перед вагонами на рельсы, а теперь видите, что делается! Совсем другая опера!

— Да, да! — кричал через толпу господин в пенсне и панаме, мягко грассируя, проглатывая и сливая некоторые буквы. — Это подтверждает мою мысль, что хотя центр революции после девятьсот пятого года переместился в Россию, но консолидация сил европейского пролетариата развивается еще более интенсивно... Пардон, — мимоходом прибавил он, обращаясь к Пете, которого задел рукавом просторного пиджака с выпущенным поверху открытым воротником рубашки апаш.

За ним пробирался еще один русский. На нем была дешевая, дурно сшитая тройка, на круглой, крепкой голове — новая фетровая шляпа, в руке на весу — бамбуковая трость. Он двигался прямо, напирая сильной выпуклой грудью на толпу, ничего не видя вокруг, кроме демонстрантов, которые как бы неудержимо притягивали к себе все его существо. Сжатые брови, скулы, вздрагивающие напряженно, полуоткрытый рот и маленькие злые глаза — все это показалось Пете странно знакомым.

Рука с бамбуковой тростью на весу отстранила Петю, и мальчик совсем близко увидел короткие пальцы с квадратно обрезанными толстыми ногтями, напряженные косточки и между большим и указательным пальцами, на вздутом мускуле — вытатуированный якорь.

Но не успел Петя отдать себе отчет, почему этот маленький мутноглазый якорь кажется ему таким знакомым, не успел он подумать, что это за русские, почему они здесь, кто они такие, как толпа качнулась, шаркнулась в одну сторону, потом в другую, и в противоположном конце улицы перед демонстрантами Петя увидел треуголки и узкие красные лампасы карабинеров. Вдалеке мелькнули черные перья на шляпах берсальеров, бегущих с ружьями наперевес своим форсированным шагом.

Раздался грубый, зловещий звук военной трубы. На один миг стало совсем тихо. Затем где-то послышался звон разбитого стекла, и все вокруг закричало, завывало, засвистело, побежало...

Хлопнуло несколько револьверных выстрелов.

Увлекаемые бегущей толпой, Петя и Павлик держались за руки, делая невероятные усилия, чтобы их не оторвали друг от друга. Пете, забывшему в эти минуты, что он находится не в России, а за границей, все время казалось, что сейчас откуда-то из-за угла выскочат на своих лошадях казаки и начнут направо и налево стегать нагайками. Ему казалось, что они бегут по Малой Арнаутской, и это представление еще более усиливалось оттого, что под ногами лопались рассыпающиеся каштаны.

Павлика сбили с ног. Он упал, ободрал себе голое колено. Но Петя поднял его и потащил дальше. Павлик был так испуган, что даже не плакал, а только все время сопел и повторял:

— Тикаем же, тикаем скорей!

Вместе с частью толпы они очутились в узком дворе с мусорными ящиками и красивыми коваными железными решетками на окнах первого этажа. Двор был замощен каменными плитами, громадными и потертыми. Пробежав под аркой грязных мраморных ворот, где каждый шаг гулко шлепал и гремел, как пушечный выстрел, мальчики очутились на улице против крутого откоса какого-то холма, на террасах которого был разбит маленький скверик.

По этому откосу, выложенному темным от времени плитняком, быстро карабкалось несколько человек — все, что осталось от той части толпы, которая втащила Петю и Павлика в проходной двор. Мальчики тоже стали карабкаться. Но откос был гораздо круче и выше, чем показалось издали. Мраморная львиная морда была вделана в плитняковую стену. Из львиной пасти через железную трубку текла вода в мраморную раковину. Петя поставил Павлика на край раковины и стал его подталкивать снизу. Но Павлику не за что было ухватиться.

— Лезь! Лезь! — кричал Петя. — Вот ко-  
рова!

В это время из ворот выбежало еще несколько человек. Это были те самые русские — мальчик в курточке и трое взрослых, — которых Петя недавно заметил в толпе.

Мальчик в курточке тащил за рукав сво-

его отца, а тот все время норовил остановиться и броситься назад. Его руки были сжаты в кулаки, фуражка совсем съехала на затылок; из-под задранного козырька виднелся ежик желтых волос; усы раздувались и синие глаза гневно сверкали.

— Ты что, непременно хочешь, чтоб тебя там покалечили? — говорил мальчик в курточке, не давая ему вырваться. — Уйми свою прыть!

— Алексей Максимович, вы ведете себя неосмотрительно, это совершенно невозможно! Вы не имеете права рисковать! — повторял господин в пенсне, потирая свое ушибленное плечо.

— Чорт бы меня подрал, если я сейчас не вернусь назад и не дам в морду этому носатому идиоту в красных лампасах! — бормотал глухим басом Алексей Максимович. — Я его научу уважению к женщине! — И он глухо закашлялся.

Но мальчик в курточке крепко держал отца за рукав и не пускал. А человек с якорем на руке, повидимому, тоже готов был броситься назад, в драку, но из-за всех сил сдерживался.

— Лезь, Павлик, лезь! — кричал Петя с отчаянием.

Его крик обратил на себя внимание русских.

— Пешков, смотри, русские ребята! — сказал мальчик в курточке.

— Вы тут каким образом? — строго сказал господин в пенсне.

Человек с якорем на руке быстро, как кошка, взобрался на стену и, протягивая вниз свою бамбуковую трость, по очереди вытаскивал наверх всех русских, в том числе Петю и заплаканного Павлика.

Здесь царила тишина, спокойствие, и было трудно себе представить, что где-то рядом только что солдаты и карабинеры разгоняли толпу, сыпались разбитые стекла, падали люди, стреляли из револьверов...

— Пошумели и перестали, — со злой улыбкой сказал Алексей Максимович, прислушиваясь, и немного погодя прибавил: — Вулканический народ. Вроде своего Везувия. Дымят, а не действуют.

Он с любопытством посмотрел на Петю и Павлика:

— Ну-с, молодые люди, жители империи Российской, а вы по какому случаю здесь?

Почувствовав себя среди своих, русских, в безопасности, Петя и Павлик воспрянули духом. Перебивая друг друга, они рассказали свои приключения, причем Петю все вре-

мя не оставляло чувство, будто бы он уже где-то раньше видел двух из этих русских: Алексея Максимовича и другого — с якорем на руке. Петя, как ни напрягал свою память, все же так и не мог вспомнить, где он раньше видел Алексея Максимовича, зато другого вдруг вспомнил и узнал, хотя в первую минуту не мог этому поверить.

— Ну что ж, юные путешественники, дела ваши еще не столь плачевны, — сказал Алексей Максимович. — Вы оба отделались всего одной легкой контузией. Могло быть и хуже.

С этими словами он сгреб Павлика подмышку и понес к фонтану. Там очень тщательно промыл ссадину, туго и ловко перевязал колено носовым платком, поставил мальчика перед собой на дорожку и велел пройтись.

— Превосходно! Теперь можешь смело возвращаться в строй. Но предварительно омой в бассейне лицо и лапы, чтобы не слишком испугать своего папу. Тебя как звать-то?

— Павлик.

— А брата твоего?

— Петя.

— Отлично... Макс, поди-ка сюда. Покорнейшая к тебе просьба. Проводи этих двух апостолов — Петра и Павла — на почту, помоги им приобрести марку и опусти в ящик корреспонденцию, объясни им, как добраться до отеля, а сам возвращайся сюда поскорее, чтобы мы не опоздали на пароход... Арриведерчи, синьоры апостолы, приятного путешествия! — сказал он, подавая Пете и Павлику большую изящную руку, шафранную от загара.

— Мерси, — сказал благовоспитанный Павлик, неловко шаркнув перевязанной ногой.

— Пойдем, ребята! — засуетился мальчик в курточке. — Почта тут совсем недалеко. Пять минут.

«Вы меня, наверно, не помните, а я вас узнал», — хотел сказать Петя, подходя к человеку с якорем на руке, но что-то его остановило. Он ничего не сказал, а только значительно посмотрел в его лицо. «Может быть, он меня сам узнает», — подумал мальчик с волнением. Но тот его не узнал. Он только обратил внимание на Петину флотскую фланельку, пощупал ее и спросил:

— Где пошил?

— В швальне морского батальона, — ответил Петя.

— И видно. Настоящая флотская!

И Пете показалось, что он невесело усмехнулся.

— Пойдем, ребята, пойдем! — говорил мальчик в курточке. — А то нам еще надо на Капри возвращаться.

Почта оказалась действительно недалеко, но мальчики успели поговорить по дороге.

— Тебя как звать? — спросил Петя.

— Макс.

— «А Макс и Мориц, видя то, на крышу лезут, сняв пальто», — процитировал Петя стишок из весьма известной в то время книги с картинками Вильгельма Буша.

— Остришь? — зловеще нахмурился Макс, которому, видимо, уже осточертело постоянно слышать насмешки над своим именем, и легонько ткнул Петю в бок кулаком.

Конечно, при других обстоятельствах Петя не оставил бы этого дела без внимания, но сейчас он предпочел не «заводиться».

— А твой папа кто? — спросил он, чтобы переменить разговор, принявший дурное направление.

— Ты что, разве не знаешь моего папу? — удивился Макс.

Тут, в свою очередь, удивился и Петя:

— А почему я должен знать твоего папу?

— Ну как же, его почти все знают, — смущенно пробормотал Макс. Он вообще имел обыкновение бормотать и говорить крайне неразборчиво, как будто все время сосал леденец.

— Все-таки кто же он?

— Маляр, — сказал Макс.

— Врешь! — сказал Петя.

— Нет, ей-богу маляр, — сказал Макс, сося несуществующий леденец. — Цеховой малярного цеха. Не веришь? Спроси кого хочешь. Цеховой малярного цеха Пешков.

— Будет врать! Маляры вовсе не такие.

— Маляры разные.

— Если маляр, то что же он тут делает, в Италии?

— Живет.

— А почему не в России?

— Потому что потому — оканчивается на «у».

В интонации, с которой была сказана эта общеизвестная фраза, Пете почему-то слышалось нечто напоминавшее Гаврика, Ближние Мельницы, Терентия, Синичкина — словом, все то, что было для него навсегда связано с понятием «революция» и что вдруг снова неожиданно возникло перед ним здесь, в Неаполе, сегодня, в виде этих остановившихся вагонов трамвая, бушующей толпы, звона стекол, револьверных выстрелов, зло-

вещих, иссиня-черных перьев на шляпах берсальеров, флагов, портретов и наконец в виде человека с якорем на руке, в котором он узнал потемкинского матроса.

Петя хотел расспросить Макса о том, как попал сюда Родион Жуков, узнать, кто такой господин в пенсне и вообще что они здесь все делают, но в это время подошли к почте.

— Давай свою корреспонденцию, — сказал Макс.

— Это еще зачем? — подозрительно спросил Петя.

— Давай, давай! Некогда мне с тобой возиться. Куда посылать?

— Открытку — тете в Одессу, а письмом — в Париж.

— В Париж?

— Ага!

— Тогда мы его отправим экспрессом.

— Как это — экспрессом? Я не понимаю...

— Деревня! — делая сосущие звуки языком, сказал Макс. — Экспрессом — это значит экспрессом. Ну, в общем, курьерским поездом. Прямым сообщением. Папа всегда отправляет в Париж экспрессом. Давай письмо.

Немного поколебавшись, Петя вынул из кармана довольно уже помятый конверт. Макс его схватил, побежал к окошечку и быстро, хотя и шепеляво, залопотал по-итальянски.

— А деньги? — крикнул Петя, но Макс в ответ только несколько раз лягнул ногой: дескать, не мешай.

Через две минуты он вернулся к Пете и протянул квитанцию.

— А деньги? — повторил Петя.

— Чудило, я этих писем каждый день штук пятнадцать отправляю, и у меня — во! — видал, сколько марок? — Он вынул из кармана горсть почтовых марок. — Когда я гощу у папы, я у него всегда отправляю письма. А ты откуда знаешь Владимира Ильича?

— Какого Владимира Ильича? — удивился Петя.

— Ленина.

— Какого Ленина?

— Который живет в Париже, улица Мари Роз. Ульянова. Я прочитал на конверте адрес. Ты ведь ему письмо посылаешь?

— Ну да! — сказал Петя. — Ульянову. Но это не от меня письмо.

— Так тебе папа поручил?

— И не папа. А мне его дал в Одессе

один человек... В общем, поручили одни люди... — Петя невольно покраснел.

Макс понимающе закивал лобастой головой:

— Понятно, очень понятно. Да ты на меня не смотри так подозрительно. Мы сами часто посылаем Ульянову... То-есть отец мой пишет, а уж посылаю я. И тоже всегда экспрессом. А теперь говори, где живешь?

— В гостинице «Эспланад-отель».

Макс наморщил лоб, отчего стал еще больше похож на отца:

— Ну, это, кажется, не так далеко отсюда. Пойдете прямо, дойдете до фонтана, свернете налево, и там через два переулка будет ваш отель. А пока арриведерчи, мне надо бежать.

И, наскоро пожав руку Пете и Павлику, Макс перешел улицу, повернул и скрылся за углом, где в нише стояла раскрашенная статуя мадонны, украшенная цветами и лимонными ветками с маленькими, недозревшими плодами.

## XXIV

### ВЕЗУВИЙ

— Ну, а теперь давай, — сказал Павлик, кряхтя и потирая колено.

— Что?

— Давай! — повторил Павлик и даже протянул руку. — Давай половину лиры.

— Не понимаю, какой?

— Итальянской. Которую папа дал на марку, а ты сэкономил и теперь хочешь зажить.

— Ах, вот что! Ну, это, брат... — И Петя поднес к лицу Павлика кулак с пальцами, сложенными особым, весьма обычным образом.

— Тогда ты мошенник, — сказал Павлик и вдруг довольно жалко захныкал, поглядывая вокруг сухими каштановыми глазами.

— Замолчи! — зашипел Петя. — На нас уже обращают внимание итальянцы.

— И пусть обращают! Пусть все видят, какой ты мошенник! — И Павлик заплакал еще жалче.

Петя испугался.

— Ладно, — сухо сказал он. — Если ты такая свинья, то пожалуйста. Только надо сначала разменять.

— Не надо менять. Давай сюда лиру, я тебе дам сдачи пятьдесят чентезимов. — И Павлик, порывшись за пазухой, нашел на

ощупь и вынул небольшую серебряную монетку.

— Павел, откуда у тебя деньги? — строго спросил Петя голосом Василия Петровича.

— Я их выиграл в Ионическом море у повара! — с оттенком гордости ответил Павлик.

— Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты никогда не смел играть в азартные игры, скверный мальчишка!

— А сам? А кто у папы с вицмундира содрал все пуговицы?

— Так а же тогда был маленький.

— А я теперь маленький, — рассудительно заметил Павлик.

— Но довольно подлый, — ядовито закончил Петя. — Смотри, я все про тебя расскажу отцу!

— И навсегда будешь ябеда! — захлебываясь от восторга, проговорил Павлик.

— Джелато! Джелато! Джелато! — раздался в это время божественный тенор итальянского мороженщика, и мальчики увидели сундук, такой же зеленый, как у мороженщиков в Одессе, но только гораздо длиннее, расписанный видами Неаполя, и не на двух колесах, а на четырех.

Братья переглянулись, и в тот же миг между ними восстановились прочный мир и самая нежная дружба, основанные на страстном желании нарушить категорическое требование отца никогда ничего не покупать на улице и тем более не брать в рот без разрешения старших.

В одно и то же время они прочитали в глазах друг друга жгучий вопрос: но что же делать, если нет под руками взрослых? И вполне резонный ответ на этот вопрос: если нет взрослых, обойдемся без взрослых.

Петя как знаток итальянского языка выступил вперед и уже приготовился произнести фразу, начинающуюся словами: «Прего, синьор, дайте нам...»

Но мороженщик, красавец с красным чулком на кудрявой голове, оказался человеком весьма сообразительным. Он поспешно открыл длинный сундук, и, к своему крайнему изумлению, мальчики увидели в нем вместо двух медных банок с лужеными крышками брус льда. Мороженщик взял маленький стальной рубанок и начал стругать ледяное бревно. Затем он набил два стакана ледяными стружками и полил их из бутылки пронзительно яркой жидкостью вроде купорося.

Мальчики с любопытством съели краси-

вое, но почему-то совсем не сладкое неаполитанское мороженое и почувствовали во рту такой вкус, как будто бы наелись акварельных красок.

Не теряя времени, мороженщик настрого еще два стакана льда и на этот раз полил его чем-то до такой степени розовым, что Павлик сразу вспомнил константинопольский рахат-лукум и уже начал бледнеть. А Петя решительным жестом Василия Петровича отстранил мороженое, сказал на чистом итальянском языке «Баста!», заплатил десять центезимов и, крепко взяв Павлика за руку, потащил его прочь.

Но дурное впечатление, произведенное странным мороженым, сразу рассеялось, едва мальчики очутились перед будочкой, прижатой к старой каменной стене, из которой текла тонкая струйка родниковой воды.

На прилавке находилась корзина, наполненная огромными неаполитанскими лимонами, а также стояли банки с сахарной пудрой и высокие стаканы.

Петя еще и рта не успел открыть, как продавец уже одним махом разрезал пополам два лимона и особой машинкой выжал их в два стакана. Положив в стаканы сахарной пудры, он ловко подставил их под струйку воды, и они наполнились до краев чем-то восхитительно перламутровым, с легкой сероватой пеной, а стекло запотело, и мальчики почувствовали настоящее блаженство, когда прикоснулись пересохшими губами к этому удивительному напитку.

Уже наступал вечер. Над белой площадью с фонтаном висело круглое темнорозовое вечернее облако, такое громадное, что люди, дома и даже церковные башни под ним казались совсем маленькими.

В этом было что-то пугающе прекрасное. Мальчики побежали домой по направлению, указанному Максом. Но город, фантастически освещенный облаком, сделался каким-то еще более чужим и непонятным. Нельзя было узнать ни одной улицы.

Быстро смеркалось, хотя облако все еще продолжало светиться на полиловевшем небе. Куда бы мальчики ни поворачивали, оно всюду следовало за ними, выглядывая из-за высоких крыш своими круглыми малиновыми краями. Узкие улицы быстро наполнялись толпами людей, вышедших погулять, как это всегда бывает по вечерам в южных городах. Слышалось жаркое шарканье башмаков по каменным тротуарам. Дневная жара сменилась другой жарой — вечерней, не такой сухой, но зато еще более душевной.

Из открытых дверей кофеен и баров уже ложились на улицу полосы знойного света. С балконов слышались звуки мандолин. Усилились запахи кипящего кофе, газа, анисовой водки, устриц, жареной рыбы, лимонов... В руках у женщин трещали веера. Еще громче и музыкальнее пели голоса мороженщиц и газетчиков.

В подворотнях таинственно появились продавцы кораллов. Что-то в высшей степени опасное, порочное показалось Пете в их котелках, надвинутых на мрачные глаза, в их сладостных улыбках под нафабранными усами, в их бархатных жилетах, визитках, в их смуглых пальцах, унизанных перстнями, и в плоских широких ящиках на широком ремне, которые они держали перед собой, издали и молчаливо показывая проходящим дамам свои сокровища: кровавые кораллы, как вырванные с корнем зубы; и другие кораллы — мелкие, нанизанные на нитку; и бледнорозовые, почти белые, крупные и гладкие, как бобы; и вставленные в золото помпейские камни; и каменные цветки полупрозрачных гемм. Разложенные на черном бархате и подробно освещенные гробовым светом газового фонаря, все эти вещицы производили на Петю странное впечатление маленьких мертвых животных с какой-то другой планеты.

Павлика же больше всего пугали недобрые глаза продавцов, и он, положив руку за пазуху, крепко сжимал в плотном кулаке мелкие итальянские деньги.

Один переулочек показался знакомым. Мальчики свернули в него и побежали в гору по каменным плитам. Внезапно дома кончились, и они увидели Везувий. Очевидно, они подошли к нему с какой-то другой стороны, так как он был совсем не такой, как всегда, а одноглавый, громадный. Он был страшно близок. Освещенный последними красками умирающего заката, покрытый чудовищной шапкой сернистого дыма, насквозь пронизанного жаром раскаленного железа, Везувий, казалось, сию минуту начнет извергаться, и мальчикам даже послышался подземный гул.

Им стало так страшно, что они сломя голову бросились назад и сейчас же наткнулись на отца, который вот уже почти три часа, без шляпы и в расстегнутом пиджаке, бегал по Неаполю, разыскивая потерявшихся детей.

Он так обрадовался, увидев Петю и Павлика, что на этот раз дело обошлось даже

без упреков. И дети и отец настолько устали от переживаний, что лишь только добрались до своего номера, как тотчас, даже не умывшись, завалились спать и, надо признаться, выспались на славу, несмотря на страшную духоту, писк москитов и доносившиеся с улицы почти всю ночь шум толпы и музыку.

## XXV

### УГОЛЕК В ГЛАЗУ

А на другой день с утра для них началась та ни с чем не сравнимая суетливая, утомительная и в то же время восхитительная жизнь, которая подхватила их, потащила по городам, гостиницам и кончилась лишь полтора месяца спустя, когда они, окончательно измученные, наконец переехали границу и снова очутились в России.

Хотя они путешествовали по строго продуманному плану, но все же потом, когда Петя вспоминал об этом путешествии, оно представлялось ему скоплением не связанных между собой дорожных впечатлений, мельканием красивых видов, дворцов, фонтанов, площадей и, конечно, музеев.

У семейства Бачей было слишком мало денег, для того чтобы они могли позволить себе роскошь где-нибудь по дороге задержаться хотя бы на лишний день, отдохнуть, осмотреться, привести в порядок свои мысли и чувства.

Например, в Неаполе они пробыли всего трое суток и за это время умудрились съездить на маленьком пароходике на остров Капри, побывать там в знаменитом голубом гроте, на обратном пути прогуляться по Сорренто и Каstellамаре, на другой день посетить раскопки Помпеи, подняться почти к самому кратеру Везувия; затем осмотреть почти все неаполитанские музеи, картинные галереи, церкви и наконец знаменитый аквариум, где за стеклянными витринами в средиземноморской воде, освещенной сверху, как на сцене странного театра, мальчики видели волшебные картины из жизни подводного царства: среди белых коралловых деревьев и полипов, похожих на голубые и красные хризантемы, по крупным красивым раковинам ходили громадные лангусты и вверх и вниз плавали рыбы, как межпланетные дирижабли, прилетевшие с Земли на Марс.

Когда уезжали из Неаполя в Рим и уже сидели в душном вагоне, ожидая третьего



звонка, Василий Петрович посмотрел в окно и вдруг неуверенно сказал:

— Как хотите, а это Максим Горький... — Он поправил пенсне, высунулся в окно и стал всматриваться. — Максим Горький! — уже уверенно воскликнул он.

Петя торопливо просунул голову под руку отца. По перрону мимо поезда шла с портпледами и баулами довольно большая группа людей, громко разговаривающих порусски. Среди них Пете сразу бросилась в глаза высокая, немного сутулая фигура того самого человека, который недавно перевязывал Павлика во время уличных беспорядков.

Теперь Петя вдруг понял, почему этот человек тогда показался ему страшно знакомым: он неоднократно видел его портреты в журналах и на открытках. Это и был знаменитый Максим Горький. Петя также увидел матроса с маленьким дешевым чемоданчиком на широком плече.

Прошла дама в трауре с девочкой лет тринадцати — повидимому, дочерью. Мелькнуло личико с серьезными глазами и горестно сжатым ртом, темнокаштановая коса, переброшенная через худенькое плечо, черныи бант...

В это время поезд тронулся. Люди на перроне покатались назад. Петя снова увидел Максима Горького, матроса, даму с девочкой. Они все стояли напротив, возле другого поезда с открытыми дверцами. Повидимому, одна часть из них уезжала, другая — были провожающие.

— Максим Горький! Максим Горький! — закричал Петя, размахивая шляпой.

Девочка обернулась и посмотрела на Петю. Их глаза встретились. В ту же минуту сверху махнула волна вонючего паровозного дыма. Петя зажмурился, но крошечный кусочек каменного угля успел влететь ему в глаз, под верхнее веко.

И для мальчика началось мученье, отравившее всю радость дороги от Неаполя до Рима.

Гвоздь в сапоге или уголек в глазу! Кто хотя бы раз в жизни не испытал этой маленькой неприятности — сначала такой невинной, но постепенно доводящей до иступления!

Это была настоящая пытка. Сначала Петя чувствовал лишь досадное неудобство от присутствия в глазу инородного тела. Глаз слезился, и Пете казалось, что вот-вот слеза вымоет из-под века уголек и тогда наступит блаженное успокоение. Но слезы текли, а

уголек не вымывался. Он глубоко засел и при малейшем движении века перекатывался, натирая глазное яблоко.

Полуослепший от слез, испытывая жгучую боль, Петя метался по раскаленному вагону и не знал, что делать. Сослепу он натикался на скамьи, на чьи-то ноги. Он ушиб колено, но даже эта новая боль не могла заглушить старую.

Отец требовал, чтобы он сидел смирно и ни в коем случае не тер глаз — тогда уголек выйдет сам собой. Но уголек не выходил. Петя снова начинал из всех сил тереть глаз кулаком. Боль делалась невыносимой. Петя стонал, вскрикивал, бил в отчаянии каблукми об пол. Отец дрожащими руками пытался вывернуть Петино веко и кончиком платка достать уголек. Петя вырывался из рук отца. Он то и дело бегал в уборную и, налив в пригоршню теплой воды из умывальника, опускал в нее воспаленный глаз. Ничто не помогало. Это было еще хуже, чем зубная боль.

В те редкие минуты, когда боль немного ослабевала, Петя видел в режущем блеске итальянского полудня плывущие в окнах вагона сухие холмы, белую пыль над шоссе, шлабгаумы и маленькие домики путевых сторожей с заборчиками из старых шпал, с подсолнечниками, мальвами и грязными гоголевскими свиньями. Если бы не рошцы красивых итальянских сосен с развиллистыми оранжево-розовыми ветвями и почти черной хвоей, то можно было подумать, что поезд приближается не к Риму, а к Миргороду.

Это все текло в глазах и мелькало, и лишь одно впечатление, одна картина все время оставалась неподвижной: перрон неаполитанского вокзала, толпа провожающих, дама в трауре и девочка с черным бантом в каштановой косе. Она все время вопросительно и строго смотрела на Петю и была неподвижна и неустраима, как уголек, влелевший в Петин глаз.

Но все на свете кончается. Кончились и Петины мучения. В углу вагона сидела старая итальянка с коралловым крестиком на сморщенной шее. Она везла корзину, из которой выглядывали головы уток, и всю дорогу усердно читала молитвенник. Но она отлично видела все, что делается в вагоне. В то время, когда Петя в десятый раз, топая ногами, пробегал мимо нее в уборную, для того чтобы прополоскать глаз, она вдруг поймала его сильными, жилистыми руками, посадила рядом с собой на скамью, схватила за голову и приблизила к нему вплотную

сидел кардинал. Петя успел рассмотреть сильные щеки, толстые брови и черные высокомерно-злые глаза, подведенные, как у актера.

Кардинал посмотрел на семейство Бачей, на старика-веттурино, успевшего сорвать с плешивой головы шляпу и набожно сложить ладони. Неизвестно, что подумал князь церкви, но он светски улыбнулся, выпростал тонкую руку, перевитую четками, из кружевных манжет и, не складывая пальцев, одним неуловимым движением ладони перекрестил путешественников слева направо. Нарядно мелькнула пурпурная мантия, и коляска исчезла, как видение, оставив в воздухе тонкий запах костела...

А через две недели, исколесив всю Италию, наши путешественники, пунктуально выполняя план Василия Петровича, уже очутились в Швейцарии.

Здесь, прежде чем начать ездить, было решено немного передохнуть и собраться с силами.

Откровенно говоря, все время ездить, пересаживаться с поезда на поезд ужасно надоело, но остановиться было уже нельзя: еще в Милане, соблазнившись дешевой, приобрели в бюро путешествий специальные билеты, дающие право проезда по всем без исключения железным дорогам Швейцарии в течение шестидесяти дней.

Шестидесять дней для семейства Бачей было даже слишком много: через полтора месяца кончались каникулы. Но на меньший срок билеты не продавались. Зато выгадали на Павлике. Выдали его за семилетнего и на троих приобрели всего два «взрослых» билета третьего класса.

Конечно, это было хотя и небольшое, но все же мошенничество, и Василий Петрович, прежде чем на него решиться, долго подергивал шей и смущенно протирал платком пенсне. Но, так или иначе, билеты были куплены; они вступили в законную силу, и теперь началось странное, тревожное время, когда казалось, что каждый день, проведенный не в поезде, приносит семейству Бачей громадные убытки.

Все же необходимо было хоть немного передохнуть.

## XXVII

### НА БЕРЕГУ ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА

И вот они сидели в плетеных креслах на открытой террасе маленького, недорогого пансиона в Уши, на берегу Женевского озера,

которое по-французски называлось Лак Леман.

Позади, ярусами, один над другим поднимались и полого уходили в чистое небо отели, парки и колокольни Лозанны. Впереди, сквозь скромную зелень садов и виноградников, просвечивала полоса небесно-голубого озера с крылатыми парусами и чайками. А на том берегу в легчайшем солнечном тумане открывалась панорама Савойи — ее бархатные луга, ущелья, долины с маленькими живописными деревушками — и наконец дикая горная цепь, охватившая весь горизонт.

Где-то здесь полагалось быть Монблану, но напрасно Василий Петрович старался его увидеть в маленький театральный бинокль: горная цепь была завалена хмурыми тучами и перламутровыми облаками. И это было тем более досадно, что комната сдавалась «с видом на Монблан».

Пожелав нашим путешественникам «бон матэн», пожилая горничная поставила на стол поднос с «комплэ дю тэ», состоящим из чайного прибора, соломенной корзиночки с крошечными хрустящими хлебцами — «розе», тарелки сливочного масла, приготовленного в виде легких желтых стружек, и двух розеток с медом и малиновым джемом; стояла также и сахарница с крошечными кубиками прессованного сахара, такого хрупкого, что его приходилось брать щипчиками крайне осторожно, так как он имел свойство от малейшего нажима рассыпаться в порошок.

Надев пенсне, Василий Петрович долго рассматривал странный желтоватый сахар, затем взял кусочек, понюхал его и попробовал на вкус, после чего объявил, что это не простой сахар, а тростниковый.

Тростниковый сахар! Это открытие привело мальчиков в восхищение. Особенно взволновался Петя, живо себе представивший, как изумится тетя и как будут завидовать все знакомые, когда узнают, что Петя собственными глазами видел тростниковый сахар и пил с ним чай на террасе «с видом на Монблан». Мальчик даже сделал попытку немедленно начать писать письмо тете. Он уже вынул из сумки письменные принадлежности, но швейцарское утро было так чудно спокойно, такая тишина стояла вокруг, так неподвижно висели осы над розетками с медом, что Петя, вместо того чтобы писать, вдруг всем своим существом погрузился в оцепенение.

Только теперь он почувствовал, как

страшно устал от впечатлений и как ему необходим отдых.

Перед ним все еще продолжали в беспорядке носиться картины Италии. То он видел в пронзительно синем небе капитель колонны святого Марка со львом, положившим лапу на каменное евангелие, и это была Венеция. Голубые двухэтажные трамваи обходили красивую площадь вокруг бело-мраморного кружевного собора со всеми его двумя тысячами готических статуй — и это был Милан. Проезжали в облаках сухой, белой пыли мимо мраморных разработок Каррары, мимо косых штабелей громадных мраморных досок, кубов, плит, глыб, только что выпиленных из карьера и приготовленных к отправке. Неподвижно падала изящная многоярусная Пизанская башня.

Долго стояли на каком-то глухом разъезде среди знойной живописной равнины и видели на горизонте мутно-сиреневую горную цепь, откуда чуть заметно потягивало альпийским холодком. А затем знаменитый Симплонский туннель — двадцать два километра железнодорожного пути, проложенного в толще горного массива, — внезапная пороховая тьма, тухлый запах каменного угля, оглушающий железный гул и черные зеркала плотно запертых вагонных окон, в которых так зловеще-похоронно вдруг отразились зажженные в поезде дрожащие электрические лампочки слабого накала.

И после бесконечного получаса этого тягостного, неподвижно-стремительного движения, когда, казалось, уже не хватает воздуха и никогда не будет конца могильной тьме, со всех сторон сжавшей поезд с двумя выбивающимися из сил локомотивами, — вдруг ослепляющий блеск дневного света, стук падающих оконных рам, радостный свежий ветер, ворвавшийся из долины Роны и будто пролетевший по вагонам, выдувая вон тухлый запах туннеля. Горы. Ледники. Долины. Деревянные домики — шале — с жерновыми сыра на крышах. Стада красных и черных швейцарских коров и мелодичный... не звон, а деревянный перестук их плоских колокольчиков в солнечной тишине станции с белым крестиком на красном швейцарском флаге и санбернарская собака огромного плаката «Шоколад Сюшар».

И вот Петя уже в новой стране — хорошенькой, игрушечной...

С нижней террасы доносились голоса спешащих людей. Говорили по-русски. Звуки родной речи сразу привлекли внимание мальчика, он стал прислушиваться.

— Вы не должны игнорировать принципиальное положение, единогласно утвержденное январским пленумом ЦК, — громко говорил, почти кричал женский голос, отчеканивая слова «игнорировать» и «пленум».

— Я не игнорирую, но... — мягко отвечал мужской голос со скрыто ироническими баритональными интонациями.

— Нет, сударь, вы именно игнорируете или, во всяком случае, делаете вид, что не игнорируете.

— Это бездоказательно!

— Январский пленум совершенно ясно определил характер действительно социал-демократической работы, — быстро вмешался другой мужской голос, глухой, сердитый, прерываемый короткими покашливаниями и сплевываниями застарелого курильщика.

— Нуте-ка, нуте-ка, — произнес иронический баритон, и Петя ясно представил себе, как это «нуте-ка» выталкивается из красивого, мясистого носа.

— Отрицание нелегальной социал-демократической партии, — еще громче закричал женский голос, — принижение ее роли и значения, попытки укоротить программные и тактические задачи и лозунги революционной социал-демократии представляют собой проявление буржуазного влияния на пролетариат...

Услышав слова «революционная социал-демократия» и «пролетариат», которые так громко раздавались внизу на весь сад, Василий Петрович даже вздрогнул и с опаской посмотрел на детей.

— А те, кто этого не признает, обманывают рабочих, распространяя либерально-буржуазные идеи о якобы конституционном характере назревающего кризиса, — сказал кашляющий голос застарелого курильщика, и Петя увидел, как внизу сквозь плющ стремительно вылетел окурочок папиросы, упал на гравий возле клумбы белых лилий и стал сердито дымиться.

— Ого! Не слишком ли сильно сказано?

— Подобные господа, — не унимался женский голос, — выбрасывают вон такие исконные лозунги революционного марксизма, как признание гегемонии рабочего класса в борьбе за социализм и за демократическую революцию!

— Это я-то?

— Именно вы-то и господа, вам подобные...

— Бог знает что! — испуганно пробормотал Василий Петрович, и нос его побелел от

волнения. — Дети, сию же минуту уходите с террасы!

Но Петя, охваченный любопытством, уже лез животом на перила, свесил вниз голову и старался рассмотреть, что делается на нижней террасе.

Сквозь косую зеленую решетку, увитую плющом, мальчику удалось увидеть стол с кувшином молока и нескольких человек, сидящих в плетеных креслах: сердитую даму в черной жакетке, похожую на учительницу, чахоточного юношу в сатиновой косоворотке под старым пиджаком и красивого господина в чесучовой тужурке и с блестящим стальным пенсне на мясистом римском носу, из которого как раз в эту самую минуту выталикивалось ироническое «нуте-с, нуте-с...»

— Проповедуя так называемую легальную, или открытую, рабочую партию, вы и вам подобные суть не кто иные, как строители столыпинской «рабочей» партии и проводники буржуазного влияния на пролетариат! — кричала дама в жакете, стуча костяшками кулака по столу с такой силой, что кувшин с молоком подпрыгивал и каждую минуту готов был упасть.

— Вот именно, самого настоящего буржуазного влияния... — задыхаясь от приступов кашля и отплевываясь, быстро и глухо говорил чахоточный юноша, зажигая дрожащими руками спичку. — А ваша «открытая» рабочая партия при Столыпине означает не что другое, как открытое ренегатство людей, отрекающихся от задачи революционной борьбы масс с царским самодержавием, Третьей думой и всей столыпинщиной!

Этого Василий Петрович выдержать уже никак не мог. Он схватил Петю за плечи и потащил в комнату:

— Ты не смеешь слушать подобные вещи! Сиди в комнате... Павлик, сию же минуту марш с балкона! Ах, господи, что за наказание! Всюду политика...

Водворив мальчиков в комнату, Василий Петрович вышел на террасу и крикнул вниз дрожащим голосом:

— Попрошу вас выбирать выражения! И, во всяком случае, говорить не так громко. Не забудьте, что наверху дети.

Внизу наступила тишина, а затем носовой голос сказал:

— Товарищи, нас подслушивают.

После чего со скрипом задвигалась плетеная мебель и женский голос произнес:

— А вы говорите — открытая партия, когда даже в свободной Швейцарии нас преследуют шпионы царского правительства!

— Послушайте! — грозно крикнул Василий Петрович побагровев.

Но внизу демонстративно захлопнулась стеклянная дверь, и, смущенно пробормотав «чорт знает что такое», Василий Петрович покинул террасу, так же демонстративно хлопнув стеклянной дверью.

— Папа, это тоже русские? — шопотом спросил Павлик. — Они анархисты, да?

— Дурак, они социал-демократы! — сказал Петя.

— Тебя не спрашивают!.. Папа, а как они сюда попали?

— Перестань задавать глупейшие вопросы! — раздраженно заметил отец. — И вообще не суйся не в свое дело, — прибавил он, строго взглянув на Петю.

— Да, но все-таки, — не унимался Павлик, — они такие же самые русские, как и мы, или как?

— Да, они такие же русские, как и мы, но только эмигранты. И кончим об этом, — сухо сказал отец.

— А что такое эмигранты? Это люди, которые против царя?

— Хватит! — рявкнул отец решительно.

На этом политический разговор и закончился. Больше русских эмигрантов, живших под ними, семейство Бачей не видело. Вероятно, они уехали из пансиона в какое-нибудь другое место.

## XXVIII

### ЭМИГРАНТЫ И ТУРИСТЫ

Это небольшое происшествие произвело на Петю сильное впечатление. Он снова, незаметно для себя, стал размышлять о том не совсем понятном ему явлении, которое называлось «русская революция». Он думал о России и о русских людях.

До сих пор все они, независимо от того, были ли они богатые или бедные, были ли они мужики или рабочие, чиновники или купцы, офицеры или солдаты, представлялись ему вообще русскими, верноподданными государя императора. И это представление было для него так же естественно и так же не требовало доказательств, как то, что, например, Черное море состоит из большого количества соленой воды, а небо — из массы синего воздуха.

Но за границей, где, к Петиному удивлению, встречалось много русских, его привычное представление поколебалось.

Он заметил, что все русские за границей делились на две категории. Одну составляли туристы, другую — эмигранты. Туристы были богатые люди, и семейство Бачей с ними нигде не соприкасалось, потому что на пароходах и поездах туристы ездили в первом классе, останавливались в безумно дорогих отелях, обедали на террасах самых изысканных ресторанов, пользовались для своих прогулок экипажами, великолепнейшими верховыми лошадьми и даже автомобилями, еще более прекрасными, чем автомобиль братьев Пташниковых, который до сих пор казался Пете чудом, верхом богатства и роскоши.

Где бы ни появлялись русские туристы, их всюду, в глазах Пети, окружала атмосфера богатства и роскоши. Они появлялись целыми семействами, с нарядными детьми — мальчиками и девочками — в сопровождении гувернанток, компаньонов, комиссионеров и гидов самого первого сорта, солидных и внушительных, как министры.

Это были выхоленные мужчины и брезгливые дамы, молоденькие барышни и кавалеры, надменные старухи и элегантные старики, от которых пахло странными мужскими духами и сигарами.

Иногда — в прохладной полутьме картинной галереи или среди раскаленных развалин какого-нибудь античного театра — семейство Бачей оказывалось в непосредственной близости к этим людям, но даже и здесь их окружала невидимая стена, исключавшая всякую возможность сближения. В их присутствии Петя испытывал унижительное чувство неловкости за свою, если не бедность, то, во всяком случае, какую-то «недостаточность».

Втайне ему становилось стыдно за костюм отца, за его штiblеты с загнутыми вверх носами, за его дешевую соломенную шляпу, за его воротничок и манжеты из «композиции», которые отец каждый вечер старательно чистил резинкой и купал в мыльной пене. Петя презирал себя за это чувство стыда, но ничего не мог с собой поделать. Это было тем более унижительно, что он ясно понимал: отцу втайне тоже стыдно. В присутствии туристов у отца делалось напряженно-независимое лицо, подергивалась борода, и вместе с тем кисти рук непривольно поджимались, задвигая в рукава вылезающие наружу манжеты.

Но самое оскорбительное было то, что богатые русские как бы вовсе не замечали присутствующего рядом семейства Бачей. Они только переставали говорить по-русски

и как-то легко, свободно и незаметно переходили на какой-нибудь другой язык — французский, английский, итальянский, — на котором продолжали разговаривать так же естественно, как и на русском.

Те картины великих художников, перед которыми Василий Петрович стоял с опущенной головой и слезами на глазах, они рассматривали с разных точек в кулаки и лорнеты, с достоинством восхищаясь и делая тонкие замечания.

Они смотрели на развалины античного театра с таким видом, как будто бы ожидали, что сейчас выйдет греческий хор и древние артисты на котурнах и в масках специально для них сыграют забавную трагедию.

Казалось, что всё находящееся вокруг принадлежит им по какому-то древнему праву, не подлежащему никакому сомнению. И Петя чувствовал, что они действительно являются полновластными хозяевами всего. Мир принадлежал им или, во всяком случае, им подобным, а уж Россия — наверное.

Тем более странной казалась Пете другая часть русских за границей — эмигранты. Они были полной противоположностью туристам.

Это были бедные, дурно одетые интеллигентные люди. Они ездили в третьем классе, ходили пешком, жили в маленьких, самых дешевых пансионах. Поэтому семейство Бачей с ними часто сталкивалось, и Петя скоро составил о них довольно точное представление.

Это были мужчины и женщины вроде тех, с которыми столкнулось семейство Бачей в пансионе в Уши. Эмигранты занимались политикой. Много раз Петя слышал, как они громко произносили разные «политические слова», которые всегда приводили Василия Петровича в смятение.

Они вечно спорили между собой, совершенно не обращая внимания на окружающее, и в самых неподходящих местах: на вокзале перед отходом поезда; в горах возле водопада, осыпавшего водяной пылью дрожащие ветки папоротника; за табльдотом; в музее, рассматривая распиленные пополам полые булыжники, внутри которых сверкали лиловые кристаллы аметиста.

Эмигранты, по мнению Пети, были одержимы каким-то общим делом. Петя понимал, что дело это политическое, но в чем оно заключается, мог только смутно догадываться. Петя знал, что они «борются с самодержавием». И если они переезжают с места

на место, то не потому, что путешествуют, а потому, что их постоянно куда-то гонит «общее дело».

Однажды в Женеве семейство Бачей столкнулось с довольно большой группой эмигрантов. Это было на островке возле памятника Руссо. Вокруг плавали черные лебеди, и бронзовый Руссо, старик с истощенным, страстным лицом, сидя в кресле, безучастно наблюдал, как эти горделивые птицы вдруг опускали в воду свои извилисто изогнутые, змеиные шеи и хищно хватали кусочки белого хлеба, брошенного им с хорошеньких, разноцветных лодочек. Пока Василий Петрович, сняв шляпу, стоял возле памятника великому Жан-Жаку, философу и писателю, перед которым привык преклоняться еще со студенческих лет, Петя услышал громкие голоса эмигрантов. Они сидели на скамейках в тени плакучих ив и, по обыкновению, спорили. Вдруг Петя услышал знакомую фамилию — Ульянов.

— Разве Ульянов-Ленин сейчас не в Париже?

— Под Парижем. В местечке Лонжюмо.

— Стало быть, это верно, что партийная школа Лонжюмо существует?

— Не только существует, но Ленин вызывает туда партийных работников и читает им курс лекций по политической экономии, по аграрному вопросу, по теории и практике социализма.

— Какую же позицию он занимает по отношению к Каприйской школе?

— Разумеется, непримиримую.

— После его резолюции о положении дел в партии на собрании второй парижской группы содействия РСДРП можно не сомневаться, что ни на какие компромиссы он никогда не пойдет.

— Я не читал резолюции.

— На днях она будет опубликована отдельным листком.

— А Георгий Валентинович?

— Что ж Георгий Валентинович... Плеханов есть Плеханов.

— Стало быть, вы считаете...

— Я считал и считаю, что в русской революции есть единственно верная линия — это линия Ленина. И чем скорее мы все это поймем, тем скорее совершится русская революция.

Впервые с полной ясностью Петя почувствовал, что эмигранты, которые ему до сих пор казались все-таки не более, чем какими-то бедными чужаками, невольными скитальцами по чужим странам после неудачной ре-

волюции, представляют собой далеко не шуточную силу. Оказывается, у них есть партийные школы, центральные комитеты, группы содействия, пленумы. Они выпускают отдельными листками свои резолюции. Оказывается, несмотря на поражение революции тысяча девятьсот пятого года, многие из них не только не сложили оружия, но, напротив, готовятся к новой революции. Оказывается, у них есть руководитель — Ленин-Ульянов, повидимому тот самый, которому было адресовано письмо, переданное Пете Гавриком. Несколько раз уже слышал Петя это имя — Ульянов. Он старался представить себе этого человека, сидящего где-то под Парижем, в Лонжюмо, и готовящего новую революцию в России.

Теперь всякий раз, когда Петя встречал эмигрантов в поезде или на вокзале, он был уверен, что они едут именно в Париж, в Лонжюмо, в партийную школу Ульянова. Конечно, туда же ехали и те эмигранты, которых провожал Максим Горький в Неаполе на вокзале, и среди них — дама в трауре с девочкой, посмотревшей на Петю так требовательно и так строго в ту минуту, когда поезд тронулся и в глаз влетел уголек.

## XXIX

### ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Петя все никак не мог забыть эту девочку. Как ни странно, он думал о ней часто, с горьким чувством разлуки, и мысленно упрекал ее за то, что она внезапно появилась и так же внезапно исчезла, как будто она была в этом виновата. Петя придавал преувеличенное значение взгляду, которым они обменялись.

Петя уже прочитал романы Тургенева, «Героя нашего времени», «Войну и мир», разумеется «Евгения Онегина», почти всего Гончарова. И хотя Василий Петрович, руководивший чтением своих мальчиков, особенно напирал на общественное значение всех этих классических произведений, Петю захватывало в них совсем другое: любовь.

Он с жадностью проглатывал страницы, где говорилось о любви, рассеянно пропускал те, в которых было «общественное значение», или, как строго говорил отец, «главное содержание произведения». Для Пети главное содержание произведения заключалось в любовных сценах.

Будучи от природы мальчиком влюбчи-

вым и мечтательным, он быстро усвоил всю науку возвышенной любви русских романов. Изучив теорию, он при каждом подходящем случае старался применять ее на практике. Но это оказалось не так-то легко. «Любовь с первого взгляда» или «холодное равнодушие», примененные к какой-нибудь знакомой гимназистке четвертого класса в черном переднике, кастановой шляпе с форменным зеленым бантом и клеенчатой книгоносской в маленьких руках, отнимали массу времени, но не имели никакого смысла, потому что девочка на все эти ухищрения только жеманно улыбалась, решительно не понимая, что же, в конце концов, от нее требуется.

Тем не менее Петя довольно часто погружался в мир воображаемых страстей и тогда представлял себя то Печориным, то Онегиным, то Марком Волоховым, хотя, в сущности говоря, был гораздо ближе к Грушницкому, Ленскому и Райскому.

Разумеется, в это время все знакомые девочки в его глазах превращались в Мери, Татьян и Вер — прелестных и страдающих, что весьма льстило его самолюбию. К Ольгам, Марфинькам Петя относился пренебрежительно. Впрочем, сами девочки редко об этом догадывались и считали Петю странным чудачком и задавакой.

Сначала путевые впечатления были так сильны, что Петя забыл и думать о любви.

Но вот в его глаз влетел крошечный уголек, и начался новый роман.

Разумеется, это была «любовь с первого взгляда». В этом Петя не сомневался. Но кем была она и кем он, следовало еще разобраться. Так как дело происходило за границей, то больше всего подходил Тургенев. Она могла быть Асей или даже, с небольшой натяжкой, Джеммой из повести «Вешние воды». Это было тем более удобно и приятно, что в обоих случаях Петя, в качестве главного героя, оказывался сразу же горячо и преданно любимым.

Однако чутье подсказало Пете, что на самом деле она была не Джемма и не Ася. Пожалуй, она подходила для онегинской Татьяны. Но Татьяну Петя тоже отверг. В подобном случае ему следовало стать Онегиным, что никак не совпадало с его потребностью взаимной любви.

Княжна Мери и Бэла тоже не подходили, хотя бы потому, что Пете порядочно-таки надоело быть Печориным, чем он в последнее время сильно злоупотреблял.

Больше всего годилась Вера из «Обрыва». В ней тоже было что-то непокорное и

таинственное. В таком случае Пете оставалась роль Марка Волохова, так как на неудачника Райского он был решительно не согласен. Что ж, Марк Волохов — это совсем не плохо. Он еще никогда не был Марком Волоховым.

Петя не успел окончательно остановиться на Вере и Марке Волохове, как ему вдруг показалось, что Клара Милич с ее таинственным загробным поцелуем есть именно то, что надо. Она — Клара Милич. Что может быть лучше? Но в ту же минуту внутренний голос сказал Пете, что это тоже неправда.

Между тем любовь не ждала, она не терпела ни малейшего промедления. И вот, наскоро смешав Татьяну, Веру, Асю, Джемму, оставив загробный поцелуй Клары Милич и прибавив черный бант в каштановой косе, Петя в конце концов получил «ее» — ту единственную, нежную, на всю жизнь любимую и любящую, с которой его так мимолетно свела судьба и так безжалостно разлучила.

Горькое чувство разлуки овладело Петиней душой. Все время он испытывал странное одиночество. Он втайне упивался этим одиночеством, хотя оно не только не мешало счастью путешествия по Швейцарии, но даже как бы усиливало его.

Больше он не был ни Печориным, ни Онегиным, ни Марком Волоховым. Он был самим собой, но только каким-то новым, вдруг возмужавшим.

Василий Петрович не без тайной тревоги наблюдал, как меняется Петя, на глазах превращаясь из мальчика в юношу. Он чувствовал, что с его сыном происходит что-то непонятное, и приписывал это обилию новых впечатлений. Возможно, так и было. Но он даже приблизительно не мог себе представить всей той чепухи, вызванной слишком пылким воображением, в которую была погружена Петина душа. Он иногда брал Петю за плечи, заглядывал ему в глаза и своей большой рукой с узловатыми жилами ерошил его волосы.

— Что, Петушок, что, маленький? — ласково спрашивал он сына.

И тогда Петя, готовый заплакать от жалости к себе, мрачно отстранялся и глухо произносил:

— Я не маленький.

При каждом удобном случае он стал пристально смотреться в зеркало, стараясь придать своему лицу мрачное и мужественное выражение. Он стал особенным образом



причесывать волосы отцовской щеткой, которую усиленно мочил водой, прилагая все усилия, чтобы волосы не торчали на макушке.

XXX

## ВЬЮГА В ГОРАХ

В Интерлакене по настоянию Пети были куплены шерстяные плащи и альпенштоки — длинные палки с железными наконечниками для подъема в горы. Петя стал поговаривать о зеленой тирольской шляпе с фазаньим пером и о башмаках со стальными шипами. Но отец, боявшийся потратить лишний сантим, решительно отказался и не на шутку рассердился.

Даже в самые жаркие дни Петя старался не снимать плаща и носил его не просто, а на испанский манер, закидывая угол через плечо. Если на Павлике плащ выглядел, как скромная пелерина, то на Пете он превращался в «альмавиву».

Павлик простодушно волочил за собой длинную палку, покрытую вишневою корой; Петя опирался на нее, как на посох.

Иногда он мрачно улыбался, отходил в сторону и некоторое время одиноко стоял на скале, рассматривая с высоты птичьего полета какую-нибудь деревушку, с маленькой, хорошенькой кирхой, на дне долины.

Однажды он уговорил отца подняться в горы в дурную погоду, когда самопишущий барометр на площадке Флюэлена чертил на бумажной ленте незаметно вращающегося барабана зловещую ломаную линию.

— Но ведь там сейчас туман, вьюга, и мы ничего не увидим, только зря потратим деньги на фуникулер, — говорил отец, который недавно с ужасом выяснил, что круговые билеты не распространяются на линии фуникулеров.

Но Петя с жаром стал доказывать, что в хорошую погоду в горы поднимаются решительно все, и тогда там нет ничего интересного, кроме надоевших снеговых вершин и глетчеров, в то время как в дурную погоду, когда все другие путешественники трусливо сидят внизу, в отелях, именно и надо подниматься в горы, для того чтобы своими глазами увидеть снежную бурю в июле.

— Ты пойми, что этого же никто, никто не увидит, кроме нас! — настойчиво повторял Петя.

В конце концов он убедил отца, и они сели в косой, ступенчатый вагон электрического фуникулера, который медленно повез их

почти вертикально вверх по зубчатым рельсам.

Как и следовало ожидать, кроме них, в вагоне не было других пассажиров. Долго ползли по очень крутому склону, поросшему сначала сосновым лесом, а потом еловым. Деревья плавно сползали вниз по диагонали, так что сначала Петя видел над собой их корни, а потом под собой острые верхушки, увешанные шишками, которые, уменьшаясь, скрывались внизу, в солнечном тумане жаркого июльского дня.

Иногда среди папоротников кипели белые лестницы водопадов.

Становилось свежей. Кончился лес. Сверху, сползла последняя станция — чистенький домик с мокрой крышей. Семейство Бачей вышло из вагона. Василий Петрович порылся в Бедекере, и они отправились дальше пешком в гору, среди черных валунов, покрытых серебристыми лишаями.

Здесь уже замечались первые признаки тумана. Было трудно идти в скороходовских сандалиях вверх по скользкой кварцевой щебенке. Каменистая почва была покрыта стелющейся растительностью — цикламенами, альпийской розой. И наконец среди сырого мха Петя нашел первый эдельвейс, странный мертвый цветок в виде звездочки, как бы вырезанной из белого сукна. Петя сорвал его и прицепил к груди, засунув в вырез своей матроски.

Линия горизонта стала очень высоко и близко, и оттуда, переваливаясь, полз серый туман. Все вокруг потемнело. Они вошли в облако. Стало очень холодно. В одну минуту шерстяные плащи поседели от водяной пыли. Их охватили густые сумерки. Подул пронзительный ветер, неся прямо в лицо потоки мелкого ледяного дождя.

Василий Петрович сердито велел возвращаться назад. Но Петя решительно продолжал шагать в гору, декоративно кутаясь в плащ и стуча железным наконечником альпенштока по мокрым камням.

Стало еще холодней.

Среди капель дождя замелькали сначала мокрые, а потом и сухие снежинки. Мгновенно дождь превратился в снежную метель.

— Назад! Сию же минуту вернись! — кричал отец.

Но Петя уже ничего не слышал, упиваясь мрачной красотой этой июльской вьюги. Он добежал до края обрыва, откуда в хорошую погоду обыкновенно открывался вид на всю горную цепь, на снежные вершины Монте-Розы, Юнгфрау, Маттергорна.

Теперь же ничего не было видно. Вверху, внизу и вокруг кружилась метель, покрывая цветы и камни белоснежной пеленой.

— Зря только сгубили деньги, — бормотал отец, стараясь разглядеть хоть малейший намек на знаменитую горную цепь.

— Ах, папа, ты ровно ничего не понимаешь! — с тоской воскликнул Петя. — Даже досадно! Внизу лето, жара, а мы... а мы видим снег. Одни только мы!.. Неужели ради этого не стоило подниматься?

— Ну, внизу лето, а вверху зима. Вполне естественно. Не знаю, что ты в этом находишь особенного. В гористой местности это в порядке вещей. А ты просто фантазер, и ничего больше.

Весь облепленный снегом, со снежинками на бровях и ресницах, Петя стоял, скрестив на груди руки, в развевающемся плаще и с мрачным упоением думал о маленькой девочке, которую так безжалостно с ним разлучили и увезли в Париж, в Лонжюмо. Он упивался своей несчастной любовью и одиночеством, хотя втайне и ликовал, представляя себя со стороны — страдающего, всеми забытого, с эдельвейсом на груди, в грубом альпийском плаще, который не в состоянии спасти его от холода.

— Довольно! Хватит! Полюбовались красивым видом, и будет! — сварливо сказал отец. — А то еще, чего доброго, схватите воспаление легких.

— И пусть, и пусть! — сказал Петя, но тем не менее с большим удовольствием повернулся спиной к неприятному ветру и побежал следом за Павликом назад, вниз.

По дороге на станцию фуникулера они наткнулись на хижину пастуха, настоящее швейцарское шале с камнями на плоской крыше. Там обогрелись и высушились перед камельком, а старая швейцарка за маленькую никелевую монету дала им в узких белых стаканах холодное козье молоко.

Василий Петрович пил козье молоко и думал: «Как хорошо, как тихо! Как спокойно! Может быть, в этом и заключается настоящее человеческое счастье: жить на маленьком тихом клочке земли, в маленькой хижине, пасти коров, варить сыр, дышать целебным горным воздухом и не чувствовать себя рабом государства, религии, общества. Нет, наверно, был все-таки прав великий отшельник и мудрец Жан-Жак Руссо!» Эти идеи, которые уже и раньше смутно возникали в его утомленном мозгу, теперь приобрели удивительную, предметную ясность. Они были так же вещественны и зримы, как белые

капли козьего молока, блестящие у него в мокрой бороде.

Откровенно говоря, Петя испытал большое удовольствие, когда фуникулер медленно погрузил их в теплую, сияющую солнцем долину и странная экскурсия кончилась. В общем, несмотря на зря погубленные деньги, все были довольны.

— Н-да, все-таки, знаете, это было любопытное зрелище, — сказал Василий Петрович, потирая руки. — Наконец-то мне довелось увидеть настоящие эдельвейсы в природных условиях!

Был весьма доволен также Павлик, хотя по свойству своего характера скрывал это. Он долго и таинственно возился в углу номера, что-то старательно пряча и со стуком перекладывая в своем дорожном мешке. Как выяснилось впоследствии, он не терял даром времени в Швейцарии. Насмотревшись в витринах магазинов на множество драгоценных камней и кристаллов, добытых в местных горах, мальчик смекнул, что здесь можно легко разбогатеть, если только не зевать во время экскурсий и внимательно смотреть под ноги, где сокровища валяются буквально на земле. Поэтому он тайно натаскал в свой мешок множество камней, казавшихся ему весьма ценными. Сегодня же, пока Петя был занят своими любовными переживаниями и пока отец изучал альпийскую флору, Павлик нашел два довольно больших круглых булыжника. Он был уверен, что эти булыжники набиты кристаллами аметиста. Стоит их только распилить пополам — и можно наковырять целую кучу драгоценных камней. Осторожный Павлик решил отложить эту операцию до возвращения домой. Там он тайно продаст свои драгоценности, и тогда осуществится его заветная мечта — он приобретет подержанный велосипед.

С этого дня Петя стал особенно страстно мечтать о Париже. Тайное предчувствие говорило ему, что там он непременно снова встретится с «ней» и тогда начнется какое-то новое, невероятное счастье.

Побывать в Париже входило в план путешествия, но сперва надо было по возможности полнее использовать круговые билеты, дающие право ездить по всем железным дорогам Швейцарии.

По правде сказать, Швейцария уже порядком-таки надоела семейству Бачей вместе с ее сыром, молоком и шоколадом, с ее пансионами, фуникулерами, коллекциями минералов, деревянными игрушками и красивыми

видами, удивительно похожими один на другой.

Но делать было нечего: не зря же заплатили деньги за билеты! И семейство Бачей продолжало ездить, пересаживаясь с поезда на поезд, туда и назад, лишь бы оправдать расходы.

В Берне они постояли возле глубокой ямы, на дне которой на задних лапах ходили знаменитые бернские медведи, выпрашивая у посетителей подачки.

Подъезжая к Люцерну, видели на зеленом лугу большой желтый дирижабль «Вилла Люцерн».

Где-то на Фирвальдштетском озере их настигла страшная гроза, и они видели злое отражения молний в воде, ставшей в одну минуту почти черной.

В Лугано их поразили совсем итальянский характер города — с трескучей скороговоркой толпы, с макаронами, мандолинами, фиасками кьянти и ледяным аранжадом.

В Шильонском замке, который своими островершинами башнями как бы вырастал из озера на фоне зубчатой вершины Дандемиди, они видели знаменитое подземелье с железным кольцом, с каменными колоннами и фальшивой надписью Байрона, выцарапанной на одной из них.

В каком-то городке немецкой Швейцарии покупали для тети легкое одеяло из чесаного шелка-сырца; на какой-то станции в их вагон шумно ввалилась толпа толстых тирольских стрелков в коротких штанишках и широких зеленых подтяжках; надев на дула ружей шапочки с фазаными перьями, они потрясали ими над головой и горловыми, переливчатыми голосами, подражая флейте, пели свои тирольские «иодели».

Было еще множество других впечатлений, но они слились с одним постоянным чувством необходимости все время ехать дальше.

Но вот настало время отправляться в Париж, и вдруг Василий Петрович заколебался. Сидя в маленьком номере дешевой женевской гостиницы, он долго подсчитывал ресурсы, покрывая колонками бисерных цифр клочок почтовой бумаги.

— Когда же мы наконец поедem в Париж? — сказал Петя с нетерпением.

— Никогда! — отрезал отец.

— Но ведь мы же решили. Ведь ты же обещаешь.

— Решили, а теперь я отменяю это решение.

— Но почему же?

— Потому что у нас мало денег. Какой может быть Париж, когда уже август на носу, и вот Татьяна Ивановна пишет, что у Файга с первого числа начинаются какие-то осенние приемные испытания, да и вам с Павликом довольно уже бить баклуши и пора перед новым учебным годом освежить в памяти целый ряд предметов. Одним словом, будет! Погуляли — хорошенького понемножку!

— Папочка, ты, наверно, шутишь! — взмолился Петя.

— Я сказал! — пробормотал отец.

Видя, что отец перешел на свой обычный тон, Петя сделал еще одну попытку поколебать его решение.

— Но ты же дал слово, и нечестно с твоей стороны теперь отказываться! — развязно и довольно дерзко сказал Петя.

— Как ты смеешь в таком тоне говорить с отцом! Молчать! Мальчишка! — крикнул Василий Петрович и схватил мальчика за плечи, чтобы хорошенько его потрясти, но, вероятно, вспомнив, что они находятся за границей, ограничился лишь одним коротким рывком, после чего все семейство вдруг почувствовало глубокое облегчение: слава тебе господи, вопрос окончательно решен, и не нужно уже больше путешествовать, а прямо ехать через Вену в милую Одессу.

Только сейчас все поняли, как они безумно устали и как им, в сущности, уже давно надоело без передышки трястись в поездах; ночевать в гостиницах, покупать открытки, бегать по картинным галереям, говорить по-французски, вместо борща и вареников питаться жеманными швейцарскими супчиками и тонкими ломтиками твердого жаркого с прокишшим гарниром.

Им захотелось выкупаться в море, съесть добрую «скибку» сахарного монастырского кавуна, напиток из кипящего самовара чайку с клубничным вареньем и горячими булками, на которых так аппетитно тает ледяное сливочное масло.

Словом, их страстно потянуло домой, и на другой же день они уехали.

Они так торопились, что даже Вена, где они всё-таки задержались на два дня, не произвела на них никакого впечатления. Они уже пресытились. В памяти осталась лишь картина, которую они увидели в окно вагона, уезжая из Вены: багровая полоса заката и бесконечно длинный силуэт города с башнями, шпилями, флюгерами и колоссальным крутящимся колесом аттракциона увеселительного сада Волькспратер, которое возвы-

шалось над всем городом и казалось странным символом Вены.

От Вены до русской границы плелись мучительно долго, чуть ли не двое суток, так как, верный своему принципу экономить на проездных билетах, Василий Петрович решил не тратить на скорый поезд — «шнельцуг», а взял билеты на «персоненцуг» — то-есть пассажирский. Этот самый «персоненцуг», несмотря на вполне приличное, даже красивое название, на проверку оказался не пассажирским поездом, а товаро-пассажирским.

### XXXI

## ТАК ВСТРЕТИЛА ИХ РОССИЯ

За время путешествия по Швейцарии Петя и Павлик сделали опытные железнодорожными пассажирами. Они научились безошибочно определять скорость поезда по телеграфным столбам. Например, если от одного до другого столба можно было неторопливо отсчитать: раз, два, три, четыре, пять, шесть, — то, значит, поезд шел со скоростью примерно тридцати верст в час. В Швейцарии поезда ходили сравнительно быстро. Между столбами было пять. Попадались поезда, когда между столбами было четыре и даже три. Очутившись же в австрийском «персоненцуге» и посчитав столбы, мальчики убедились, что поезд плетется, как черепаха: между столбами оказалось десять. Столбы не мелькали в окне один за другим, а каждый столб долго проплывал мимо, лениво таща за собой жиденькие провода, на которых сиротливо сидели ласточки, а следующий столб так долго не показывался, что иногда казалось, что его и вовсе никогда не будет. Поезд подолгу стоял на всех станциях и полустанках. Плацкартных мест не было. Днем и ночью ехали, сидя на твердой деревянной лавке вагона третьего класса, переполненного пассажирами.

Это уже не были хорошо одетые, вежливые и доброжелательные пассажиры швейцарских поездов — туристы и фермеры. Это была австрийская беднота: странствующие ремесленники со своим инструментом, резервисты, солдаты, торговки, ветхозаветные евреи в люстриновых лапсердаках, белых чулках, с такими длинными закрученными пейсами, что, казалось, они нарочно приклеены.

Было много славян — чехов, поляков, сербов; иные в национальных костюмах. Они курили вонючие сигары и фарфоровые труб-

ки с длинными висячими чубуками и зелеными кисточками. Закусывали сухой австрийской колбасой с чесноком и перцем, отчего весь вагон провонял тяжелым, местечковым запахом, как его назвал Василий Петрович, покрутив носом, — «амбрэ».

Разговаривали на смеси различных славянских языков и диалектов, среди которых еле слышалась немецкая речь.

Большинство пассажиров ехали на короткие расстояния. На каждой станции одни выходили, другие входили. Один раз на какой-то остановке в вагон вошел старик-шарманщик в зеленой охотничьей куртке с пуговицами из необделанного оленьего рога, похожий на австрийского императора Франца-Иосифа. Он сел в углу, стал крутить ручку шарманки и сыграл подряд десять венских вальсов и маршей, после чего снял с плетивой головы свою ветхую тирольскую шапочку и, по-королевски милостиво кланяясь, обошел пассажиров, но ему никто ничего не дал, кроме какой-то заплаканной женщины, которая вынула из портмоне несколько медных геллеров, завернула их в бумажку и положила в шляпу шарманщика, после чего он, кряхтя, взвалил на спину свой разукрашенный оборванным стеклярусом органчик и вышел из вагона на ближайшей станции.

Поезд поехал дальше, а в Петиних ушах долго еще не умолкали щемлящие звуки старой шарманки. Они как нельзя больше соответствовали душевному состоянию мальчика, бедности и какой-то грустной неустроенности окружающих его чужих людей, вечерним сумеркам и стрекотанью вагонного фонаря, куда австрийский кондуктор в мягком кепи вставил зажженный огарок, багрово озаривший часть деревянного простенка с красной запломбированной ручкой тормоза Вестингауза.

На другой день, измученные дорогой, они стали приближаться к русской границе. Шел мелкий дождик. Пассажиры попрежнему выходили на каждой станции, но в вагон уже больше не входил никто. На лавке, где сидело семейство Бачей, освободились места, но едва Василий Петрович постелил плащ и приготовил вместо подушки дорожный мешок, для того чтобы уложить изнемогающего Павлика, как вдруг, откуда ни возьмись, появился австрийский солдат, который отпихнул Павлика, во весь рост рухнул на лавку, вытянул ноги в больших подкованных сапогах, положил голову на дорожный мешок и в тот же миг заснул, храпя на весь вагон.

— Как вы смеете... милостивый госу-

дарь! — закричал высоким голосом Василий Петрович, побледнев от негодования. — Вы — невежа!

Но солдат лежал, как чугунный, ничего не слыша и ничего не понимая, и вдруг стало ясно, что он тяжело пьян. Это окончательно взорвало Василия Петровича.

— Вы наглец! Слышите? Сию же минуту освободите не принадлежащее вам место!

Солдат открыл водянисто-голубые глаза, подмигнул, издал громкий, неприличный звук и снова захрапел.

Тогда Павлик стал изо всех сил колотить кулаками по голенищам грубых солдатских сапог с двойным швом, крича:

— Окаянный! Окаянный!

Солдат медленно приподнялся, некоторое время с изумлением смотрел на Павлика, видимо не зная, как поступить — засмеяться или рассердиться, — но в конце концов рассердился, закипел, взял Павлика за лицо растопыренной пятерней с черными ногтями и, брызгая слюной и топорща рыжие усы, стал грозно кричать по-немецки:

— Поди прочь, русская свинья, молоко-сос! Ты здесь не хозяин, здесь, слава богу, не Россия, и я тебе оторву уши за оскорбление австрийского мундира!

На шум неторопливо пришел кондуктор.

— Уберите отсюда этого пьяного нахала! — кипятился отец.

Но кондуктор стал на сторону солдата и, выпятив грудь, строго заявил отцу, что здесь нет плацкарт и каждый пассажир может занимать себе любое свободное место; а если русский господин будет оскорблять австрийский мундир, то он вышвырнет его вон из поезда со всеми его детьми и бебехами. Он так и сказал: «мит аллес киндер унд бебехен hinaus!»

Услышав об оскорблении мундира, Василий Петрович не на шутку струхнул.

— Ты, знаешь, рукам воли не давай! — пробормотал он Павлику и стал вытаскивать из-под солдата плащ и дорожный мешок.

Солдат же, гремя своим тесаком, повернулся на другой бок и снова с присвистом захрапел на весь вагон.

Впрочем, на следующей станции он вскочил как востропанный и, ворча про себя разные австрийские проклятия по адресу русских свиней, покинул вагон.

Семейство Бачей сидело как оплеванное. Василий Петрович побледнел, и борода его тряслась. Однако ничего нельзя было поделать.

Перед самой границей в вагоне, кроме семейства Бачей, оставался лишь один пассажир, который сидел в углу, обхватив с одной стороны дорожную корзинку, а с другой — портплед с подушкой и старым стеганым одеялом. Повидимому, это был тоже русский и по внешности принадлежал к типу эмигрантов.

Было заметно, что он очень волнуется, хотя и старается казаться спокойным. Он даже делал вид, что дремлет. Скоро через вагон прошел австрийский жандармский офицер, отобрал паспорта, и Петя видел, как у пассажира дрожали руки, когда он отдавал свой паспорт.

Поезд, визжа тормозами, остановился. Семейство Бачей вытащило свои вещи на грязный пустынный перрон, прошло через вокзал и очутилось в холодном зале для таможенного досмотра. Здесь находился длинный решетчатый прилавок, составленный из ряда добела потертых рельсов, и за этим прилавком стояли несколько русских таможенных чиновников и русский жандармский ротмистр в голубом мундире с серебряными аксельбантами.

Когда багаж был разложен на прилавке, начался досмотр. Как всегда при соприкосновении с представителями власти, Василий Петрович почему-то ужасно раздражался и нервничал, хотя для этого, собственно, не было никаких оснований. Он испытывал острое чувство унижения своего человеческого достоинства.

Петя видел, как отец долго не попадал ключиком в замок, когда отпирал чемодан.

— Кофе, табак, духи, шелковые изделия везете? — спросил таможенный чиновник, равнодушно проводя рукой с обручальным кольцом по разложенным на прилавке вещам.

— Потрудитесь лично удостовериться, — вспыхнув, проговорил отец, сдерживая дрожание нижней челюсти. — А я не обязан... отдавать вам отчет... Можете поступать по закону...

Таможенный чиновник вяло порылся в чемодане; пожав плечами, вынул несколько булыжников из Павликова мешка, повертел их в руках, засунул обратно и проследовал дальше.

— Откуда изволите следовать? — строго спросил жандармский ротмистр, слегка звякнув шпорами.

— Как видите, из Австро-Венгрии.

— Изволили также посетить Швейцарию? — спросил жандармский ротмистр,

учтиво показывая рукой в серой замшевой перчатке на плащи и альпенштоки.

— Как видите, — сказал Василий Петрович со скрытой иронией.

— Литературу везете?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду женевские или цюрихские, социал-демократические издания. Должен предупредить, что провоз через границу подобной антиправительственной нелегалщины может повлечь для вас самые серьезные последствия.

Но не успел Василий Петрович раскрыть рот, чтобы ответить на это что-нибудь язвительное, как вдруг жандармский ротмистр повернулся спиной и проворно пошел, почти побегал к тому самому пассажиру, который ехал в одном вагоне с семейством Бачей.

Пассажир этот теперь стоял у железного прилавка, окруженный несколькими таможенными чиновниками, которые быстро вынимали из его корзины разные вещи — студенческие диагональные брюки, косоворотки, штиблеты, кальсоны, — а также мяли и щупали его стеганое одеяло.

— Никифоров! — негромко крикнул жандармский ротмистр, и в тот же миг возле него появился небольшой человечек в штатском, с большими ножницами в руке. — Давай одеяло!

Человечек в штатском подошел к прилавку и опытным движением стал вдоль и поперек пороть одеяло.

— Вы не имеете права портить мои вещи, — сказал пассажир тихо и побелел, как полотно.

— Не извольте беспокоиться, не испортим, — сказал жандармский ротмистр и, запустив руку в прореху, стал двумя пальцами брезгливо вытаскивать из одеяла одну за другой пачки тонкой, папиросной бумаги, густо покрытой убористой печатью.

Прибежали еще два человека в котелках и взяли пассажира за руки. А он, густо покраснев, вдруг рванулся всем телом и, озираясь по сторонам, стал кричать слабым голосом:

— Передайте товарищам, что меня взяли на границе, моя фамилия Осипов! Передайте, что меня взяли, я Осипов!

Его поспешно увели в какую-то боковую дверь, с вырезанным вензелем железной двери: «Ю.-З. ж. д.».

— А остальных прошу пройти на перрон для дальнейшего следования по назначению, — сказал жандармский ротмистр и стал раздавать остальным пассажирам паспорта.

Семейство Бачей прошло сквозь вокзал на противоположную сторону, где стоял русский поезд с табличками «Волочиск — Одесса», и русский дежурный по станции в красной фуражке подошел к медному колоколу и дал второй звонок.

Так встретила их Россия.

## XXXII

### ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

А на другой день они уже ехали с вокзала вместе с тетей на двух русских извозчиках домой мимо Куликова поля и Афонского подворья, которые показались Пете очень маленькими и какими-то провинциальными.

Провинциальной также показалась и тетя в незнакомой, повидимому совсем недавно купленной, преувеличенно большой модной шляпе и юбке «шантеклэр», так узко стянутой внизу, что в ней можно было ходить лишь крошечными шажками.

Петя заметил, что тетя хотя и обрадовалась их приезду, но выражала свою радость гораздо сдержаннее, чем обычно, когда они возвращались осенью из Будак. Было похоже, что она втайне чем-то недовольна. К своему удивлению, Петя вдруг понял причину ее недовольства: в глубине души тетя была просто обижена, что ее не взяли с собой за границу.

В ее обращении с Василием Петровичем и мальчиками сквозило нечто слегка ироническое. Несколько раз она назвала их «наши знатные путешественники», а когда Петя стал описывать снежную бурю в горах, то тетя произнесла в нос: «Воображаю».

Большой дом, в котором они жили, показался маленьким, а квартира — тесной и темноватой. Шелковое швейцарское одеяло, привезенное в подарок, тоже не произвело впечатления. Вообще первое время в доме чувствовалась некоторая неловкость.

Впрочем, очень скоро она исчезла, и все пошло по-старому, без всяких происшествий, если не считать таинственного исчезновения Павлика на другой день после приезда и его появления поздно вечером, голодного, измученного, со следами высохших слез на осунувшемся лице.

— Боже мой! Что случилось? — воскликнула тетя и всплеснула руками, увидев своего любимчика в таком плачевном виде. — Где ты пропадал?

— Лучше не спрашивайте, — мрачно ответил Павлик.

— Но все-таки?

— Ходил в город.

— Зачем?

— Ох, лучше не спрашивайте!

— Ты меня пугаешь!

— Я ходил продавать драгоценные камни.

— Какие камни? — переспросила тетя, с тревогой всматриваясь в Павликово лицо.

— Драгоценные, — повторил Павлик просто, — которые я привез из Швейцарии. Я их хотел продать, для того чтобы купить подержанный велосипед.

Тетин подбородок задрожал:

— Ну, ну? И что же дальше?

— Дальше я заходил к братьям Пуриц на Ришельевской, к Фаберже на Дерibasовской, потом в два ювелирных магазина на Преображенской... ну, и еще во много разных ювелирных магазинов. И потом заходил в археологический музей, и в Новороссийский университет, и в городской ломбард...

— Боже мой! — простонала тетя, хватаясь кончиками пальцев за виски.

— Я думал — может быть, они тоже купят... — Павлик устало опустился на стул и положил голову на стол. — А они все сказали...

— Что же они все сказали?

— Они сказали, что это обыкновенные камни.

— Ах ты, моя курочка! Ах ты, моя рыбка ненаглядная! — заливаясь стонущим смехом, лепетала тетя. — Ах ты, мой бедненький путешественник, золотоискатель! Нет, я не выдержу, я умру от смеха! Ты меня погубишь!

На этом, собственно, и закончилась краткая история путешествия семейства Бачей за границу.

Но Петю все еще продолжало распираť от заграничных впечатлений. Он уже несколько раз подробно и красноречиво описывал тете и кухарке Дуне Константинополь, Средиземное море, извержение вулкана, беспорядки в Неаполе, Симплонский туннель, снежную бурю в горах, подземелье Шильонского замка и дирижабль «Вилла Люцерн».

Он уже показал все открытки, сувениры и множество разноцветных проспектов и бесплатных путеводителей, которыми был набит чемодан. Каждый день он выходил во двор и слонялся по Куликову полю и по переулкам вокруг дома, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых мальчиков, чтобы

рассказать им о путешествии. Но до начала учебного года оставалось недели две, все еще жили на дачах, на лиманах, в деревне. Город был по-летнему пуст.

Петя изнывал от одиночества. Он с тоской смотрел на пустынное небо, уже по-августовски синевшее над пыльными садами и крышами переулков. Он слушал утомительное пение разносчиков, сонно долетавшее со всех сторон, и сходил с ума от скуки.

— А к тебе тут несколько раз заходил твой друг Гаврик Черноиваненко, — сказала однажды тетя. — Интересовался, скоро ли ты вернешься из дальних странствий.

— Что вы говорите! — закричал Петя. — Гаврик! — И тут же смутился, поймав себя на том, что, оказывается, за последнее время ни разу о нем даже не вспомнил. Гаврик Черноиваненко! Как он мог о нем забыть! Это именно тот человек, которого Пете так не хватало.

Несмотря на то что погода стояла жаркая, даже знойная, Петя схватил свой швейцарский плащ, альпеншток и, не теряя времени, отправился прямо на Ближние Мельницы.

### XXXIII

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

Теперь, когда у Пети появилась цель, город уже не казался таким пустынным и скучным. Было воскресенье. Красиво звонили колокола. Весело посвистывал маленький паровичок дачного поезда, везя мимо Куликова поля на Большой Фонтан открытые вагоны, битком набитые по-воскресному нарядами горожанами, среди которых особенно празднично белели накрахмаленные кители офицеров — с золотыми пуговицами и узкими портупьями шашек, продетых под погон.

Шли с базара кухарки, неся в корзинках, поверх обычной провизии, букеты темных георгинов и оранжевых чернобрицев, похожих на овощи. По мостовой гремели платформы с арбузами, сливами и ранним виноградом. Все это возбуждало в Пете прилив какой-то особенной, праздничной бодрости, и мальчик стучал наконечником альпенштока по плиткам тротуаров и по чугунным уличным тумбам.

Он шел так быстро, что порядочное расстояние до Ближних Мельниц отмахал чуть ли не в полчаса. Петя обливался потом и умерил свои шаги лишь тогда, когда очутил-



ся возле знакомого заборчика, сделанного из старых шпал. Здесь Петя немного отдышался и надел на себя плащ, который до сих пор нес на руке. Едва он забросил его край на плечо и не успел еще придать своему лицу достаточно мрачное выражение, как вдруг совсем рядом кто-то воскликнул:

— Ой, кто это?

И Петя увидел хорошенькую девочку-подростка в новом ситцевом платье, почти с ужасом смотревшую на него из-за калитки.

Сначала он не узнал ее — так она выросла и похорошела за летние месяцы. Это была Мотя. Но еще прежде, чем он узнал ее, она узнала его, густо покраснела и стала маленькими шажками пятиться к дому, не отводя от мальчика восхищенно-испуганного взгляда.

Наконец она наткнулась спиной на шелковицу, под которой куры клевали кроваво-черные ягоды, пачкавшие своим соком гладкую глину дворика. Тогда она слабым голосом крикнула:

— Гаврик, иди сюда, до нас пришел Печечка!

— А, приехал! — сказал Гаврик, появляясь на пороге мазанки.

Он был по-домашнему босиком, в расстегнутой косоворотке без пояса и одной рукой поддерживал штаны, а в другой держал учебник латинского языка.

— Долго же вы ездили! А я тут без тебя уже второй раз прохожу латинскую грамматику, чтоб она сгорела! Ну, дай пять, очень рад тебя бачить.

Петя пожал сильную, совсем мужскую руку Гаврика, а потом маленькую ручку Моти, нежную, но с твердой, шершавой ладошкой.

— Большое тебе спасибо за письмо, — сказал Гаврик, когда они сели на лавочку перед столом, вбитым в землю под шелковицей.

— Я его отправил из Неаполя, — сказал Петя и прибавил небрежно: — Экспрессом.

— Знаю, — серьезно сказал Гаврик.

— Откуда ж ты знаешь?

— Мы уже получили ответ. Еще раз большое тебе спасибо! Молодец! Ты нас сильно выручил.

Петя был весьма польщен, хотя втайне его немного и задевало, что Гаврик не обращает внимания на его плащ и альпеншток. Зато Мотя не сводила глаз с этих странных предметов и наконец робко спросила:

— Скажите, Петя, это там все так ходят?

На что Петя, снисходительно улыбаясь, ответил:

— Конечно, не все, а лишь некоторые. Преимущественно те, которые совершают восхождения на горные вершины. Потому что там может налететь снежная буря. А без альпенштока и вовсе не подымешься — ужасно скользко.

— А вы подымались?

— Сколько раз! — вздохнул Петя.

— Какой вы счастливый! — сказала Мотя, с обожанием рассматривая плащ и палку с наконечником.

Все-таки Гаврик не удержался, чтобы не заметить:

— Слышь, Петя,ними лучше эту халамиду, а то смотри, как ты жутко вспотел.

Петя презрительно промолчал.

Затем он стал с жаром рассказывать о путешествии, не жалея красок и стараясь не пропустить ни одной подробности. Гаврик слушал довольно равнодушно, зато Мотя, присевшая рядом с Петей на угол скамьи, время от времени шептала:

— Какой вы счастливый!

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гаврика совсем не занимал Петин рассказ. Только его занимало совсем не то, что Мотю. Например, к извержению вулкана и метели в горах он отнесся без особого интереса. Но когда Петя стал рассказывать о забастовке трамвайщиков в Неаполе, и о встрече с Максимом Горьким, и об эмигрантах, глаза Гаврика заблестели, челюсти сжались, и, стуча кулаком по Петину колену, он приговаривал:

— Так, так! Вот это здорово! Вот это ловко!

Когда же Петя, понизив голос и боясь, что Гаврик ему не поверит, сообщил, что, кажется, он видел в Неаполе Родиона Жуккова, то Гаврик не только поверил, но даже утвердительно закивал головой и весьма определенно сказал:

— Верно. Правильно. Он самый. Это нам известно. Он, наверно, как раз тогда переезжал из Каприйской школы в Лонжюмо к Ульянову-Ленину.

Петя с изумлением посмотрел на своего друга. Как он изменился за последнее время! Он не то чтобы вырос, возмужал — в нем появилась какая-то твердость, уверенность в себе и даже, — что больше всего поразило Петю, — интеллигентность. Как свободно, естественно произнес он французское слово «Лонжюмо» и как просто, привычно прозвучала у него фамилия Ульянов-Ленин!

— А, так ты тоже знаешь Лонжюмо? — простодушно сказал Петя.

— Конечно, — улыбаясь одними глазами, сказал Гаврик.

— Там у них... партийная школа, — не совсем уверенно и немного поколебавшись перед словами «партийная школа», сказал Петя.

Гаврик некоторое время смотрел на Петю оценивающим взглядом, а потом весело засмеялся:

— А ты, брат, оказывается, за границей тоже время зря не терял! Кое в чем уже разбираешься. Молодец!

Петя скромно опустил глаза, но вдруг подскочил на месте, словно его ущипнули: он вспомнил происшествие на границе и почти бессознательно почувствовал, что оно имеет какую-то связь с последними словами Гаврика, точнее сказать — с их тайным смыслом.

— Слушай сюда... — сказал Петя возбужденно, но, посмотрев на Мотю, нерешительно остановился.

— А ну-ка, Мотя, пойдй немножко пройдись, — строго сказал Гаврик, похлопав Мотю по плечу, на котором красиво лежала русая коса с ситцевой ленточкой.

Девочка поджала губы, но сейчас же послушно встала и ушла, из чего Петя заключил, что подобные вещи случаются в семье Черноиваненко довольно часто.

— Слушаю, — сказал Гаврик.

— Осипов просил передать товарищам, что его взяли на границе, — сказал Петя, понизив голос, и рассказал все, что случилось в таможенном зале станции Волочиск в тот день, когда они переезжали границу.

Гаврик очень серьезно, но молчаливо это выслушал и сказал:

— Сейчас.

Он пошел в хату, откуда через минуту вернулся с Терентием.

— А, вот и наш заграничник! — сказал Терентий, протягивая Пете руку. — С приездом! Большое вам спасибо за письмо. Выручили нас.

Петя заметил, что Терентий тоже как-то изменился за лето. Хотя его широкое, тронутое оспой лицо мастерового человека было попрежнему простодушно-грубовато, но Петя почувствовал в нем гораздо больше твердости и внутренней независимости, чем раньше. Ново было также и то, что Терентий обратился к Пете на «вы». Так же как и Гаврик, он был по-домашнему босиком, но на нем были хорошие новые брюки, накиннутый

на жирные плечи летний коломянковый пиджак и свежая сорочка с металлической запонкой в верхней петельке, из чего можно было заключить, что Терентий носит крахмальные воротнички.

Терентий сел рядом с Петей на то место, где раньше сидела Мотя, и обнял мальчика тяжелой, сильной рукой за плечи:

— Рассказывайте!

Петя очень подробно повторил Терентию свой рассказ.

— Плохо дело, — сказал Терентий, почесывая босые ноги одна о другую. — Уже второй транспорт проваливается. Прямо несчастье с этими студентами! Я говорил, что надо налаживать доставку через... — Терентий и Гаврик обменялись понимающими взглядами. — Ну и само собой, — обратился Терентий к Пете, — пусть это больше никого не интересует.

— Он уже кое-что соображает, — сказал Гаврик.

— Тем лучше, — как бы вскользь заметил Терентий и круто переменял разговор. — За границу больше не собираетесь? Ну и ладно. Дома тоже неплохо. А за письмо еще раз спасибо. Вы для нас сделали очень большое дело. Ну, стало быть, гуляйте у нас, гостите, а я пойду в хату — у меня там полно гостей. Еще побачимся. Я вам советую: пойдите на выгон, там Женька пускает новый змей, я ему купил в магазине Колпакчи. Самой последней конструкции, летает в любой ветер.

Видимо, он торопился поскорее вернуться к гостям.

— Мотя, что же ты бросила своего кавалера! — закричал он. — Забирай его, и отправляйтесь на выгон! А я побегу. Извините...

Терентий быстрыми шагами пошел в хату, и Петя увидел в ее маленьких окошках множество народу. Петя почувствовал, что его спроваживают, но не успел обидеться, так как в это время появилась Мотя, Гаврик дружески взял его под руку, и они втроем отправились на выгон, где восьмилетний Женька, брат Моти, очень похожий на Гаврика в детстве, но только получше одетый и более упитанный, окруженный всеми мальчишками Ближних Мельниц, запускал свой диковинный змей, совсем не похожий на те самодельные змеи, которые с помощью рамки из шести легких камышинок, листа газетной бумаги, клейстера, ниток и мочального хвоста сооружали мальчики Петиногo детства.

## ПОКУПНОЙ ЗМЕЙ

Это был покупной, магазинный змей, имеющий форму геометрической фигуры — параллелепипеда, обтянутого по краям канареечно-желтым коленкором, с тугими растяжками, что делало его отдаленно похожим на биплан братьев Райт.

Два мальчика стояли на цыпочках, подбострастно подняв над головой воздушное сооружение, а Женька с тонким конопляным шпагатом в руке выжидал подходящего мига, чтобы побежать через выгон, увлекая за собой летательный аппарат. Наконец он зажмурился и очертя голову бросился вперед против ветра. Змей круто взмыл вверх, заметался, закрутился и упал на траву.

— Не летит, проклятый! — сказал Женька сквозь зубы, вытирая концом рубашки потное, злое лицо, пестрое от веснушек. Повидимому, змей падал уже не первый раз.

Все мальчишки Ближних Мельниц, галдя, бросились к змею, но Женька сердито их растолкал и, бормоча себе под нос: «Не лапай, не купишь», сопя и пыхтя, стал распутывать шпагат.

— Жорка, Колька, а ну становитесь опять! Держите выше, только не отпускайте, пока я не крикну: «Отпускайте». Поняли?

Видно, он привык командовать, и его слушались, хотя он был здесь самый маленький. «Черноиваненская порода», — не без тщеславия подумал Гаврик, следя, как опять становились мальчишки — Жорка и Колька, — подняв над головой змей, и как Женька, деловито послунив указательный палец и подняв его вверх, определял направление ветра.

— Врешь, теперь полетишь! — пробормотал он про себя, как заклинание, и взялся за шпагат. — А ну, слушай сюда! Раз, два, три! Отпускайте!

Змей подскочил и упал. В толпе послышался оскорбительный смешок.

— Все равно не полетит, — сказал чей-то голос.

— Дурак! — сказал Женька. — Знаешь, это какой змей? Мой батька дал за него в магазине Колпакчи на Екатерининской рубль сорок пять.

— Много твой батька понимает в змеях!

— Ну, ты моего батьку не затрагивай, а то дам по сопатке, аж юшка потечет.

— Все равно не полетит, потому что у него нет хвоста.

— Чудак человек, так он же не простой, а магазинный, и я тебе сейчас докажу.

Но сколько Женька ни старался, магазинный змей подниматься не хотел.

— Даром только твой батька выкинул рубль сорок пять.

Положение становилось довольно глупым. Разочарованные зрители стали понемножку расходиться.

— Подождите, куда же вы уходите, чудаки! — говорил с кривой улыбкой Женька, сидя на корточках перед змеем. — Идите сюда, сейчас он полетит.

Но он уже окончательно потерял авторитет, и ему больше не желали подчиняться, как генералу, проигравшему сражение. Сначала Петя и Гаврик иронически переглядывались и отпускали презрительные замечания по поводу новомодной магазинной игрушки, которая и в подметки не годилась доброму, старому самодельному змею. Но скоро Гаврик почувствовал, что задета честь его семьи.

Он нахмурился и вразвалку подошел к змею.

— Не лапай, не купишь! — плаксиво сказал Женька, отпихивая локтем своего дядю.

— Ну? — с удивлением произнес Гаврик и, подняв Женьку за плечи, дал ему слегка коленкой под зад.

Он не торопясь обошел вокруг змея и, не притрагиваясь к нему, долго рассматривал все его крепления и стропы.

— Так. Теперь понятно, — сказал он наконец и строго посмотрел на Женьку. — Ты видишь, где у него центр тяжести, чудак?

— А где? — спросил Женька.

— Тоже мне авиатор Уточкин! — не унижаясь до объяснений, сказал Гаврик.

Он еще раз прицелился острым глазом, наклонился над змеем, перевязал какую-то бечевочку, передвинул какое-то алюминиевое колечко и сказал:

— Вот теперь другое дело. Давай им покажем! — мигнул он Пете.

Петя и Мотя взяли змей за края и подняли его высоко над головой. Гаврик подобрал уток шпагата, валявшийся среди сухих им-мортелей, крикнул: «Пускаю!» — и побежал против ветра.

Змей выскользнул из рук Пети и Моти, круто взмыл, но на этот раз не закружился и не упал, а легко повис в воздухе и красиво поплыл вслед за бегущим Гавриком. Петя и Мотя стояли с одинаково поднятыми руками, протянутыми к змею, как бы умоляя его не

улетать. Но он улетал, натягивая шпагат и плавно забираясь вверх.

Гаврик остановился, и змей тоже остановился почти над самой его головой.

— Ага! Ну то-то! — сказал Гаврик и погрозил змею.

Он стал осторожно подергивать указательным пальцем натянутый струной шпагат, и змей тоже стал подергиваться, как рыба, попавшая на крючок.

Тогда Гаврик, ловко вертя утбк вперед и назад, начал понемножку отпускать соскальзывающий с камышинки и толчками уходящий вверх шпагат.

Змей послушно поднимался все выше и выше, ловя ветер и повторяя челночные движения утка в руках Гаврика, но только более широко и плавно. Теперь, для того чтобы смотреть на змей, надо было сильно задирать голову. А он, заметно уменьшаясь, желтый, стройный, насквозь пронизанный лучами солнца, плыл в густосинем августовском небе, каждой своей плоскостью ловя свежий морской ветер.

Напрасно Женька бегал вокруг дяди Гаврика и канючил, чтобы он дал ему подержать шпагат.

— Отстань, малявка! — говорил Гаврик, следя прищуренными глазами за подъемом змея.

И лишь когда весь шпагат, плотно уложенный на палочке длинными восьмерками, разматался, Гаврик в последний раз подергал змей, как бы желая убедиться, крепко ли он привязан, и отдал палочку Женьке:

— Держи крепко, а то отпустишь — тогда не поймашь.

Потом Мотя сбежала домой за бумагой, и стали «посылать письма». Было что-то волшебное в том, как клочок газетной бумаги с дырочкой посередине, нанизанный на палочку, вдруг начинал нерешительно ползти вверх по провисшему шпагату, иногда останавливаясь, как бы за что-то зацепившись. Чем ближе к змею, тем быстрее карабкалось «письмо» и наконец стремительно несло, приликая к нему, как намагниченное, а снизу его уж догоняло другое, третье, и Пете представлялось, что это какие-то его письма, полные любви и жалоб, одно за другим бегут вверх, в сияющую пустоту, в... Лонжюмо.

Но вдруг камышинка выскользнула из Женькиных пальцев. Змей почувствовал себя на свободе и прыгнул, увлекаемый ветром, вверх, унося с собой длинную гирлянду писем. Все долго бежали, перепрыгивая через канавы и перелезая через заборы, за

улетевшим змеем и наконец нашли его за городом, в степи, среди густых зарослей се-ребристой полыни.

А когда вернулись домой, на Ближние Мельницы, то был уже вечер, большая луна еще светила слабо, но от заборов и деревьев уже тянулись легкие пепельные тени, пахло «ночной красавицей», и в густой темноте разросшихся за лето палисадников таинственно кружили и трепетали серые ночные бабочки.

Возле дома Петя увидел несколько человек, выходящих из калитки. Среди них он узнал дядю Федю, того самого матроса из швальни Сабанских казарм, который шил ему фланельку. Но матрос, видимо, его не узнал в потемках.

Петя заметил также девушку в городской кофточке и шляпке и пожилого человека в тужурке и сапогах, с железнодорожным фонарем в руке — повидимому, кондуктора или машиниста. Петя услышал обрывки разговора.

— Левицкий пишет в «Нашей заре», что неудача революции пятого года была обусловлена отсутствием оформленной буржуазной власти, — сказал молодой женский голос.

— Ваш Левицкий самый обыкновенный либерал, только прикидывается марксистом. Почитайте-ка в «Звезде» статью Ильича — вам это будет полезно, — проворчал мужской голос.

— Предлагаю воздерживаться от дискуссии на улице. Будете доругиваться в следующее воскресенье, — сказал третий голос.

Послышался сдержанный смех, и фигуры скрылись в тени.

— Что это у вас за гости? — спросил Петя и сейчас же почувствовал, что спрашивать об этом не следует.

— Да так, — ответил Гаврик неохотно. — Вроде воскресной школы. — И, желая переменить разговор, сказал: — А я, брат, четырнадцатого августа буду сдавать экстерном за три класса. Уже все прошел. Только ты меня еще малость погоняй по латинскому.

— Это можно, — сказал Петя.

Черноиваненки ни за что не соглашались отпустить Петю без ужина. Терентий поставил на стол под шелковицей свечу в стеклянном колпаке, на которую тотчас налетела туча мотыльков. Жена Терентия, мывшая чайную посуду после гостей, вытерла руки фартуком и подошла к Пете. Она из семей-

ства Черноиваненко изменилась меньше всего и, здороваясь с мальчиком, неловко подавала ему руку по-крестьянски, дощечкой.

Мотя вынесла из погреба большое блюдо, накрытое суровым полотенцем, и застенчиво сказала:

— Может быть, вы, Петя, покушаете наших вареников со сливами?

После ужина Петя отправился домой, и Гаврик проводил его почти до самого вокзала. Ночь была еще по-летнему тепла, из-за темных деревьев выглядывала желтая луна с подтаявшим краем, повсюду хрустальным хором звенели сверчки, на окраинах подеревенски лаяли собаки, кое-где играли граммофоны, и Петя чувствовал приятное утомление от этого длинного праздничного дня, который незаметно открыл для него много такого, о чем он до сих пор только догадывался.

За этот один день Петя как бы душевно возмужал и вырос на несколько лет. Может быть, именно в этот день он из мальчика окончательно превратился в юношу.

Теперь он уже не сомневался, что именно на Ближних Мельницах, в мазанке Терентия, отчасти и происходит то, что называется «революционное движение».

## XXXV

### ЕДИНИЦА

Пятнадцатого августа начался учебный год, а за несколько дней до этого Василий Петрович отправился в училище Файга на переэкзаменовки. Он вернулся домой к обеду в превосходном настроении, так как господин Файг принял его более чем любезно, лично водил по своему учебному заведению, показывал гимнастический зал и физический кабинет, оборудованные самыми лучшими, новейшими заграничными приборами и аппаратами, и наконец подвез Василия Петровича до дому в собственной карете, так что вся улица видела, как Василий Петрович, в своем сюртучке, с тетрадками подмышкой, не совсем ловко выпрыгнул из кареты и раскланялся с господином Файгом, который лишь показал в окошко крашенные бакенбарды и дружески помахал рукой в шведской перчатке.

За обедом Василий Петрович был в ударе и не без юмора рассказал несколько анекдотов, характеризующих быт и нравы училища

Файга, где некоторые ученики, сынки богатых родителей, засиживаются в каждом классе по два, по три года, успевают за время пребывания в этом богоспасаемом учебном заведении отрастить усы, жениться, завести детей; даже бывали случаи, когда фэйгист отправлялся в училище с собственным сыном, только папаша — в шестой класс, а сынок — в первый.

— «Сэ нон э веро э бен тровато!» — язвительно смеясь, восклицал Василий Петрович, что значило по-русски: хогь и неправда, но хорошо придумано.

Но тетя, видимо, не разделяла настроения Василия Петровича; она все время сомнительно покачивала головой, приговаривая:

— Ну, ну... не представляю себе, как вы там уживетесь.

Вечером, исправляя письменные работы, Василий Петрович раздраженно фыркал, и мальчики слышали, как он один раз даже сказал вполголоса: «Нет, это чорт знает что! Подобное безобразию надо решительно прекратить», — и бросил карандаш.

Из десяти фэйгистов, имевших переэкзаменовки по русскому, Василий Петрович зарезал семь, и хотя господин Файг на педагогическом совете не возражал, но сделал оскорбленно-огорченное лицо, и на этот раз Василий Петрович вернулся домой уже не в карете, а на конке и настроение у него было уже не такое веселое.

В конце первой четверти стало известно, что в училище Файга скоро будет поступать некто Ближенский, сын суконщика-миллионера, молодой человек, безуспешно учившийся ранее во многих гимназиях Санкт-Петербурга, затем в некоторых московских, харьковских и, наконец, в «коллегии Павла Галагана» в Киеве, знаменитой тем, что туда принимают самых плохих учеников Российской империи, даже иногда с волчьим билетом.

Как это ни странно, но из «коллегии Павла Галагана» молодого человека тоже выгнали. Теперь ему предстояло держать в пятый класс училища Файга. Хотя вступительные экзамены среди года были категорически запрещены, но для сына миллионера Ближенского каким-то образом добились исключения.

Накануне экзамена, встретившись с Василием Петровичем в актовом зале перед утренней молитвой, господин Файг взял его под руку и немножко погулял с ним по коридору, развивая некоторые свои мысли отно-

сительно новейших западноевропейских течений в области педагогики, и закончил так:

— Я уважаю вашу строгость. Если хотите, она мне даже нравится. Я сам строг, но справедлив. И я умею быть принципиальным. Вы мне недавно зарезали на переэкзаменовке семь человек, а я разве сказал вам хотя бы одно слово упрёка? Но, уважаемый Василий Петрович, будем говорить откровенно... — Он вынул из жилетного кармана очень плоские золотые часы без крышки и посмотрел на них одним глазом. — Иногда педагогическая строгость может привести к обратным результатам. Будучи уволен из стен учебного заведения, молодой человек, вместо того чтобы получить образование и сделаться полезным членом нашего молодого конституционного общества, может вдруг поступить на службу куда-нибудь в полицию, сделаться — антр ну суа ди — каким-нибудь сыщиком, агентом охраны, наконец попасть под влияние черносотенцев. Я думаю, вам как толстовцу и... гм... если хотите, революционеру, это будет крайне неприятно.

— Я не толстовец и тем более не революционер, — с мягким раздражением сказал Василий Петрович.

— Я же об этом не кричу громко. Положитесь на мою скромность. Но ведь в городе все знают, что вы разошлись с правительством и даже, так сказать, немного пострадали. Василий Петрович, вы — красный, и больше об этом ни слова. Молчание! Но мне будет очень обидно и, не скрою от вас, даже больно, если молодой человек срежется на вступительном экзамене. Это единственный наследник миллионного состояния, и... и он уже пережил так много горя. Одним словом, я вас очень прошу, — со всевозможной мягкостью в голосе сказал господин Файг: — не причиняйте мне больше неприятностей. Будьте строги, но снисходительны. Этого требуют интересы нашего учебного заведения, которые, я надеюсь, вам так же дороги, как и мне. Словом, вы меня понимаете.

И на этот раз после уроков Василий Петрович снова вернулся домой в карете господина Файга.

Несколько дней у Василия Петровича было такое чувство, как будто бы он поел несвежей рыбы.

«Чорт с ним! — наконец решил он. — Поставлю этому подлецу тройку. Видно, плетью обуха не перешибешь».

Но когда через несколько дней состоялся экзамен и Василий Петрович увидел «этого подлеца» сидящим за отдельным столиком

посреди актового зала перед целым ареопогом преподавателей — экзамен должен был происходить сразу по всем предметам и самым сокращенным образом, — то кровь ударила ему в голову.

Молодой человек, лет двадцати, был в парадном мундире «коллегии Павла Галагана», и твердый, высокий воротник так сильно подпирал его напудренные щеки и так сжимал горло, что он был похож на удушенника. У него был высоко подбрит затылок с лиловыми прыщами, а краснокаштановые волосы, через всю голову туго причесанные на прямой пробор, были так сильно смазаны бриолином, что вся его плоская, змеиная головка казалась зеркальной. Василий Петрович не переносил людей, которые помадятся, а запах бриолина или фиксатуара вызывал у него тошноту. Но больше всего его возмутило новомодное золотое пенсне с пружинкой, которое как-то ни к селу ни к городу сидело на вульгарном носу молодого человека, придавая его маленьким свиным глазкам откровенно наглое выражение.

«Вот болван!» — раздраженно подумал Василий Петрович, вздернул бороду и застегнул сюртук на все пуговицы.

Отвечая стоя на вопросы экзаминаторов, молодой человек учтиво отставлял свой дамский зад, туго обтянутый мундирчиком.

Когда очередь дошла до Василия Петровича, он равнодушным голосом задал несколько довольно простых вопросов и, получив на них ответы, вызвавшие у господина Файга грустную улыбку, дрожащими пальцами потянул к себе экзаменационный лист, поставил единицу цифрой, а в скобках прописью и нервно расчеркнулся. Экзамен кончился при гробовом молчании. Вернувшись домой на конке, Василий Петрович снял воротничок, который его давил, сюртук, ботинки, отказался от обеда и лег на кровать лицом к обоям. Ни тетя, ни мальчики ни о чем его не спрашивали, но все понимали, что произошло нечто весьма неприятное. Вечером раздался звонок, и Петя, открывший дверь, увидел старика в длинной распахнутой бобровой шубе, а рядом с ним молодого человека в золотом пенсне и шегольской форменной фуражке «коллегии Павла Галагана».

— Василий Петрович дома? — сказал старик и, не дожидаясь ответа, прямо в шубе и шапке быстро пошел в столовую, показал тростью с пожелтевшим костяным набалдашником на полуоткрытую дверь и спросил: — Туда, что ли?

Василий Петрович едва успел надеть сюртук и ботинки.

— Я Ближенский. Здравствуйте! — сказал старик с одышкой. — Вы сегодня поставили моему идиоту кол, и я с вами вполне согласен. Я бы ему еще на вашем месте хорошенько надавал по морде!.. Иди сюда, подлец! — сказал старик, оборачиваясь назад.

Из-за его спины выступил молодой человек, двумя руками снял фуражку и опустил зеркальную голову.

— На колени! — загремел старик, стуча тростью. — Целуй Василию Петровичу руку!

На колени молодой человек не стал и руку не поцеловал, но всхлипнул и довольно громко заплакал, вытирая платком покрасневший нос.

— Он раскаивается, он больше не будет, — сказал старик. — Теперь вы ему будете давать два раза в неделю частные уроки на дому, и он подтянется. А что касается приемных испытаний, то мы сделаем таким образом... — Старик порывлся в сюртуке, на лацкане которого Василий Петрович заметил серебряный значок союза Михаила Архангела с трехцветной ленточкой, вынул бланк нового экзаменационного листа и протянул его Василию Петровичу: — Здесь вы поставьте этому ослу тройку, а старый экзаменационный лист мы, с божьей помощью, похерим. Файг и его педагогический совет согласны.

Затем старик вынул бумажник и положил на стол два «Петра», то-есть две пятисотрублевые бумажки с водяным изображением преобразователя России.

— Что вы! Что вы! — растерянно заговорил Василий Петрович и слабо махнул руками, искоса поглядывая через пенсне на деньги.

Но вдруг до его сознания дошло все удивительное безобразие того, что происходит. Он так побледнел, что даже его уши стали белыми. Он затрясся весь с ног до головы, и Пете показалось, что он тут же, на месте, сию минуту умрет от разрыва сердца.

Затем он весь побагровел, затрясся, замычал, как немой.

— Милостивый государь, вы хам! — закричал он во все горло, топя штиблетами и плача. — Чтoб духу вашего здесь не было!.. Как вы смеете... В моем доме... Вон! Сию же секунду вон!

Старик сначала так испугался, что даже несколько раз мелко перекрестился, а потом

рысью побежал через столовую в переднюю, опрокинув по дороге непрочную этажерку с нотами. А Василий Петрович бежал за ним, неумело толкая его в спину и стараясь во что бы то ни стало попасть дрожащим кулаком в шею, в то время как Петя хватал отца за сюртук, приговаривая:

— Папочка, умоляю тебя! Папочка, умоляю тебя всеми святыми!..

В общем, это была безобразная сцена, которая кончилась тем, что старик и молодой человек стремительно неслись вниз по лестнице, а Василий Петрович с верхней площадки вдогонку им бросал пятисотрублевые бумажки, не хотевшие падать и носившиеся в лестничной клетке от стенки к стенке.

Потом оба Ближенских — отец и сын, — подобрав деньги, стояли внизу и смотрели вверх, причем старик совершенно бессмысленно кричал:

— Жиды пархатые! — и грозил Василию Петровичу тростью с костяным набалдашником.

На другой день рассыльный принес Василию Петровичу письмо от господина Файга. Это был длинный элегантный конверт из бристольского картона с вытисненным на нем фантастическим гербом. В учтивых выражениях Василию Петровичу сообщалось, что, ввиду расхождения с ним во взглядах на воспитание, его дальнейшее пребывание в училище является бесполезным. Письмо почему-то было написано по-французски, и стояла подпись: «Барон Файг».

Хотя для семейства Бачей это был страшный удар, но в первый момент Василий Петрович отнесся к нему совершенно спокойно. Он не мог ожидать ничего другого.

— Ну что ж, Татьяна Ивановна, — сказал он, хрустя пальцами, — повидимому, моя педагогическая деятельность... — он иронически усмехнулся, — повидимому, моя педагогическая деятельность кончена и придется искать другую профессию.

— Почему же? — сказала тетя. — Вы можете давать частные уроки.

— Этим скотам? — закричал Василий Петрович и даже взвизгнул. — Никогда! Я лучше пойду в порт таскать мешки!

Несмотря на всю серьезность минуты, тетя не могла удержаться от слабой, грустной улыбки. Василий Петрович вскочил, как ужаленный, и забегал по комнате.

— Да, да! — возбужденно говорил он. — Не вижу в этом ничего позорного и смешного. Подавляющее большинство населения Российской империи занимается физическим



трудом. Почему я должен быть исключением?

— Но ведь вы интеллигентный человек!

— Интеллигентный? — с горечью сказал Василий Петрович. — Интеллигентный — да. Не спорю. Но только не человек, а раб.

— Что вы говорите! — всплеснула руками тетя.

— То, что вы слышите. Раб. Это самое настоящее слово. Я был сначала рабом министерства народного просвещения в лице попечителя учебного округа Смольянинова, и он меня выгнал, как собаку, потому что я разрешил себе иметь личное мнение о Толстом. Потом я стал рабом Файга, выкреста и пошляка, и он меня тоже выгнал, как собаку, так как мне не позволила совесть поставить тройку стоеросовой дубине и болвану Ближенскому только потому, что он, изволите видеть, сын миллионера. Плевать я хотел и на Смольянинова и на Файга, а вместе с ними и вообще на все русское правительство! — вдруг, неожиданно для самого себя, крикнул Василий Петрович и сам испугался того, что сказал. Но он уже не мог остановиться. — И уж если в России нельзя не быть чьим-нибудь рабом, — продолжал он, — так лучше я буду рабом самым обыкновенным, а не интеллигентным. По крайней мере, я сохраню свою живую душу... Господи боже мой, — вдруг сказал он со слезами на глазах и посмотрел на икону, — какое счастье, что милосердный бог взял к себе покойную Женю и она не должна испытывать вместе со мною всех этих унижений! Я не знаю, как бы она перенесла, что ее мужу осталось в жизни одно — таскать в порту мешки.

— Дались вам эти мешки! — вытирая слезы, сказала тетя.

— Да, да, именно мешки! — вызывающе повторил Василий Петрович.

Была уже ночь. Павлик спал, тяжело вздыхая во сне. Петя не спал и прислушивался к голосам из столовой. Он живо представил себе, как отец, почему-то без пальто и шапки, в одном сюртуке и старых ботинках, идет по знаменитой лестнице в порт и там начинает таскать тяжелые джутовые мешки с копррой. Картина получалась фальшивая, неправдоподобная. Петя сам не верил в ее возможность, но все же ему было так в эту минуту жаль отца, что он готов был заплакать, броситься к нему, прижаться и сказать: «Ничего, папочка, мужайся! Я тоже буду с тобой таскать мешки, мы не пропадем!»

## НОВАЯ ИДЕЯ ТЕТИ

Разумеется, грузить мешки Василий Петрович не пошел, и хотя положение продолжало оставаться ужасным, даже трагическим, время текло своим чередом и жизнь семейства Бачей с внешней стороны ни в чем не изменилась, кроме того, что Василий Петрович теперь большую часть времени сидел дома и старался никуда не выходить.

Нищета подкрадывалась так незаметно, что в семействе Бачей даже наступило некоторое успокоение. Что же касается общества, то-есть друзей, знакомых и соседей, то на этот раз история с Файгом прошла как-то незаметно — вернее, молчаливо составилось общее мнение: если Василий Петрович дважды в течение года поссорился с разным начальством, значит он человек вообще неуживчивый, вздорный и пускай пеняет сам на себя.

Равнодушие общества к судьбе Василия Петровича было тем более понятно, что как раз в это время в Киеве произошло убийство Столыпина, всколыхнувшее всю Российскую империю. В одних оно вселило ужас, в других возбудило какие-то смутные, весьма неопределенные надежды. В течение месяца все только и говорили, что о «выстреле Багрова», и были уверены, что в воздухе снова запахло «революцией», хотя и знали, что Столыпина застрелил свой же охранник и вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к революции.

— Все-таки, Василий Петрович, что-то надо предпринимать, — сказала однажды тетя решительно. — Дальше так продолжаться не может.

— Что же вы предлагаете? — устало сказал Василий Петрович.

— У меня есть один план, только не знаю, как вы на него посмотрите. Дело в том, что возле дачи Ковалевского есть небольшой прелестный хуторок... — вкрадчиво начала тетя.

— Ни за что! — решительно крикнул Василий Петрович.

— Подождите, — мягко продолжала тетя. — Вы мне даже не даете договорить.

— Ни за что! — еще более решительно отрезал отец.

— Но позвольте...

— Ах, боже мой, — раздраженно поморщился Василий Петрович, — я знаю все, что вы мне скажете!

— Нет, вы не знаете.

— Знаю. Но это все чепуха на постном масле. А вы просто фантазерка. И не будем больше об этом говорить. Наконец, где мы возьмем деньги? — прибавил Василий Петрович уже не так решительно.

— Денег почти не надо. Может быть, самую малость.

— Ни за что! — отрезал Василий Петрович.

— Но почему же?

— Потому что я принципиально не признаю собственности на землю, и вы меня никогда не заставите быть собственником. Земля принадлежит богу. Да, богу и народу, который ее обрабатывает. И я не желаю. Вот вам весь мой сказ! И вообще все это одни беспочвенные фантазии.

Тетя терпеливо подождала, пока Василий Петрович выговорится, а потом кротко сказала:

— Я вас выслушала, а теперь выслушайте меня. В конце концов, это неучтиво — перебивать человека на полуслове.

— Сделайте одолжение, говорите все, что вам угодно, а собственником я никогда не буду и не желаю. И вот весь мой сказ!

— Во-первых, собственником быть необязательно. Мадам Васютинская согласна отдать хуторок в аренду. Во-вторых, мы ей можем сначала заплатить не более того, что мы вообще платим в городе за квартиру, а остальные деньги будем вносить по мере реализации урожая.

Услышав эти столь дикие в устах тети слова — «по мере реализации урожая», Василий Петрович снова вскипел:

— Ах, вот как! Что ж это, позвольте вас спросить, за реализация и что это за урожай такой?

— Вишни, черешни, груши, яблоки, виноград, — сказала тетя.

— Так это что же... значит, вы предлагаете мне торговать фруктами?

— Почему бы и нет?

— Ну, знаете... — не находя слов, сказал Василий Петрович и развел руками.

— Мы можем получить большую выгоду, и дела наши сразу поправятся, — не обращая внимания на нетерпеливые жесты Василия Петровича, сказала тетя.

— Так почему же, в таком случае, чорт возьми, эта ваша мадам Васютинская не желает пользоваться сама всеми этими выгодами?

— Потому что она старая, одинокая дама, и она уезжает за границу.

Василий Петрович фыркнул:

— Старая, одинокая дама-бездельница уезжает за границу и хочет повесить нам на шею все свои заботы, не так ли?

— Как вам угодно, — сухо сказала тетя, не отвечая на последний вопрос. — Я думала, что вам понравится моя идея нанять прелестный хуторок недалеко от города, в степи, рядом с морем, обрабатывать землю и, так сказать, кормиться своими руками и быть, по крайней мере, независимыми. Это вполне в вашем духе. Но если вы не хотите...

— Не хочу! — упрямо сказал Василий Петрович, и тетя прекратила дальнейший разговор.

Она достаточно хорошо изучила характер своего бобрера, для того чтобы не понять, что на сегодня хватит. Пусть он придет в себя и немножко подумает один.

— Все-таки вы большая фантазерка, — сказал через несколько дней Василий Петрович. — Я заметил, что вас всегда увлекают ложные идеи: сдавать внаем комнаты, отпустить дешевые домашние обеды и... и так далее. И всегда из этого ничего не получается.

— А теперь получится, — спокойно сказала тетя.

— Все это ваши фантазии, — сказал Василий Петрович.

Тетя не отвечала, и разговор сам собой прекратился.

Прошло еще несколько дней, и Василий Петрович сказал:

— Наивно думать, что у нас хватит физических сил, чтобы поднять такое хозяйство.

— Хозяйство совсем не большое, — сказала тетя, — всего пять десятин. — И прибавила с тонкой улыбкой: — Во всяком случае, я думаю, это нисколько не труднее, чем таскать в порту мешки.

— Не остроумно, — сказал Василий Петрович, слегка краснея.

Разговор опять прекратился, но теперь тетя наверное уже знала, что Василий Петрович скоро сдастся. Она не ошиблась.

Тетина идея постепенно и незаметно овладела воображением Василия Петровича. В конце концов, идея была вовсе не так наивна, в ней было много здравого смысла. Больше того: она втайне очень нравилась Василию Петровичу, так как отвечала его взглядам на жизнь, постепенно сложившимся за последнее время, особенно после Швейцарии. Эти взгляды были весьма неопределенные, туманные: странная смесь Жан-Жака Руссо и народничества, хождения в народ и натурального воспитания. Он представлял себе

какую-то чистую, патриархальную жизнь на лоне природы, независимую от государства. Маленький, цветущий клочок земли, возделанный собственными руками семьи, без применения наемного труда. Нечто швейцарское, кантональное...

Сейчас его мечта, казалось, близка к осуществлению. Было все — и маленький клочок земли, и фруктовый сад, и даже виноградник, что особенно усиливало сходство с южной Швейцарией. Правда, не было гор, но зато было море, купанье, рыбная ловля. А главное — личная свобода и независимость от государства. Какое прекрасное воспитание детей!

В конце концов Василий Петрович окончательно загорелся и попросил у тети, чтобы она рассказала ему все подробно. Она принесла из своей комнаты план усадьбы. Оказывается, она уже довольно сильно подвинулась в переговорах с мадам Васютинской. На усадьбе были пятикомнатный господский дом с отдельной кухней, конюшня, людская, цистерна для дождевой воды и сарай, где, как сообщила тетя, стоял виноградный пресс.

— О, да это не хуторок, а целая усадьба! — весело сказал отец.

Потом они начали считать фруктовые деревья и виноградные кусты, обозначенные кружочками. Выходило, что за год не только окупится вся арендная плата, но еще останется достаточно денег на жизнь. Но, может быть, это только на плане? Тогда тетя предложила съездить и посмотреть своими глазами в натуре.

Они сели на маленький дачный поезд, который проходил мимо их дома, и доехали до шестнадцатой станции, откуда, пересев на конку, добрались до дачи Ковалевского. Затем они, предводительствуемые тетей, пошли пешком по степному поселку и через полторы версты очутились на хуторке.

Оказалось, что тетя уже здесь не первый раз. Она приласкала загремевшую цепью собаку и постучала в окно сторожки. Заспанный парень, единственный оставшийся работник мадам Васютинской, он же сторож, конюх и виноградарь, которого тетя назвала Гаврилой, повел семейство Бачей по усадьбе.

Все было на месте — и виноградник и фруктовый сад. Деревьев оказалось даже больше, чем предполагалось, так как целая десятина, засаженная черешнями сравнительно недавно, не успела попасть в план.

Все было в очень хорошем состоянии: виноградные лозы согнуты и присыпаны землей,

а стволы яблонь закутаны соломой, чтобы их не объели полевые мыши и зайцы.

Зима стояла мягкая и не очень снежная. Бугорки земли на винограднике были чуть присыпаны снежком, который уже начинал подтаивать с солнечной стороны. Но возле господского дома, где росло несколько очень густых черно-зеленых и голубых елок, по цветникам и клумбам намело большие сугробы, залитые червонным золотом зимнего предвечернего солнца. Яркие синие тени решетчатых садовых скамеек и кустов длинно, волнисто тянулись через эти сугробы. Стекла в доме тоже блестели золотой фольгой. А все вместе это было похоже на те зимние пейзажи, которые Петя каждый год видел на весенних выставках южнорусских художников, куда тетя водила мальчиков, желая им привить вкус к прекрасному.

Гаврила со звоном отворил стеклянную дверь дома, и семейство Бачей походило по пустым, нетопленным комнатам, искося освещенным низким морозным солнцем.

А вокруг лежала мертвая белоснежная степь с заячьими следами, и в одном месте, за степью, виднелась башня Ковалевского и полоса тихого зимнего моря.

Потом, осмотрев дом и службы, еще раз обошли фруктовый сад. Заметив, что одну яблоню, плохо укрытую соломой, обглодали зайцы, Василий Петрович вдруг остановился и, строго посмотрев на Гаврилу, сказал:

— Э, милый, этак не годится! Этак зайцы нам съедят весь урожай.

## XXXVII

### СТАРУХА

На другой же день начались окончательные переговоры с мадам Васютинской, а также поиски денег на первый взнос и на первое обзаведение.

Петя впервые узнал, что деньги можно не только зарабатывать, а еще и как-то «доставать». Доставать деньги оказалось крайне сложно, хлопотливо, а главное, унижительно. Отец стал часто отлучаться из дому, но теперь это уже не называлось, что Василий Петрович поехал на уроки или пошел на заседание педагогического совета, а говорилось, что он «побежал в город».

В разговорах между папой и тетей появились новые слова, которых раньше Петя не слышал: общество взаимного кредита, крат-

косрочная ссуда, ломбард, векселя, шесть процентов годовых, вторая закладная.

Часто, несколько раз сбегав в город, Василий Петрович, взволнованный, возвращался домой и, отказавшись от обеда, снимал сюртук и ложился на кровать лицом к стене. Из комода появился на свет божий тот самый таинственный выигрышный билет второго займа — приданое покойной мамы, — о котором Петя до сих пор только слышал, и то не чаще одного раза в год, когда Василий Петрович, перекрестившись, разворачивал «Одесский листок», для того чтобы посмотреть, не выиграл ли этот билет двести тысяч.

Наконец однажды, возвратившись из гимназии, Петя и Павлик не увидели в столовой пианино — тоже приданого покойной мамы.

На том месте, где оно стояло, краска на полу была совсем свежая, и комната показалась Пете такой оголенной, осиротевшей, что он едва не заплакал.

Затем с пальцев тети исчезли кольца.

И вот наконец наступил день — воскресенье, — когда тетя дрожащими руками положила в ридикюль довольно толстую пачку кредитных билетов, векселей и каких-то нотариально заверенных расписок, надела шляпку, перчатки и парадную ретонду на беличьем меху, доставшуюся ей от покойной сестры, и сказала бодрым голосом:

— Василий Петрович, я иду!

— Идите! — глухо ответил из-за двери Василий Петрович.

— Пойдем, Петя, — решительно сказала тетя.

Мальчик должен был сопровождать тетю, чтобы не ограбили по дороге.

Тетя крепко прижимала к груди ридикюль со всем их состоянием, а Петя сурово шагал сзади, оглядываясь по сторонам. Но вокруг ничего подозрительного не замечалось. Был великий пост, с похоронным унынием над городом звонили колокола, и на встречу им попадались главным образом старушки в темных платках, возвращавшиеся от обедни с вязками копеечных монастырских бубликов, хотя и пухлых, но даже на вид кислых.

Мадам Васютинская жила недалеко, в глухом приморском переулке, в нештукатуренном особнячке из почерневшего от времени ракушечника.

Петя увидел большую старуху в трауре, глубоко сидевшую в старинном кресле. Хотя и было известно, что «мадам Васютинская разбита параличом и сидит дома без ног», это оказалось неправдой. Петя увидел ноги в

меховых туфлях, поставленных на мягкую скамеечку. Комната была маленькая, очень жарко натопленная, с кафельной печью с медным отдушником, вся заставленная старинной мебелью красного дерева. В углу сияла синими и алыми огоньками лампад громадная божница с иконами, увешанная множеством больших и маленьких — хрустальных, фарфоровых, золотых — пасхальных писанок на старых шелковых лентах. За окном виднелись кусты сирени и стаи воробьев, которые шумели и ссорились среди серых, голых веток с уже заметно набухшими почками.

Перед старухой находился лаковый столик с кофейным прибором, круглой лубяной коробкой шоколадной халвы фабрики Дуварджоглу и серебряной сухарницей с монастырскими бубликами. Пахло горячим кофе и папиросами, которые курила мадам Васютинская. Кивнув Пете массивной головой в черной вязаной наколке и немножко поговорив с тетей о погоде и политике, мадам Васютинская позвонила в серебряный колокольчик, и тотчас из соседней комнаты, откуда все время слышались утомительно сухие трели нескольких канареек, явился пожилой лакей во фраке и домашних туфлях на разбитых ногах и поставил на столик перед своей госпожой старинную шкатулку палисандрового дерева с инкрустациями.

Немного волнуясь и почему-то краснея, тетя вынула из ридикюля деньги и векселя и подала старухе. Старуха, не считая, положила их в шкатулку и подала тете сложенную вчетверо бумагу со множеством разноцветных гербовых марок — контракт на аренду хуторка, причем Петя заметил, что внутренность шкатулки была обита розовым стеганным атласом, как свадебная карета.

Когда старуха запирала шкатулку маленьким ключиком, висевшим у нее на шее, то замок звонко, мелодично шелкнул, и Петя почувствовал мгновенный ужас.

После того как тетя тщательно спрятала контракт в ридикюль, а пожилой лакей, неслышно шаркая разбитыми ногами, унес шкатулку, мадам Васютинская с одышкой налила из медного кофейника три чашки кофе.

— Какая прелесть! — сказала тетя, беря в руку синюю чашку, смугло блестящую внутри потертым золотом. — Это Гарднер?

— Старый Попов, — баритоном сказала старуха, выпуская из волосатых ноздрей голубой дым асмоловского табака.

— Ах, мне показалось, что это Гарднер, — сказала тетя и, подняв на нос вуалет-

ку, стала прихлебывать кофе маленькими, жеманными глотками.

Потом старуха положила на блюдечко шоколадной халвы и протянула Пете.

— Нет, это старый Попов, — сказала она, поворачивая отечное лицо к тете. — Свадебный подарок моего покойного мужа. Это был человек с большим вкусом. У нас было имение в Черниговской губернии, полторы тысячи десятин, но после того, как в пятом году мужики сожгли наш дом и убили мужа, я продала землю и переехала сюда. Впрочем, вы это, кажется, знаете. До убийства Столыпина, — продолжала она все тем же монотонным баритоном с одышкой, — у меня еще оставались иллюзии. Но сейчас их у меня уже больше нет. России нужна сильная власть, и покойный Петр Аркадьевич Столыпин, царство ему небесное, был последним настоящим столбовым дворянином и администратором, который еще мог спасти империю от революции. Вот именно поэтому они его и кокнули. А наш государь — прости меня бог! — никуда не годится. Тряпка... Ты меня не слушай, — строго обратилась она к Пете, — это тебе еще знать не полагается. Ешь халву... Я вам скажу, — посмотрела она на тетю воловьими глазами и понизила голос: — он не помазанник божий, а просто трус. Вместо того чтобы вешать и расстреливать этих субъектов, он струсил. Разве человек в здравом уме и твердой памяти мог дать России конституцию и позволить устроить эту позорную всероссийскую говорильню в Таврическом дворце, где всякие еврейчики облаивают помоями правительство и открыто призывают к революции!

Тут она неожиданно так сильно взвизгнула, что на некоторое время в соседней комнате замолчали канарейки.

— И они добьются! Вот попомните мое слово — революция будет, и даже очень скоро, и тогда всех порядочных людей эти мерзавцы повесят на первых попавшихся фонарях. А я не такая дура, чтобы этого дожидаться. Хватит с меня черниговского имения. Как вам всем угодно, а я уезжаю за границу. Уезжаю и проклиная любезное отечество со всеми его социал-демократиями, фракциями, резолюциями, стачками, маевками и пролетариями всех стран соединяйтесь! Забирайте мою землю и хозяйничайте на ней как хотите, если, конечно, грядущий хам вам это позволит!

Теперь она уже не говорила, а кричала во весь голос, и Петя с тяжелым чувством стра-

ха и отвращения смотрел на ее глаза, бегающие, как у сумасшедшей.

— Извините, — вдруг сказала она своим обыкновенным голосом. — Второй взнос по векселю потрудитесь сделать моему нотариусу, он перешлет мне за границу.

Тетя стала быстро собираться, поспешно натягивая перчатки и поправляя шляпку. Мадам Васютинская не удерживала. Когда они выходили на улицу, то увидели в палисаднике открытые проветривающиеся сундуки и шубы, развешанные на веревках. Повидимому, мадам Васютинская действительно готовилась к отъезду.

## XXXVIII

### ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Скоро семейство Бачей переселилось на хуторок. Но это произошло не сразу. Сначала переехал Василий Петрович, чтобы еще до наступления весны вступить во владение хозяйством и привести его в порядок.

Тетя вместе с мальчиками должна была еще некоторое время оставаться в городе, чтобы передать кому-нибудь квартиру и сдать на хранение мебель.

Мальчики продолжали попрежнему ходить в гимназию, так как за их право ученья успели заплатить в начале учебного года; что будет дальше — зависело от того, насколько успешно пойдет хозяйство.

Снова стал захаживать Гаврик. Осенью он выдержал экстерном за три класса, и теперь Петя готовил его к экзаменам за шесть классов, уже не отказываясь получать по полтиннику за урок.

Гаврик продолжал работать в типографии «Одесского листка». Теперь он был не рассыльным, а учеником-наборщиком и недурно зарабатывал.

Иногда он приходил вечером прямо с работы, распространяя вокруг себя едкий, тайный запах типографии. Он оказался очень способным учеником и уже кое в чем обогнал своего учителя. Приходя в квартиру Бачей, он уже не стеснялся, как прежде, держался свободно и однажды даже принес полфунта карамели к чаю. Вручая тете маленький кулек, перевязанный шпагатиком и прицепленный к верхней пуговице его пальто, он сказал:

— А это позвольте вам презентовать к чаю. С полочки. Раковые шейки Абрикосова. Я знаю, вы любите.

Бедка, свалившаяся на семейство Бачей, как бы еще больше сблизила Гаврика с Петей. Гаврик не только сочувствовал Пете, а, что гораздо важнее, вполне понимал его положение. Впрочем, на всю эту историю у него был свой особенный, совершенно определенный взгляд, который он свободно высказывал.

То, что Василия Петровича выгнали из училища Файга, было хотя и очень неприятно, но неизбежно, потому что лучше подохнуть с голоду, чем работать у такого паразита и хабарника. В этом Гаврик вполне одобрял Василия Петровича. А то, что за полцены загнали пианино и взяли в аренду хутор — этого он решительно не одобрял, так как не мог поверить, чтобы интеллигентное семейство смогло собственными силами обрабатывать землю.

— Да вы же в этом деле ровню ничего не понимаете, только натрете себе на руках мозоли и прогорите. Тоже мне столыпинские отрубники! — прибавил он с улыбкой.

Петя заметил, что за последнее время Гаврик любой вопрос сводил к политике.

— Да, но что же было отцу делать? — сказал он с раздражением.

— Что делал, то и делать. Учить людей наукам. Учитель должен учить.

— А если запрещают?

— Ну, брат, учить людей не запретишь.

— Каких людей? Где они?

— Нашлись бы, если поискать, — уклончиво сказал Гаврик. — Ну, давай заниматься дальше.

Иногда после занятий Петя шел немного проводить Гаврика и бывало провожал его до самых Ближних Мельниц. По дороге они много разговаривали, и Гаврик уже не был так скрытен, как раньше. Петя узнал, что в городе существует комитет Российской социал-демократической рабочей партии, состоящий из беков и меков. Беки — это большевики, а меки — меньшевики. Между ними идет размежевание. Терентий и вся его компания принадлежат к бекам.

В Праге недавно кончилась партийная конференция, где тот же самый Ульянов, он же Ленин, он же Фрей, которому через Петю посылали письмо, победил меков, и теперь есть настоящая революционная партия рабочего класса.

— А революция будет? — спросил Петя, вспомнив мадам Васютинскую, ее страшные глаза, бегающие, как у сумасшедшей.

— Все будет, — сказал Гаврик. — Дай

только соберемся с силами. Будет вам и белка, будет и свисток.

Однажды он вытащил из кармана грязный полотняный мешочек, наполненный чем-то тяжелым, и повертел перед Петиним носом.

— Видал? — сказал он подмигивая.

— Что это? Ушки? — спросил Петя с удивлением. Он никак не предполагал, что Гаврик до сих пор может заниматься подобными глупостями.

— Ага, — утвердительно сказал Гаврик. — Может, сыграем? — И глаза его лукаво сощурились.

Петя протянул руку:

— А ну, покажи.

— Не лапай, не купишь, — строго сказал Гаврик и спрятал мешочек за спину.

Петя понял, что это не ушки, а что-то совсем другое.

— Это, наверно, такие самые ушки, от которых когда-то чуть не взорвалась вся наша кухня, — сказал Петя, вспомнив, как подпрыгнули на плите кастрюли и как повисла прилипшая к потолку лапша.

— Не совсем такие, но вроде, — сказал Гаврик, которому, видимо, очень хотелось похвастаться, но он никак не мог решиться. — Еще, брат, посильнее!

— Покажи! — взмолился Петя, сгоравший от любопытства.

— Только не сейчас.

— А когда же?

— Не будь таким любопытным, — сказал Гаврик и спрятал мешочек глубоко в карман штанов.

Петя обиделся и больше уже не просил — всю дорогу молчал.

Но когда друзья дошли до депо, Гаврик завел Петю за угол; оглянувшись по сторонам, вынул мешочек и развязал его зубами. Он высыпал что-то на ладонь и поднес к глазам Пети. Это были какие-то металлические палочки — штифтики, — от которых сильно пахло типографией.

— Литеры, — таинственно сказал Гаврик.

Петя не понял.

— Типографский шрифт. Буквы.

До сих пор Петя еще никогда не видел настоящего типографского шрифта. Правда, в детстве ему однажды подарили игрушечную типографию «Победа» — жестяную плоскую коробочку, в которой помещались несколько десyatков резиновых букв и подушечка, пропитанная штемпельной краской. Вытаскивая буквы особыми железными щипчи-

ками, можно было набрать несколько слов и получить неровный лиловый отпечаток с полосками между строк. Но это было, конечно, совсем не то.

— И ты сам умеешь набирать и печатать? — спросил Петя.

— Спрашиваешь!

— И будет так же точно, как в газете?

— И будет так же точно, как в газете.

— А ну, набери что-нибудь.

— Что-нибудь набрать? — спросил Гаврик и задумался. — Ну ладно, что-нибудь наберу. Только пойдем подальше.

Они обогнули депо, пролезли под товарными вагонами, сбежали вниз с высокого железнодорожного полотна и очутились в глубоком кювете, поросшем сухим, прошлогодним бурьяном. Здесь они сели на землю, и Гаврик, вынув из кармана стальную штучку с медным зажимом, которую назвал «верстатка», довольно быстро стал складывать литеры в длинную строчку.

Потом он достал огрызок карандаша и натер буквы графитом. Он снова порывлся в своих бездонных карманах, вынул кусок чистой газетной бумаги, приложил к ней набор и постучал по ней кулаком.

— Готово! — И он протянул Пете бумажку, не выпуская ее, впрочем, из пальцев.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — прочел Петя странные слова, слабо, но четко оттиснутые на бумаге настоящими газетными буквами.

— Что это? — спросил Петя, восхищенный ловкостью и быстротой, с которой Гаврик все это проделал.

— А вот то самое, — сказал Гаврик и, разорвав бумажку на шестнадцать частей, пустил клочки по ветру. — Но имей в виду! — строго прибавил он и поднес к Петинему лицу указательный палец, пахнущий керосином.

— Можешь не сомневаться.

Гаврик вплотную подошел к Пете и, дыша ему в ухо, быстро прошептал:

— Я этого шрифта уже накрал пятнадцать мешочков.

### XXXIX

#### НА НОВОМ МЕСТЕ

В конце марта тете наконец удалось довольно выгодно передать квартиру. Теперь нужно было спешно вывозить куда-нибудь обстановку и переезжать. Посоветовавшись с Терентием, Гаврик предложил, для того что-

бы не тратиться на мебельный склад, пока что перевезти мебель к ним на Ближние Мельницы, в сарайчик, где до окончания экзаменов мог бы поселиться и Петя.

Это было очень удобно, и тетя согласилась. Сама же она вместе с Павликом решила на это время переехать к своей старой институтской подруге.

И вот в один прекрасный день во двор въехали две пароконные подводы, так называемые платформы, и из квартиры Бачей стали выносить обстановку.

Почему-то всем казалось, что мебели очень много и она никак не поместится на двух платформах. Но на поверку вышло, что на второй платформе даже еще осталось много свободного места. Обстановка, которая всегда казалась Пете дорогой и нарядной, — в особенности гостиная, обитая золотистым шелком, — когда ее вынесли из квартиры, поставили вверх ногами на платформе и обвязали грубыми канатами, вдруг потеряла свой богатый вид.

При ярком солнечном свете сразу стали видны все ее дефекты, поломки и потертости. Особенно жалкий вид имел умывальник со сломанной педалью и трещиной поперек мраморной доски. Бронзовая столовая лампа со снятым абажуром также потеряла всю свою красоту, а главная ее красота — шар с дробью, брошенный вместе со своими цепями на дно платформы отдельно от лампы, и во все казался никому не нужным, каким-то глупым, старомодным.

Но больше всего был поражен Петя видом книжного шкафа, называвшегося в семье Бачей «библиотека Василия Петровича». Теперь, когда он был без книг и лежал на боку, Петя с неприятным удивлением заметил, что он ничтожно мал, почти как игрушечный, а все книги — вместе со знаменитым энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона, историей Государства Российского Карамзина, Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Гоголем, Тургеневым, Достоевским, Некрасовым, Шеллером-Михайловым и Помяловским — представляли собой какой-нибудь десяток стопок, крепко перевязанных шпагатом. В общем, это уже была не обстановка, а просто подержанная мебель, домашние вещи.

Петя сел на козлы первой платформы рядом с возчиком — показывать дорогу. На второй, держа в руках зеркало, в котором ко-со, как-то обморочно отражалась улица, поехала кухарка Дуня с распухшим от слез носом.



Тетя, стоя рядом с Павликом возле распахнутых ворот, крестилась и зачем-то махала платочком. По дороге Петя все время боялся, что его могут увидеть знакомые гимназисты. Ему было неловко в этом признаться самому себе, но он стыдился обстановки и того, что им приходится перебираться на Ближние Мельницы, где, как известно, живут только «бедные». Ему нелегко было привыкнуть к мысли, что теперь они тоже стали бедными.

Терентия и Гаврика не было дома. Подводы встретили мать и дочь Черноиваненки. Мотя суетилась больше всех и провожала каждую вещь, которую переносили через палисадник в сарайчик, уже давно приготовленный для мебели.

— Ой, Петечка, смотрите, какие у вас красивые стулья! — говорила она с искренним восхищением, трогая шелковую обивку кресел, в некоторых местах протертую до белых ниток.

Появился Женька с ватагой местных мальчишек. Они тотчас атаковали платформу, становились босыми ногами на спицы колес, трогали руками бронзовый шар от лампы, крутили кран умывальника, а Женька даже влез на козлы, схватил вожжи и, сделав отчаянное лицо, крикнул на лошадей:

— Тпррр, проклятушие!

Но сейчас же получил по шее, и вся ватага бросилась врассыпную по немощеной улице, поднимая первую мартовскую пыль.

Когда мебель была водворена в сарайчик и платформы уехали, кухарка Дуня взвалила на плечи узел со своими вещами и иконами и отправилась пешком прямо через степь на хуторок, до которого отсюда было не так далеко.

— Ну вот, вы теперь поживете у нас на Ближних Мельницах! — сказала весело Мотя и, заметив грустное выражение Петиного лица, прибавила: — А что? Может быть, вам здесь не нравится? Так ничего подобного. Здесь очень, очень хорошо. Сейчас уже за выгоном в степи появились подснежники, а скоро в балках вырастут и фиалочки. Можно будет иногда ходить собирать букеты. Скажете, нет?

Скоро пришел из типографии Гаврик и украдкой показал Пете новый мешочек со шрифтом.

— Уже шестнадцатый, — сказал он подмигивая.

— Смотри, когда-нибудь поймаешься, — сказал Петя.

— Ну что ж, такое дело, — вздохнул Гаврик. — Ничего не поделаешь.

Но тут же резко переменял тон и бесшабашным голосом запел озорную песенку одесских окраин: «Как поймали-налатали — зец, зец, зец!»

Хотя слова этой песенки на первый взгляд и могли показаться довольно бессмысленными, но Петя всегда чувствовал в ней какое-то скрытое значение, какой-то отчаянный, боевой вызов.

Потом они устраивали в сарайчике, среди аккуратно сложенной мебели, уголок для Пети — постель, стол с лампой, полочку для книг. Так как в сарайчике оказалось довольно много свободного места, то Гаврик перетаскил сюда также и свою койку, чтобы жить вместе с Петей.

Пришел с работы Терентий. Он молча поздоровался с Петей, по-хозяйски заглянул в сарайчик; неодобрительно ворча, по-своему, более экономно, переставил мебель, подложил под книжный шкаф кирпич, чтобы он не шатался, после чего в сарайчике оказалось еще больше свободного места.

— Только вы здесь живите, братцы, аккуратно. Чтоб у меня без баловства! А то знаю я вас: курить начнете, друг другу будете мешать учить уроки... Вам теперь, — сказал он, обращаясь к Пете, — придется сильно нажимать, а то они вас порежут на экзаменах. Они вашему батке не простят Ближнего. Имейте в виду: это все одна шайка. Вот попомните мое слово! Ну да ладно...

Он снял через голову кожаную сумку с инструментом, скинул замасленную куртку и подошел к лоханке, которая стояла на табурете у забора. Мотя подала ему кусочек стирального казанского мыла с синими жилками и, став на скамеечку, стала поливать из кувшина на его большие черные руки.

Он мылился, фыркал, подставляя лицо и шею — отмывался от железной грязи и копоты. Он мылся очень долго, до тех пор, пока стал свежим и розовым, как поросенок. Затем снял с Мотиного плеча вышитое деревенское полотенце и так же долго, с видимым удовольствием вытирался.

А в это время Петя с тревогой размышлял над значением его последних слов, в справедливости которых не сомневался, так как уже давно сам чувствовал нечто весьма холодное, недоброе в выражении лиц директора и инспектора всякий раз, когда он проходил мимо них и глубоко кланялся, шаркая ботинками по плиткам гимназического коридора.

Теперь уже Петю не удивило, что Терентий так хорошо осведомлен обо всех их обстоятельствах и даже знает историю с Ближнским. В его глазах Терентий уже был не только простым мастером-слесарем железнодорожных мастерских, хотя и хорошо зарабатывающим, но все же всего лишь рабочим. Петя уже отлично понимал, что в той, другой, скрытой жизни Терентия, которая называлась «партийной работой», Терентий был не только важнее и значительнее, например, его отца, Василия Петровича, но гораздо значительнее, важнее и директора гимназии, и господина Файга, и попечителя учебного округа, и даже, может быть, самого одесского градоначальника Толмачева.

Затем все вместе пообедали, вернее — ужинали, причем жена Терентия совсем по-деревенски вынула из печки рогачом сначала чугунок с постными щами, а потом громадную сковородку картошки, жаренной на подсолнечном масле. И то и другое ели деревянными ложками. Хлеб был черный, солдатский, очень вкусный. Кроме того, на столе лежали несколько стручков красного перца и головка чеснока. Но их употребляли только Терентий и Гаврик. Красный перец они клали в щи, а чесноком натирали корочку черного хлеба.

Не желая отставать от своего друга, Петя тоже положил себе в тарелку огненно-красный, лакированный стручок и размял его ложкой.

— Ой, не делайте этого! — испуганно простонала Мотя.

Но Петя уже успел проглотить ложку щей и теперь сидел со слезами на глазах, с высунутым языком, и ему казалось, что он дышит пламенем.

— Может быть, тебе еще чесночку немножко натереть? — спросил Гаврик, сделав невинные глаза.

— Иди ты к чорту! — с трудом выговорил Петя, вытирая слезы и кашляя.

Вставая после обеда из-за стола, Петя, как благовоспитанный юноша, перекрестился на темную икону святого Николая, ту самую, которую он видел в детстве в хибарке покойного дедушки Черноиваненко, а потом, шаркнув ногой, поклонился сначала хозяйке, затем хозяину и сказал:

— Покорнейше благодарю!

На что хозяйка ласково ответила:

— На доброе здоровье. Извините за обед.

Так началась жизнь Пети на Ближних Мельницах.

Вставали рано, в седьмом часу утра. Умывались во дворе, сливая друг другу из кувшина очень холодную колодезную воду. Пили чай вприкуску и съедали по большому ломтю черного хлеба, толсто намазанного кислым сливовым повидлом.

Затем все трое мужчин — Терентий, Гаврик и Петя — отправлялись на работу. Они выходили вместе за калитку, и как раз в это время отовсюду начинались фабричные гудки — нескончаемо длинные, требовательные и вместе с тем равнодушные. От их монотонного хора дрожал туманный воздух мартовского утра.

По всем Ближним Мельницам скрипели и хлопали калитки. Улица наполнялась фигурами людей, торопливо шагающих на работу. Их становилось все больше и больше. Они догоняли друг друга, на ходу здоровались, соединялись в небольшие группы.

Терентий шагал быстро, молчаливо; только инструменты позванивали в его сумке. Петя и Гаврик едва за ним поспевали. Большинство рабочих здоровались с Терентием, и ему то и дело приходилось отвечать, машинально приподнимая над своей большой, круглой головой маленькую кепочку с пуговкой, как у велосипедиста. Скоро Терентий присоединялся к какой-нибудь группе, сворачивал в переулок, и Петя с Гавриком уже продолжали свой путь вдвоем.

У вокзала они прощались. Петя поворачивал направо, в гимназию, а Гаврик, небрежно притронувшись большим пальцем к козырьку своей кепочки, такой же точно, как у Терентия, продолжал идти прямо через весь город в типографию.

В гимназии Петя все время испытывал чувство какой-то странной неловкости, робости и отчуждения. Он сторонился товарищей и лишь на большой перемене, отыскав Павлика, очень серьезно здоровался с ним за руку, и некоторое время братья молча прогуливались по гимназическому залу, держа друг друга за кожаный пояс, причем у Павлика было весьма серьезное, даже строгое выражение лица.

Возвратившись домой, на Ближние Мельницы, Петя в своем сарайчике тотчас начал учить уроки и занимался с таким ожесточенным старанием, точно готовился к сражению.

Вечером возвращались с работы Терентий и Гаврик, и тогда сейчас же садились обедать. После обеда Петя гонял Гаврика полатыни, а Гаврик, в свою очередь, гонял по всем предметам Мотю, которая, оказыва-

ся, готовилась поступать в четвертый класс городского училища.

Ложились спать поздно, часов в одиннадцать. Потушив лампу, Петя и Гаврик еще некоторое время разговаривали в темноте. Впрочем, разговаривал главным образом Петя. Гаврик больше отмалчивался, уткнувшись в подушку. Он любил после работы хорошенько поспать.

## XL

### ПОДСНЕЖНИКИ

Несколько раз Петя пытался поведать Гаврику о своей заграничной любви, но каждый раз, когда он, наскоро описав Везувий и голубой грот на Капри, где такое волшебное подводное освещение, что руки и лица людей кажутся сделанными из синего стекла, уже начинал в неопределенных выражениях описывать волнующую сцену первой встречи на неаполитанском вокзале, оказывалось, что Гаврик давно спит и даже посвистывает носом.

Все же один раз Пете удалось рассказать свой роман, пока Гаврик еще не успел окончательно заснуть.

— А потом что? — мутным голосом спросил Гаврик, скорее из вежливости, чем из любопытства.

— А потом — ничего, — вздохнул Петя. — Потом мы навсегда расстались.

— Это, конечно, довольно досадно, — сказал Гаврик, откровенно зевая. — А как ее зовут?

— Как ее зовут... — загадочным голосом протянул Петя, находясь в крайне затруднительном положении, и прибавил с оттенком тайной горечи: — Ах, да какое это имеет значение!

— Ну хоть, по крайней мере, какого она цвета: черненькая, беленькая? — спросил Гаврик.

— Она не черненькая и не беленькая, а скорее всего... как бы это тебе объяснить... каштановая. Вернее сказать, темнокаштановая, — стараясь быть как можно более точным, ответил Петя.

— Ага, понимаю, — пробормотал Гаврик. — Ну, давай уже спать.

— Нет, подожди, — сказал Петя, фантазия которого только еще начинала разыгрываться. — Нет, ты подожди, не спи. Я хочу, чтобы ты мне посоветовал как друг: что мне теперь делать?

— Напиши ей письмо, — сухо сказал Гаврик. — Ты ее адрес знаешь?

— Ах, да какое это имеет значение! — грустно ответил Петя.

— Ну, раз ты ее любишь, — рассудительно заметил Гаврик.

— А что такое — любить? — разочарованно сказал Петя и не совсем кстати, с легким завыванием процитировал: — Любить? Но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно!

— Ну, так не морочь мне голову и не мешай спать! — простонал Гаврик, повернулся на другой бок и накрыл себе голову подушкой.

Больше от него уже ничего нельзя было добиться.

Петя долго не мог заснуть.

В маленьком высоком окошке сарайчика виднелся зеленоватый серп месяца. Петя слышал, как несколько раз скрипела калитка. Вполголоса разговаривая, во дворик входили и выходили какие-то люди.

— Только вы идите вокруг, через Сортировочную, — произнес голос Терентия, и Петя понял, что у него опять гости.

Петя стал думать о заграничной девочке, но никак не мог ее представить. Было что-то весьма неопределенное: черная ленточка в косе, уголек, влетевший в глаз, вьюга в горах — и больше ничего. Оказывается, он ее просто забыл.

В сарайчике было довольно холодно. Петя снял со стены швейцарский плащ и укутался им поверх одеяла. Теперь он представил себя одиноким путником, в убогой хижине пастуха. Вот он лежит, завернувшись в плащ, всеми забытый, с измученной душой и разбитым сердцем. А та, которую он так любил, в это время, быть может... Петя сделал последнее усилие, чтобы вообразить «ее» и что она, быть может, делает в это время, но вместо этого в голову полезли посторонние мысли о близких экзаменах, о предстоящей жизни на хуторе и, как это ни странно, о Моте, с которой — в самом деле! — не худо было бы как-нибудь сходить в степь за подснежниками.

До сих пор ему никогда и в голову не приходило, что Мотя может быть предметом романа. Теперь это казалось вполне естественным, и он даже удивился, как это ему не пришло в голову раньше. В конце концов, она была довольно хорошенькая, она его любила, в чем Петя не сомневался, а главное, она всегда была рядом.

Эти мысли приятно волновали Петю, и

вместо того чтобы заснуть в слезах, он заснул с томной, самодовольной улыбкой, а проснулся с бодрым чувством чего-то нового и очень приятного.

Придя из гимназии, он не стал готовить уроки, а подошел к Моте, лепившей вместе с мамой вареники с картошкой, и сразу приступил к делу.

— Ну, так как же? — сказал он со снисходительной улыбкой.

— А что? — спросила Мотя робко, как всегда, когда она разговаривала с Петей.

— Забыла?

— А что? — повторила Мотя еще более робко и милыми, невинными глазами слегка исподлобья посмотрела на мальчика.

— Ты, кажется, хотела собирать подснежники.

Она зарумянилась. Ее пальцы стали быстро щипать края вареника.

— Вы правду говорите? — спросила она.

— Ну конечно, — сказал Петя. — А если не хочешь, так не надо.

— Мама, вы без меня управитесь? — спросила Мотя. — Я обещала Пете показать, где у нас тут растут подснежники и фиалочки.

— Идите, деточки, идите погуляйте, — ласково ответила Мотина мама.

Мотя стремительно бросилась за занавеску, на ходу развязывая фартук, надела праздничные козловые башмаки, пальтишко, из которого за зиму порядочно выросла, вытащила из-под воротника косу и перебросила ее через плечо. Она даже вспотела, и на ее складном носике выступили росинки.

Петя, стараясь не торопиться, вразвалку отправился к себе в сарайчик, закутался в плащ, взял альпеншток и явился перед Мотей во всей своей мрачной красоте, которую, впрочем, слегка портила гимназическая фуражка.

— Ну что ж, пойдём, — сказал Петя как можно равнодушнее.

— Пойдем, — совсем тоненьким голосом ответила Мотя, повесив голову, и первая вышла за калитку, сильно скрипя новыми башмаками.

Пока они шли через выгон, где на прошлогодней травке уже паслись коровы, Петя решал весьма важный вопрос, кем должна быть Мотя: Ольгой или Татьяной? При всех обстоятельствах он, конечно, оставался Евгением Онегиным. Он выбрал устаревший вариант — «Евгения Онегина», — как наиболее легкий, чтобы не слишком возиться. Более сложного варианта Мотя и не заслужи-

вала. Теперь следовало поскорее решить, кем она будет — Ольгой или Татьяной, — и приступить к делу.

По внешнему виду она совсем не подходила для Татьяны. Она скорее могла сойти за Ольгу, если бы, конечно, не это демисезонное пальтишко с короткими рукавами и не козловые башмаки, которые так ужасно скрипели на все Ближние Мельницы.

Выгон уже кончался, и надо было действовать. Петя наскоро соединил Татьяну с Ольгой и получил весьма подходящий гибрид девушки, которой можно было, с одной стороны, давать уроки в тишине, а с другой — нежно жать ручку, причем не нужно было целоваться, чего Петя ужасно стеснялся.

Он, конечно, оставался Онегиным, но с небольшой примесью Ленского, что не должно было ему мешать пользоваться великолепным правилом: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей...» Мог получиться отличный роман. Правда, немного мешало то, что Мотя, в общем, нравилась Пете. Это было совсем некстати. Но Петя решительно пренебрег своими чувствами и, как только они вышли в степь, строго сказал:

— Мотя, мне надо с тобой серьезно поговорить.

У девочки ёкнуло сердце, и она остановилась перед Петей, встревоженная суровым выражением его лица.

— Любила ли ты кого-нибудь? — еще более строго спросил Петя.

— Любила, — сказала Мотя тоненьким голосом.

Самодовольная улыбка произвольно поползла по Петину лицу, но он ее подавил и спросил, глядя девочке прямо в переносицу:

— Кого?

— Разных, — простодушно ответила Мотя.

«Дура», — чуть не сказал Петя, но сдержался и стал терпеливо разъяснять, что такое любить вообще и любить в частности. Мотя поняла и густо покраснела.

— Ну, так кого же? — настойчиво спросил Петя.

— Вы сами знаете, — одними губами прошептала Мотя, поднимая на него счастливые глаза, полные слез.

В эту минуту она была так мила, что Петя уже готов был превратиться в Ленского и сделать ее Ольгой, несмотря на скрипучие башмаки и рыночное пальтишко. Но он не

мог удовлетвориться такой легкой победой, это было бы слишком скучно.

— Значит, я могу рассчитывать на твою дружбу? — спросил он.

— Ну да, можете, — сказала Мотя. — Всегда можете.

— В таком случае, я должен открыть тебе одну тайну. Только ты, конечно, дашь мне слово, что это останется между нами.

— Честное благородное, святой истинный крест! — сказала Мотя и несколько раз торопливо перекрестилась. — Чтоб мне не сойти с этого места!

— Я полюбил, — сказал Петя с грустью.

Он немного помолчал, а затем рассказал Моте свой заграничный роман, слово в слово так, как он рассказывал его Гаврику в сарайчике.

Мотя слушала молча, удрученно опустив руки, а когда он кончил, спросила чужим голосом:

— Как ее зовут?

— Какое это имеет значение! — ответил Петя.

— И вы ее так сильно любите? — сказала Мотя безжизненно.

— В этом-то и дело, — ответил Петя.

— Желаю вам счастья, — чуть слышно произнесла Мотя.

— Да, но я хочу, чтобы ты мне посоветовала как друг: что мне теперь делать? Как поступить?

— Напишите ей письмо, раз вы ее так любите.

— А что такое — любить? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно, — сказал Петя, слегка завывая.

— Желаю вам счастья, — сказала Мотя, и вдруг глаза у нее сделались как у кошки, так что Петя даже испугался. Она повернулась и быстро пошла назад.

— Постой, куда же ты! А подснежники? — закричал Петя.

— Желаю вам счастья, — сказала она не оборачиваясь.

Петя побежал за ней, путаясь в плаще, и догнал. Она сбросила с плеча его руку и пошла еще быстрее.

— Чудачка, я же пошутил! Неужели ты не понимаешь, что я пошутил? Чудачка, шутики не понимаешь... — бормотал Петя. — Что же ты сердишься?..

Теперь, когда она сердилась, она ему нравилась вдвое больше. Скрипя башмаками, Мотя пробежала через весь выгон и лишь на улице пошла медленней.

Петя шел с ней рядом, уговаривая:

— Я же пошутил. Неужели ты не понимаешь, что я пошутил? А ты сердишься, чудачка!

— Я не сержусь, — тихо сказала Мотя. Порыв ревности уже прошел, она была прежняя Мотя.

— Ну давай помиримся, — сказал Петя.

— Я с вами не ссорилась, — ответила она и даже слегка улыбнулась, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как они ссорятся на улице.

Петя был смущен, но в душе торжествовал. В общем, это было очень удачное любовное свидание.

Все дело испортил Женька, который, оказывается, давно уже следил за ними вместе с ватагой своих мальчишек. Теперь эта ватага следовала за ними на приличном расстоянии и время от времени хором кричала:

— Жених и невеста, тили-тили тесто!

## XLI

### ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ

Однажды в начале апреля Гаврик вернулся из типографии гораздо позже, чем всегда. Петя сидел в сарайчике и повторял геометрию.

— На Ленских приисках солдаты стреляли в рабочих, — сказал Гаврик с порога и, не снимая шапки, сел на кровать.

Из разговоров, которые уже давно велись на Ближних Мельницах, Петя узнал, что далеко в Сибири, в глухой тайге, на реке Лене существуют золотые прииски, где рабочие живут в каторжных условиях. Было известно также, что в конце февраля на одном из приисков, где рабочих мучили особенно сильно, началась забастовка и были посланы депутаты на другие прииски. Стачкой руководили беки, а меки уговаривали рабочих стачку прекратить и пойти на мировую с администрацией. Но рабочие не послушали меков, и стачка стала всеобщей. Теперь уже бастовало свыше шести тысяч рабочих. Таковы были последние сведения, разными путями дошедшие с берегов Лены.

Гаврик сидел, бросив между колен вытянутые руки, и смотрел на лампу под зеленым абажуром, которая отражалась в его неподвижных зрачках. Он глубоко и редко дышал — переводил дух, — видимо, очень топорпился из типографии домой.

Петя сначала не вполне понял все значение того, что сказал Гаврик. Слишком про-

сто, без выражения, были произнесены эти слова: «Солдаты стреляли в рабочих». Но, еще раз взглянув на Гаврика, на его осунувшееся, неподвижное лицо, Петя вдруг понял смысл этих слов.

— Как это — стреляли? — спросил он, чувствуя, что его лицо становится таким же неподвижным, как у Гаврика.

— А так. Очень просто! — грубо сказал Гаврик. — Из трехлинейных винтовок. Рота, пли! Залпом.

— Откуда ты знаешь?

— Сам набирал телеграмму. Нонпарелью, шестым кеглем. Три часа назад получена. Должна идти сегодня в номер... если не снимут. От них можно ожидать всякой подлости... Ну, я пошел, — сказал он, решительно вставая.

— Куда?

— В мастерские к Терентию. Оказывает-ся, у него сегодня ночная сверхурочная.

С этими словами Гаврик вышел.

Пете стало не по себе одному в сарайчике. Он догнал Гаврика за калиткой. Они молча шли в прозрачной темноте апрельской ночи. В палисадниках уже робко белели начинающие цвести яблони, а в это время в Сибири еще была зима, трещали морозы и замерзшая река Лена лежала под снегом как мертвая.

Петя вышел без шинели, ему стало холодно. Он сунул руки в рукава гимназической курточки и весь сжался, торопливо шагая рядом с Гавриком. Где-то в церкви пробило одиннадцать. Люди в домиках спали. Всюду было темно, только под воротами железнодорожных мастерских, отражаясь в рельсах, горела электрическая лампочка. Сторож спал. Из будки высывалась пола его овчинного тулупа.

Петя и Гаврик обошли корпус паровозного цеха, заглядывая в пыльные, кое-где разбитые стекла, откуда лился беспокойный свет пылающего горна. Петя увидел громадный паровоз, висящий в воздухе на цепях. Под ним ходили рабочие. Петя сразу узнал фигуру Терентия со стальным маслянистым шатуном на плече, который он поддерживал одной рукой за конец, обернутый черной тряпкой.

Путейский инженер в форменной фуражке и тужурке с погончиками, расставив ноги, стоял в стороне, держа перед собой развернутый лист калки, которую он рассматривал, как газету.

Все это Петя уже много раз видел, и в этом не было ничего необыкновенного, а тем

более зловещего. Но сейчас Петя испытывал страх. Ему казалось, что сию минуту цепи лопнут и висящий паровоз всей своей тяжестью упадет на людей. На один миг это чувство сделалось так реально, что мальчик закрыл глаза.

Но в это время Гаврик вложил в рот два пальца и свистнул. Терентий обернулся и стал всматриваться в темные стекла, мутно отражавшие электрические лампочки цеха. Потом он тяжелым, мягким движением всего своего большого туловища скинул с плеча шатун и на вытянутых руках отнес в сторону. Скоро он появился из-за угла и подошел к мальчикам.

— Чего тебе? — глядя на Петю, спросил он Гаврика.

— На Ленских приисках солдаты стреляли в рабочих, — негромко сказал Гаврик. — Сегодня пришла телеграмма из Иркутска. Я на всякий случай тиснул десять экземпляров. — И он подал Терентию листочек свежего оттиска.

Терентий стал спиной к освещенному окну и прочитал телеграмму. Петя не мог рассмотреть выражения его лица, но понял, что оно ужасно. Вдруг Терентий схватил из-под ног кусок шлака и с такой силой швырнул в стенку, что он разлетелся в пыль.

Некоторое время Терентий тяжело переводил дух — успокаивался, — а потом отвертел Гаврика в сторону, и они быстро о чем-то переговорили.

На обратном пути Гаврик несколько раз оставлял Петю посередине улицы, а сам на короткое время куда-то отлучался; и один раз Петя увидел, как Гаврик подобрался к чьей-то калитке и сунул в щель белую бумажку. Петя понял, что это был оттиск телеграммы.

Когда мальчики снова очутились в своем сарайчике, потушили свет и улеглись в постели, они долго не могли заснуть, и Петя все время тревожно прислушивался к ночным звукам. Ему казалось, что вот-вот начнется что-то страшное: по улице с криками побежит толпа, где-то вспыхнет пожар, раздадутся выстрелы из браунингов. Но вокруг все было тихо.

На переезде послышался рожок стрелочника: прошел товарный поезд; далеко по неровной мостовой проехала подвода, и было слышно, как под ней бренчит пустое ведро. Потом по всем Ближним Мельницам долго и сонно пели третьи петухи, послышались фабричные гудки и немного погодя заскрипели калитки.

День прошел обычно. Только в гимназии, на большой перемене, Петя заметил под лестницей нескольких восьмиклассников с газетой и услышал слова: «Беспорядки на Ленских приисках», сказанные вполголоса.

Гаврик вернулся из типографии еще позже, чем вчера — дожидаясь новых известий, — и принес большой сверток оттисков. Это были телеграммы с подробностями ленского расстрела: пятьсот человек убитых и раненых. Петя ужаснулся.

Была ночь. Терентий коротко переговорил с Гавриком, и они оба ушли. Петя хотел идти вместе с ними, но его не взяли. Он остался один, лег в постель, укрылся с головой плащом и сразу же заснул, но скоро проснулся.

Вокруг была мертвая тишина. Петя лежал на спине с открытыми глазами, стараясь представить себе пятьсот человек убитых и раненых. Но это было невозможно, как сильно он ни напрягал свое воображение. Перед ним все время неподвижно стояла неразборчивая картина снежного поля, покрытого убитыми рабочими. Смысл картины был неизмеримо страшней самой картины, и это несоответствие мучило Петю, не давая ему ни на один миг отвлечься и подумать о чем-нибудь другом.

Вдруг ему пришло в голову, что пятьсот человек — это именно столько, сколько учеников и учителей в их гимназии. Он представил себе коридоры, лестницы, классы, гимназический и актовый залы, заваленные убитыми и ранеными гимназистами и учителями, лужи крови на метлахских плитках, крики, стоны, смятение...

Его стал бить озноб.

Но и здесь тоже не было соответствия, потому что это была всего лишь выдумка, а там была самая настоящая правда. Там были подлинные, а не воображаемые трупы, и Пете стали представляться все покойники, которых он когда-нибудь видел.

Ему представилась мама в гробу, похожая на невесту, с почерневшими от лекарств губами и бумажной полоской на лбу; представился дядя Миша в сюртучке, с высоко сложенными на груди белыми костлявыми руками; скончавшийся от дифтерита гимназист четвертого класса Витя Серошевский — вытянутая кукла в синем мундире; дедушка — мамин папа — с лысым лбом, отражавшим свечи; какой-то генерал от инфантерии, которого везли мимо их дома в открытом гробу на лафете, а впереди несли на бархатных подушках ордена и медали.

Но это были не трупы убитых, а покойники — «усопшие», заваленные венками и окруженные клубами ладана, музыкой, пением и стеклянными фонарями на палках, перевитых крепом. Как ни ужасен был вид этих неподвижных существ, все еще сохранивших человеческое подобие среди похоронного великолепия, — они не могли дать Пете представления о тех сотнях, которые лежали ничком в ленских снегах, и Петина мука продолжалась.

Тогда Петя вдруг увидел то, что было давно скрыто в самых глубинах его памяти и почти никогда не всплывало на поверхность именно потому, что было еще более ужасно, чем все остальное.

Петя вспомнил девятый год, перевязанную голову Терентия со стружкой крови, текущей по виску, вспомнил комнату, заваленную сломанной мебелью, полную дыма от выстрелов, и человека с равнодушным восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом, который неудобно лежал на полу поперек комнаты, лицом вверх среди пустых обоев и гильз. Он вспомнил, как два казака мчались на лошадях, волоча за собой на веревке окровавленный труп Петиного знакомого — хозяина тира Иосифа Карловича, — оставлявший на мертвенно серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.

Петя снова увидел снежное поле, усеянное трупами. Но эта картина уже не мучила его несоответствием с правдой, потому что теперь он понял ее смысл. Смысл заключался в том, что одни люди убили других людей за то, что те не захотели больше быть рабочими.

Петю охватила злоба. Чтобы не заплакать, он стал кусать подушку. Но все-таки заплакал. Утром он встал с постели измученный бессонной ночью, с синяками под глазами, мрачный и осунувшийся.

Гаврик и Терентий до сих пор еще не возвращались. Мотя, закутанная в серый шерстяной платок, молча подала ему кружку чаю и кусок хлеба с повидлом. Она была не причесана, ее глаза испуганно смотрели на мальчика, она дрожала от утреннего холода — наверно, тоже всю ночь не спала.

Ее мать стирала во дворе белье, над колытом летали мыльные пузыри, и она грустно пожелала Пете доброго утра:

На этот раз Петя отправился в гимназию один. На улице все было, как обычно. Группами шли рабочие на утреннюю смену. Они шли еще быстрее обыкновенного. Группы



соединялись, в некоторых местах превращаясь в толпы. Пробираясь мимо них, Петя чувствовал на себе неприязненные взгляды, которые как бы ощупывали его фуражку с гербом, светлые пуговицы курточки и пояс с форменной бляхой.

Хотя раннее солнце заливало улицу теплосно-розовым светом и в апрельском воздухе так чисто, свежо и весело перекликались маневренные паровики, но на всем этом как бы лежала невидимая похоронная тень.

Посередине улицы, как обычно, прохаживался знакомый Пете пожилой ближнемельничный городской. Но, дойдя до перекрестка, Петя увидел еще одного городского, незнакомого. Со знакомым городским Петя по привычке поздоровался, вежливо приподняв фуражку, а мимо незнакомого городского прошел, опустив глаза, но все-таки видел, как незнакомого городского оглядел его с ног до головы — злыми глазами на молодом солдатском лице.

В городе бегали газетчики, выкрикивая: «Подробности ленских событий, пятьсот убитых и раненых...»

В гимназии на уроках и переменах было тише обыкновенного. На обратном пути, не доходя до Ближних Мельниц, Петя услышал фабричный гудок, потом другой, третий, и скоро весь воздух уже стонал от гудков.

На том перекрестке, где утром стоял незнакомого городского, теперь Петя увидел громадную черную толпу, которая все время увеличивалась: в нее непрерывно вливались кучками и поодиночке все новые и новые люди, бегущие по прилегающим улицам, пустырям и палисадникам.

Петя понял, что это забастовка, а толпа состоит из рабочих разных заводов и фабрик, только что бросивших работу.

Петя хотел повернуть назад и обойти толпу стороной, но в это время сзади навалилась другая толпа и потащила мальчика за собой. Две толпы смешались, и Петя очутился посередине, со всех сторон сжатый людьми. Он стал вырываться, но ему мешал ранец. Одна лямка оборвалась, ранец пополз вниз. Петя, вывернувшись, подхватил его и с усилием стащил с плеча. Теперь он его крепко держал в руках перед собой, отпихиваясь от напиравших на него спин и локтей.

Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. Он только чувствовал, двигаясь куда-то вместе со всеми, что у толпы есть какая-то определенная цель и что ее движением кто-то руководит. Тогда

он немного успокоился и ранцем поправил сбившуюся фуражку.

Толпа шла очень медленно. В ее движении не было ничего грозного, как сначала показалось Пете, а скорее что-то напряженно-деловитое, упрямое.

Фабричные гудки, до сих пор заглушавшие все остальные звуки, мало-помалу смолкли, и теперь слышался говор толпы.

Наконец толпа остановилась. Петя увидел длинные крыши ремонтных мастерских и почувствовал под ногами рельсы — споткнулся и чуть не упал, если бы его не поддерживали чьи-то большие, грубые руки. Затем произошло общее движение вперед и раздалось отчаянные полицейские свистки.

Толпа разорвалась, и Петя увидел знакомые ворота ремонтных мастерских. Они были закрыты, и перед ними туда и назад, придерживая шашку, бегал городской со злыми глазами, который по очереди то изо всех сил дул в свисток, а то кричал:

— Разойдись, не то буду стрелять!

Другой городской, знакомый старичок, пятясь перед толпой, размахивал руками, как дирижер, и плачущим голосом повторял:

— Господа, имейте сознание! Господа, имейте сознание!

— Братцы, тогда ломай ворота! — не слишком громко, но так, что все слышали, сказал человек в старой железнодорожной фуражке, с красной повязкой на рукаве ватного пиджака, стоявший во весь рост на крыше паровозного цеха — повидимому, один из тех самых людей, которые управляли толпой.

Железные решетчатые ворота завизжали на ржавых петлях и стали гнуться под напором толпы. Раздался звон лопнувшей цепи. Одна половина ворот, сорванная с петель, с грохотом упала во двор, другая криво повисла на кирпичном столбе.

Толпа ворвалась во двор. Все смешалось...

Впоследствии Петя узнал, что администрация мастерских хотела сорвать забастовку, поставив на работу в цехах несколько десятков предателей, так называемых «штрейк-брехеров», и заперев ворота.

Ворвавшись во двор, толпа рассыпалась по цехам, и Петя увидел нечто, показавшееся ему сначала забавной игрой, в которую играли взрослые, сердитые люди. Ворота цеха растрепались, и оттуда один за другим стали проворно выбегать какие-то люди, а другие люди их догоняли и били по шее грязными жгутами из скрученных промасленных тря-

пок, а те на все лады изворачивались, и все это очень напоминало игру в пятнашки или в «квач». Но при этом никто не смеялся и не кричал, а у одного из бегущих текла из носа кровь, и он размазывал ее по лицу рукавом порванной рубахи.

Затем в воротах цеха появилась маленькая вагонетка, которую катили десятка два рабочих с решительными, напряженными лицами. В вагонетке, задрав ноги и держась руками за борта, в неестественной позе сидел тот самый путейский инженер, которого Петя видел два дня назад, когда ночью ходил с Гавриком в паровозный цех. Фуражка на инженере была надета козырьком назад, что делало его красивое лицо с бархатной бородкой крайне глупым.

Женька Черноиваненко и те самые мальчишки, которые недавно кричали Пете и Моте: «Жених и невеста, тили-тили тесто!» — усердно помогали взрослому катить вагонетку.

Пете уже не было страшно, толпа его больше не пугала. Он проежился общим настроением и, сердито сдвинув брови, побежал за вагонеткой. Он растолкал мальчишек, уперся ранцем в вагонетку и вместе со всеми стал ее толкать.

Ему казалось, что он катит ее один. Как только вагонетка выехала из ворот, со всех сторон раздались крики, свисты, улюлюканье. Несколько человек несли городского со злыми глазами. Держа за плечи и за сапоги, они его раскачали и бросили в вагонетку прямо на инженера. Городовой уже был без шашки и без револьвера.

Другого городского, старичка, в вагонетку бросать не стали, а раза два ударили по шее тряпкой, и теперь он — тоже без шашки, без револьвера и без фуражки — ковылял вдоль забора, крутя седой головой и глупо улыбаясь.

После того как вагонетку отвезли за полверсты и бросили на путях, Петя вместе с Женькой и другими мальчишками вернулся назад, но возле мастерских уже никого не было — народ разошелся, — только у разломанных ворот расхаживало несколько рабочих с охотничьими дробовиками за спиной и красными повязками на рукаве.

По странно опустевшим улицам и переулкам Петя и Женька пришли домой. У калитки стояла Мотя, которая сразу же напустилась на Женьку:

— Босьяк, хулиган, шибенник, где тебя носит?.. А вам, — обратилась она к Пете, — должно быть довольно стыдно водить с собой

ребенка на забастовку! Посмотрите, на что вы похожи, а еще гимназист!

Вообще после прогулки за подснежниками Мотя стала относиться к Пете гораздо более критически, чем раньше. Петя посмотрел на свои ботинки, поцарапанные шлаком, на помятый ранец с порванными лямками, на пряжку пояса, съехавшего набок.

— Вы весь грязный, — тонким голосом сказала Мотя. — Идите скорей умойтесь, я вам сейчас солью.

— Можешь не командовать! — сказал Женька и, вытащив из кармана роговой свисток, который еще совсем недавно висел на груди старичка-городового, пустил пронзительную трель на всю улицу.

— Ах, босьяк! Ах, шибенник! — всплеснула руками Мотя, но не удержалась и вдруг залилась совсем детским, слегка повизгивающим смехом.

В это время вдалеке появился извозчик. Переваливаясь по ухабам и дребезжа колесами, он промчался по улице. Несколько человек с красными повязками на рукаве подскакивали на сиденье и на откидной скамеечке и что-то кричали у каждого палисадника.

Среди них Петя увидел Терентия, размахивавшего своей маленькой кепкой. У него было возбужденное, красное лицо, отчего старый шрам на виске белел особенно заметно.

— Пускай все идут на выгон! — кричал он, показывая кепкой вперед и вряд ли понимая, что проезжает мимо своего дома.

Зашвырнув ранец в палисадник, Петя следом за Мотей и Женькой побежал на выгон, уже черневший народом.

Солнце недавно село за курганом. Над свежей, зеленеющей степью пылали большие облака, освещая картину митинга. Посередине толпы, на козлах извозчицкой пролетки, во весь рост стоял Терентий. Одной рукой он опирался на плечо извозчика, а другой рубил воздух, и Петя слышал его голос, разорванный ветром.

Иногда доносились целые фразы.

Этот гневный голос, как бы летающий вместе с ветром над молчаливой толпой, над притихшей весенней степью, наполнял Петину душу жгучим чувством борьбы и свободы. Сердце его сильно забилося. Когда же вся толпа запела на разные голоса «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и замелькали снимаемые шапки, Петя тоже снял свою фуражку и, прижимая ее обеими руками к груди, запел вместе со всеми. Своего голоса он не слышал, но зато все время слышал рядом с собой тоненький голос Моти, которая, привстав на

пальчики и вытянув шею, прилежно выводила: «...за вами идет новых ратников строй...»

Временами Пете казалось, что сию минуту откуда-то должны выскочить казаки на лошадях и начнется побоище. Но все было спокойно, и фигуры сигнальщиков, расставленных по буграм и курганам, неподвижно чернели на яркой полосе заката.

По окончании митинга народ разошелся так же быстро, незаметно, как и собрался. Выгон опустел, и на молодой траве среди помятых одуванчиков Петя увидел множество палок, железных болтов и обломков кирпича, захваченных рабочими на всякий случай.

Проехала порожняком извозчицья пролетка. Немного погода показались Терентий и Гаврик. Они шли в ногу, глубоко засунув руки в карманы, в кепках, сдвинутых на затылок, с видом людей, хорошо поработавших и весьма довольных.

— Ходом, ходом! — сказал Терентий, потрепав Мотю по щеке и протягивая руку Пете. — Не задерживайтесь. Хотя по всему городу митинги и демонстрации, так что одеская полиция совсем потерялась, а Толмачев сидит у себя дома и гадает, что ему робить, но все ж таки не того... Давайте лучше поскорей до хаты.

Но, видимо, на этот раз полиция действительно растерялась, и генерал Толмачев не рискнул вызвать войска: в течение суток, пока продолжалась забастовка, никто на Ближних Мельницах не видел ни одного солдата и ни одного полицейского, кроме старичка-городового, который целый день ходил по домам и слезно просил, чтобы ему отдали шашку и револьвер. Заходил он также и во двор к Черноиваненкам, причем Терентию, который вышел к нему из хаты, сказал так:

— Тереша, я тебя помню еще тогда, когда ты у мамки титьку сосал. Будь человеком! Скажи своим хлопцам, чтобы отдали мое оружие, а то меня из полиции выгоняют. Оно казенное.

Терентий нахмурился:

— Каким это моим хлопцам? Надо понимать, что болтаешь!

— Будто не знаешь сам? — сказал городской, подмигивая, и простодушно прибавил: — Твоим хлопцам, которые революционеры. Ты же у них за главного.

Терентий взял городского за плечи и вывел за калитку:

— Иди, иди, старый! И не болтай, чего не понимаешь. А будешь болтать — так лучше не выходи вечером на улицу. Понял?

— Эх, Тереша, Тереша! — вздохнул городской и побрел в следующую хату.

На другой день забастовка кончилась, и все пошло по-старому. Так же по утрам над Ближними Мельницами стонал от гудков воздух, но был он уже не холодный и туманный, а яркий, светоносный, полный теплого запаха цветущих садов и птичьего щебета. И люди, толпами валившие по улице на работу, тоже казались Пете совсем другими: шагали уверенно, смотрели бодро, громко переговаривались и вообще выглядели как-то светлее и чище — вероятно, потому, что сбросили свою неуклюжую зимнюю одежду, а многие были уже одеты совсем по-лётному: в парусиновые пиджаки и цветные ситцевые рубахи.

Возвращаться из гимназии Пете уже было жарко в суконной куртке и кастановой фуражке, мокрой и горячей внутри.

За неделю до экзаменов гимназистовпустили. Теперь Петя с утра до вечера сидел во дворе под шелковицей перед дощатым столом и, закрыв кулаками уши, зубрил хронологию, мерно качая головой, как китайский болванчик. Он дал себе слово во что бы то ни стало выдержать все экзамены на пятерки, потому что отлично понимал, что пощады ему не будет и его «зарезут», придравшись к малейшей ошибке. Он даже заметно похудел, давно не стригся, и у него на затылке отросли косички, как у дьячка.

## XLII

### ПЕРВЫЙ НОМЕР „ПРАВДЫ“

— На вокзал со мной не хочешь сходить? — сказал однажды Гаврик, неожиданно появляясь за спиной Пети.

Петя в это время был поглощен зубрежкой и даже не удивился тому обстоятельству, что Гаврик не на работе. Он только еще быстрее закивал головой и сказал:

— Отчепись!

Но, увидев какую-то особую, загадочную, торжествующую улыбку на лице Гаврика, а главное, его тщательно расчесанные волосы, новую ситцевую рубаху, подпоясанную новым ремешком, хорошо выглаженные брюки и парадные ботинки, которые Гаврик очень берег и надевал лишь в исключительных случаях, понял, что произошло нечто значительное.

— Зачем на вокзал? — спросил Петя.

— Газету получать.

— Какую газету?

— Нашу. Ежедневную. Рабочую, брат. Прямо из Петербурга, с курьерским поездом. Называется «Правда».

Петя уже несколько раз слышал разговоры о том, что скоро в Петербурге начнет выходить новая рабочая газета беков. Среди рабочих на нее собирали деньги, и Петя даже видел эти деньги. Иногда их приносили с работы Терентий или Гаврик и, тщательно пересчитав, высыпали в жестяную коробку из-под монпансье «Жорж Борман». Раз в неделю Терентий относил их на почту, а квитанции складывал в ту же коробку.

Деньги были преимущественно мелкие — серебряные двугривенные, пятиалтынные, гривенники, медные пятаки, семишники, даже копейки; бумажные рубли и трешки попадались крайне редко, и было трудно представить, как из этой потертой мелочи в конце концов могла получиться такая дорогая вещь, как большая ежедневная газета.

Теперь же оказалось, что она все-таки получилась и ее везут в почтовом вагоне курьерского поезда «Санкт-Петербург — Одесса».

Откровенно говоря, Пете уже смертельно надоело каждый день с утра до вечера заниматься зубрежкой. Он был не прочь передохнуть. Сходить на вокзал было соблазнительно: вокзал всегда имел для него особую, притягательную силу. Уже один вид множества пересекающихся рельсов возбуждал его воображение и заставлял думать о тех неизвестных краях, куда эти рельсы, так плавно и стремительно закругляясь, уходили.

Запад Петя уже видел. Но был еще север, необъятно громадная область — Россия, родина, с матушкой Москвой, Санкт-Петербургом и древним Киевом, Архангельском, Волгой, с трудновообразимой Сибирью и, наконец, Леной, которая уже теперь была не рекой, но именем кровавого исторического события, такого же, как Ходынка или Цусима. Именно оттуда, с севера, из дымного, туманного Питера должен был сегодня привезти курьерский поезд газету «Правда».

Когда Петя и Гаврик пришли на вокзал «Одесса-Главная», петербургский поезд уже прибыл и стоял у перрона. Он весь состоял из длинных новеньких пульмановских вагонов — синих и желтых, — а зеленых совсем не было, но зато было два невиданных вагона, возле которых Петя и Гаврик невольно задержались.

Эти вагоны были снаружи обшиты деревом, блистали на солнце медью поручней, оконных наугольников, накладных иностран-

ных надписей и гербов Международного общества спальных вагонов. Даже их внешний вид поражал особой, корабельной строгостью.

Когда же мальчики, толкая друг друга локтями, заглянули в окна с верхними узкими, декадентски разрисованными цветными стеклами, они ахнули от той роскоши, которую увидели внутри уже пустого вагона, от лакированных панелей из красного дерева, тисненого плюша стен, белоснежных, поутреннему смятых постелей, молочных тюльпанов электрических лампочек, синих сеток, тяжелых бронзовых плевательниц и ковровых дорожек.

В другом вагоне они увидели еще более поразительные вещи: буфет, уставленный бутылками и закусками, и лакея во фраке, который убирал со столиков пирамидальные салфетки, такие белые и твердые, словно они были отлиты из гипса.

Не говоря уже о Гаврике, даже Петя, побывавший за границей, до сих пор не мог себе даже представить, что есть на свете такие вагоны.

— Вот это да! — прошептал Петя, с такой силой прижимаясь лицом к толстому шлифованному стеклу, что на нем отпечатался его вспотевший нос.

А Гаврик сузил глаза и со странной улыбкой процедил сквозь зубы:

— Господа катаются.

— Попрошу отойти от вагона! — произнес строгий голос с иностранным акцентом, и, отстранив твердой рукой Петю и Гаврика от вагона, мимо прошел проводник в форменной тужурке и каскетке Международного общества спальных вагонов.

Гаврик сморщил нос и, вывернув руку, показал ему локоть, что считалось на Ближних Мельницах высшим проявлением насмешки и презрения.

Но проводник, как существо высшее, не обратил на это никакого внимания, и мальчики пошли дальше, к багажному вагону, где в это время выгружали плоские тростниковые корзины с решетчатыми крышками, сквозь которые виднелись влажные, слежавшиеся, свежие цветы — пармские фиалки и розы, — прибывшие через Петербург прямо из Ниццы в адрес цветочного магазина Веркмейстера, причем сам Веркмейстер, господин в светлом коротком пальто колоколом, с траурными повязками на рукаве и на цилиндре, лично руководил разгрузкой, провозжая каждую корзинку, которую носильщик укладывал на свою тележку, бережным прикосно-

вением безымянного пальца с двумя обручальными кольцами.

Мальчики почувствовали запах мокрых цветов, столь удивительный среди грубых железных и каменноугольных запахов вокзала, и это вдруг вызвало в Петиной памяти неаполитанский вокзал, похожий на одесский, но только с пальмами и агавами, и забытую девочку с черным бантом в каштановой косе. Петя снова почувствовал сладкую боль разлуки. Ему даже показалось, что он видит эту девочку.

Но в это время Гаврик схватил его за рукав и потащил вперед, вслед за большой тележкой, нагруженной кипами петербургских газет и журналов. Два артельщика с усилием катили тележку. Из-под маленьких чугунных колесиков, с гулким ворчаньем катившихся по асфальту, вылетали искры.

Мальчики бежали рядом с тележкой, стараясь угадать, в которой из кип находится «Правда». Тележку вкатили с перрона в вокзал, и она, визжа, остановилась возле газетного киоска — резного шкафа мореного дуба, громадного, как орган, — сплошь заставленного и увешанного сотнями книг, газет и журналов.

Петя любил рассматривать все эти различные новинки. Его волновали броские обложки любовно-приключенческих и уголовных романов; разноцветные карикатуры «Сатирикона», «Будильника»; развешанные на рогульках, как белье, целые гирлянды выпусков «Пещеры Лейхтвейса», «Нат Пинкертона», «Ник Картера», «Шерлок Холмса», с маленькими портретами знаменитых заграничных сыщиков в профиль, с трубками или без трубок, среди которых как-то особенно провинциально и простовато выглядел знаменитый русский сыщик Путилин, с большими мистическими бакенбардами и в старомодном шелковом цилиндре; иллюстрированные еженедельные журналы «Огонек», «Солнце России», «Весь мир», «Вокруг света» и в особенности новый, недавно появившийся странный «Синий журнал», действительно сплошь синий, пачкающий пальцы, сильно пахнущий керосином.

Все эти десятки и сотни тысяч печатных страниц, обещавших такое сказочное разнообразие мыслей, идей и сюжетов, а на самом деле лишь прикрывавшие какую-то страшную пустоту, действовали на Петю ошеломляюще, и он стоял перед ними почти в оцепенении.

Между тем кипы газет уже сваливали одну за другой под прилавок с вырезанным вензелем «Ю.-З. ж. д.». Арендатор киоска,

толстый длиннородый старик в синей мешанской чуйке, из-под которой виднелся жилет с золотой цепочкой, то и дело прикладывая к земляничному носу маленькое пенсне, перелистывал накладные и делал на них отметки карандашом, а тощая дама в шляпке, со злым, щучьим лицом, проворно выбрасывала на прилавок пачки газет, которые тут же забирали газетчики и хозяева городских газетных киосков, давно уже выстроившиеся в очередь.

— Пятьдесят «Нового времени», тридцать «Земщины», полтора «Биржевика», сто «Речи». Забирайте! Следующий! — выкрикивала она каркающим голосом, и пачки газет тотчас уносились на плечах и на головах на вокзальную площадь.

Там их уже ожидали тачки, извозчики и тележки, чтобы поскорее рассеять по всему городу.

Гаврик пристроился в конец очереди, где кучкой стояли несколько человек, по виду несколько не похожих ни на хозяев киосков, ни на газетчиков. Скорее всего, это были рабочие. С некоторыми из них Гаврик поздоровался, как со знакомыми, и они о чем-то быстро заговорили, нетерпеливо поглядывая на вылетающие из-под прилавка пачки газет.

Пете показалось, что они чего-то опасаются. Наконец очередь дошла до них.

— Вам? — сказала дама со щучьим лицом, строго разглядывая незнакомых людей. Всех своих клиентов она знала наперечет, этих она видела в первый раз. — Вам?

— Нам газету «Правда», — сказал, протискиваясь к прилавку, пожилой рабочий с подстриженными усами, в галстук и праздничном пиджаке, от которого, впрочем, все равно въедливо пахло шеллачным лаком и политуры. — Изволите видеть, тут у нас представители от завода Гена, эллинга Ропита, ремонтных мастерских, мукомольной фабрики Вайнштейна, пароходства Шавалда и, так сказать, от мебельной фабрики Зур и компания. Мы бы попросили на первый случай экземпляров по пятьдесят на брата...

— Как вы говорите? «Правда»? Первый раз слышу, — ненатуральным голосом сказала дама и повернулась к старику: — Иван Антонович, разве наше агентство получает газету «Правда»?

— А в чем дело? — спросил старик, не отрываясь от накладных и в то же время с неудовольствием оглядев клиентов маленькими, очень острыми глазками.

— Имеется требование на триста экземпляров какой-то «Правды», — сказала дама.

— Не какой-то, — заметил Гаврик, — а ежедневной рабочей газеты, адрес конторы — Санкт-Петербург, Николаевская, тридцать семь. Может быть, нет?

— Не получена, — сказал равнодушно старик. — Приходите завтра-послезавтра.

— Виноват, — сказал пожилой рабочий, — не может быть такого случая. У нас есть телеграмма.

— Не получена-с.

— Как это — не получена! — вспыхнул пожилой рабочий и грозно нахмурил брови. — Черносотенное «Новое время» получено, кадетская «Речь» получена, а рабочая «Правда» не получена? Где же тогда ваша поганая свобода?

— А вот я вас за такие слова... Софья Ивановна, сбегайте-ка за жандармом!

— Что? — тихо сказал пожилой рабочий, еще сильнее сдвигая свои густые серые брови. — Может быть, вы еще солдат вызовете? Как на Лене?

— Да что вы с ним, Егор Алексеевич, время теряете! — крикнул парень в фуражке-капитанке, с мутносиней татуировкой на перевитой жилами руке — видимо, представитель пароходства Шавалда. — Душа с него вон! — и рванулся к старику, отпихнув по дороге даму со шущим лицом, у которой шляпка съехала набок.

Петя зажмурился. Ему показалось, что сейчас произойдет что-то ужасное, но вместо этого услышал плаксивый голос старика:

— Только без рук, только без рук...

А когда открыл глаза, то увидел Гаврика, который уже стоял за прилавком и с торжеством вытаскивал откуда-то снизу пачки газеты «Правда», напечатанной на дешевой желтоватой бумаге, с большими буквами названия, такими же прямыми и строгими, как то слово, в которое они складывались.

— Только имейте в виду, господа: в розницу мы не продаем! — кипятилась дама. — И на кредит не рассчитывайте. Или забирайте всю партию — тысячу экземпляров — сразу за живые деньги, или до свиданья, и завтра же ваша босяцкая «Правда» поедет обратно в Петербург возвратом, и пусть она скорее прогорит!

Газета была дешевая, общедоступная. В то время как другие газеты стоили пятак, «Правда» стоила две копейки. Но за тысячу экземпляров надо было сразу заплатить двадцать рублей — деньги по тому времени большие.

Шесть представителей вывернули карманы, и оказалось, что у всех у них вместе на-

шлось всего шестнадцать рублей семьдесят четыре копейки.

— Босяки, нищие, жлобы, а еще занимаются политикой! — одним духом выговорила дама и повернулась задом, положив вывернутую руку в кружевной митénке на стопку газет.

— Одну минуточку, — сказал представитель пароходства Шавалда.

Сбежал в зал первого класса, заложил в буфете свои серебряные часы и моментально вернулся, неся перед собой на ладони смятую пятерку.

Таким образом, через десять минут Гаврик и Петя, с пачками «Правды» на плече, уже шагали на Ближние Мельницы.

Хотя новая газета издавалась вполне легально, с разрешения начальства, но Петя чувствовал себя государственным преступником. И когда мальчики проходили мимо городских, то Пете казалось, что городские смотрят им вслед весьма подозрительно. Впрочем, отчасти так и было.

Трудно было не обратить внимания на двух молодых людей — гимназиста и мастерового, — которые возбужденно и очень быстро шагали по улице с какими-то свертками на плече, причем гимназист все время осторожно оглядывался, а мастеровой, отбивая шаг, громко, на всю улицу, свистел «Варшавянку».

Чем ближе к дому, тем быстрее шли мальчики. Они уже почти бежали. Иногда Гаврик подбрасывал на плече сверток и, подражая газетчикам, кричал:

— Новая ежедневная рабочая газета «Правда»! Интересные телеграммы! Подробности ленского расстрела! — причем глаза его жарко блестели.

Уже совсем недалеко от Ближних Мельниц, на Сахалинчике, Гаврик вынул из свертка несколько номеров и, размахивая ими над головой, побежал изо всех сил, продолжая выкрикивать:

— Царский министр Макаров сказал в Государственной думе: «Так было, так будет!» Долой палача Макарова! Да здравствует рабочая «Правда»! Покупайте рабочую «Правду»! Цена номера всего две копейки!.. Так было, но так больше не будет!

Начинались фабрики и заводы, и здесь Гаврик уже не стеснялся. Здесь был тот мир, в котором Гаврик чувствовал себя свободно и независимо. Ворота с золотыми буквами на проволоочных сетках. Кирпичные корпуса и трубы. Бетонная головастая баш-

ня маргаринового завода «Коковар» с колоссальным плакатом, изображавшим мордастого повара, протягивающего блюдо с дымящимся пудингом. Водопроводная станция, депо, элеваторы...

Кое-где, привлеченные криками Гаврика, из ворот выбегали рабочие в синих блузах и замасленных фартуках. Некоторые покупали газету и клали в руку Гаврика медяки, которые он, как заправский газетчик, то ропливо совал в рот, за щеку.

В одном месте, заметив беспорядок, зашвистел городской, но Гаврик издала показал ему локоть, и мальчики проворно юркнули в переулоч.

Теперь уже Петя почти не чувствовал страха, как бы вовлеченный в какую-то осяную, увлекательную игру.

Вдур сзади раздался топот ног. Мальчики обернулись. Их догонял человек в развевающемся пиджаке. Он бежал на кривых ногах, делая виляющие движения, и кричал:

— Эй! Габёлки! Псссс... Псссс...

Сначала Петя подумал, что это покупатель, и остановился, но в следующую минуту увидел, что ошибся. В руке у человека, бегущего прямо на него, была короткая резиновая палка, на лацкане пиджака — значок Союза русского народа с трехцветными ленточками.

— Тикай! — крикнул Гаврик.

Но человек с резиновой палкой уже был рядом, и Петя почувствовал сильный удар, который, к счастью, пришелся не по голове, а по свертку газет на плече и только слегка задел ухо.

Ключья бумаги полетели во все стороны.

— Не тронь! — голосом, осипшим от ярости, даже не крикнул, а как-то зверски зарычал Гаврик и свободной рукой толкнул человека с резиновой палкой прямо в грудь с такой силой, что тот отлетел назад и чуть не упал. — Не тронь, морда! Погромщик, союзник! Убью!

Не спуская острых, ненавидящих глаз с «союзника», Гаврик скинул с плеча газеты и протянул их назад, Пете.

— Бери и тикай прямо в ремонтные, вызывай дружинников, — быстро сказал он, облизывая губы и вряд ли даже соображая, что Петя может и не знать, что это такое — дружинники.

Но Петя очень хорошо понял Гаврика. Прижимая к груди пачки газет, он что есть мочи побежал по переулочу.

Теперь Гаврик и «союзник» стояли друг против друга посередине мостовой, и Гав-

рик, продолжая облизывать губы и тяжело дышать носом, медленно опустил в карман правую руку; а когда ее так же медленно вынул, на ней оказался стальной кастет с блестящими шипами.

— Убью! — повторил Гаврик, продолжая в упор рассматривать своего врага, как бы навсегда желая запомнить его опухшее, черномазое, словно покусанное пчелами, безглазое лицо, голову с косым пробормом и волосами, зачесанными на низкий лоб, и уголовно-капризную улыбку жестокого болвана.

— Ну, паскудная морда! — сказал «союзник» и замахнулся резиновой палкой.

Но Гаврик успел увернуться и побежал следом за Петей.

Он слышал за собой стук сапог, и когда этот стук сделался особенно близким, Гаврик вдруг бросился ничком на землю, и «союзник» со всего маху перелетел через него и растянулся на мостовой. Гаврик сел на него верхом и, не помня себя, стал молотить кастетом по черной, как вакса, голове, бессмысленно приговаривая:

— Не трожь! Не трожь! Не трожь!

Тогда «союзник» полез в карман и со стоном вытащил маленький браунинг черной вороненой стали. Раздалось подряд несколько выстрелов, но Гаврик успел прижать ногой стреляющую руку, и пули защекали по мостовой, высекая из булыжников искры.

— Городовой! Полиция! — рыдающим голосом закричал «союзник» и вдруг, вывернувшись, укусил Гаврика за ногу.

Гаврик застонал. Они стали кататься по земле, и неизвестно, чем бы это кончилось для Гаврика, который был в два раза меньше и слабее своего противника, если бы не подоспела помощь из ремонтных мастерских.

Пять дружинников, вооруженных обрезками водопроводных труб и дрочками, вырвали из рук «союзника» браунинг и резиновую палку, наскоро надавали ему по шее, а Гаврика почти на руках утащили во двор мастерских; и все это так быстро, что, когда на выстрелы явился городской с поста, в переулочке уже никого не было, кроме «союзника», который сидел на земле, прислонившись спиной к забору завода растительного масла и маргарина «Коковар», и выплевывал окровавленные зубы.

С этого дня — сначала в рабочих районах и на слободках, а потом и кое-где в центре города — стала продаваться новая ежедневная газета «Правда».



## ХУТОРОК В СТЕПИ

Через несколько дней у Пети начались экзамены. Моте и ее маме стоило больших трудов привести в порядок — почистить, погладить и заштопать — Петин гимназический костюм, побывавший уже за время жизни Пети на Ближних Мельницах во многих переделках.

Петино ухо, задетое резиновой палкой во время сражения с «союзником», хотя уже и не болело, но все еще было неприлично раздуто и напоминало сливу. Чтобы прибавить ему хоть сколько-нибудь натуральный вид, Пете пришлось разрешить слегка его припудрить зубным порошком, что Мотя и проделала, со всей нежностью и осторожностью прикасаясь тряпочкой к поврежденному органу и высунув от усердия кончик языка.

Экзамены прошли сравнительно благополучно, хотя Петю и старались срезать.

Вся эта изнурительная экзаменационная пора, как всегда совпавшая с первыми майскими грозами, буйным цветением сирени, почти летней жарой и короткими бессонными ночами, полными любовного шопота и лунного света, окончательно измучила Петю. И когда наконец он явился с последнего экзамена на Ближние Мельницы, взъерошенный, перепачканный чернилами и мелом, потный, счастливый, его трудно было узнать — так осунулось и повзрослело его сияющее лицо.

А на другой день, с подушкой и одеялом на плече, завернутыми в плед, он уже подходил к хуторку.

Первый, кого он увидел, был отец. Василий Петрович полел под вишнями бурьян и вырывал с корнем наиболее упорные кустики желтой ромашки. Петя увидел его милую непокрытую, заметно поседевшую голову, увидел синюю косоворотку, выгоревшую на спине и полинявшую подмышками, увидел старые панталоны, вздувшиеся на коленях, пыльные сандалии и пенсне, которое всякий раз, как отец наклонялся, падало с носа и болталось на шнурке, — и Петино сердце сжалось.

— Папочка! — сказал он. — Я выдержал!

Отец обернулся, и его потное бородатое лицо с толстой жилой, вздутой на лбу, осветилось радостной улыбкой:

— А! Петруша! Ну, поздравляю, поздравляю...

Мальчик бросил подушку и одеяло в пыльную траву и обеими руками обнял отца за горячую, побуревшую от загара шею, с удивлением и тайной гордостью заметив, что уже почти сравнялся с ним ростом.

Из лиловых кустов цветущей сирени показалась с сапкой в руках тетя, которую Петя не сразу узнал, так как ее голова была повязана платком, что делало ее похожей на простую хохлушку.

— Тетя, я выдержал! — сказал Петя.

— Слышу, слышу и поздравляю, — сказала тетя, вытирая перевернутой рукой мокрый лоб, и хотя на ее лице было написано самое неприкрытое удовольствие, она все-таки не удержалась, чтобы не прибавить нравоучительно: — Но так как ты уже теперь семиклассник, то надеюсь — наконец-таки остепенишься.

Кухарка Дуня, так же как и тетя побабья повязанная платком и с сапкой в руке, подошла и поздравила паныча с благополучным окончанием экзаменов.

Потом закрипели колеса, и показалась большая, костлявая, очень старая лошадь в траурно-черных шорах, запряженная в длинную, с оглоблями водовозную бочку. Лошадь вел под уздцы уже знакомый Пете молодой долговязый парень Гаврила, а на бочке сидел босиком и в соломенной шляпе Павлик, держа в руках вожжи и кнут.

— Гэ! Петька, здорово! — закричал он, сплевывая вбок, как заправский кучер. — Смотри, как я уже научился править!.. Но, не балуй! Пр...р...р... — строго обратился он к лошади, которая сейчас же и с видимым удовольствием остановилась на своих дрожащих ногах.

Гаврила стал поливать деревья, опрокидывая полные ведра в лунки вокруг стволов. Сухая земля быстро поглощала воду. Пете стало ясно, каких трудов стоило ухаживать за садом.

Уже началось лето, а еще не прошло ни одного большого дождя. Воды в цистерне осталось лишь на самом дне. Воду приходилось возить с конечной станции конки.

Сад уже отцвел, и деревья были усыпаны завязью, которая все время требовала влаги. Хорошо еще, что в хозяйстве Васютинской оказались очень старая, слепая лошадь Чиновник и водовозная бочка. Но требовалось громадное количество воды, а Чиновник еле ходил.

Целый день слышался скрип немазанных колес водовозки, щелканье кнута и тяжелое

дыхание черной костлявой клячи, готовой каждую минуту лечь и околеть. Утром ее трудно было поднять с мокрой соломенной подстилки. Она вся дрожала, бессильно перебирая большими потрескавшимися копытами, и мухи ползали по ее молочно-белым слезящимся глазам.

Это немного портило настроение и временами казалось мрачным предзнаменованием. Впрочем, погода стояла такая лучезарная, благодатная, а урожай обещал быть таким богатым, что семейство Бачей, с утра до вечера занятое непривычным, но увлекательным физическим трудом, чувствовало себя, в общем, прекрасно.

Сначала Петя думал, что он никогда не научится окапывать деревья. Тяжелая лопата неловко вертелась в руках и казалась слишком тупой, для того чтобы глубоко входить в землю, густо поросшую ромашками и бурьяном. Петины руки горели, натертые до волдырей. Но когда эти волдыри лопнули и превратились в мозоли, Петя уже стал кое-что понимать.

Оказывается, лопату следовало ставить наклонно и нажимать на нее не только руками, но главным образом ногой — медленно и плавно. Тогда слышался треск разрываемых корней, и лопата косо входила в чернозем до самого своего верхнего края. Затем наступал блаженный миг, когда, навалившись всем телом на рукоятку и чувствуя, как она слегка гнется, Петя с приятным усилием выворачивал на сторону тяжелый пласт земли с отпечатком лопаты и коралловым извивающимся дождевым червяком, разрезанным пополам.

Сначала Петя работал в сандалиях, но, чтобы сберечь обувь, стал копать босиком, и в этом прикосновении босой ступни к нагретому железу тоже было нечто очень волнующее, приятное. Петя понимал, что это не забава, а настоящий труд, от которого зависит судьба семьи.

Вся семья трудилась в поте лица, это была подлинная борьба за существование. Обедали в полдень на большой застекленной веранде, раскаленной от солнца. Ели борщ, вареную говядину, серый пшеничный хлеб, который покупали у немцев-колонистов в Люстдорфе. Все были так утомлены, что почти не разговаривали, а если и разговаривали, то больше о погоде, о дожде, об урожае.

Теперь хотя жили на даче, но совсем не походили на дачников. Спали на козлах и

раскладушках в больших, неуютных комнатах барского дома, где по углам валялись в беспорядке лопаты, сапки, ведра, лейки и всякие другие садовые инструменты. Умывались на рассвете возле водовозной бочки и, хотя до моря было сравнительно недалеко — версты полторы, ходили купаться редко: не было времени.

Василий Петрович похудел, почернел, явно переутомился, но не давал себе ни малейшей поблажки и работал с таким упорством, что временами Пете даже становилось его жалко.

Казалось бы, все шло хорошо. Жизнь устроилась именно так, как Василий Петрович иногда втайне мечтал, особенно после путешествия в Европу: немного на швейцарский манер, в духе Руссо, вне зависимости от государства и общества. Маленький клочок земли, фруктовый сад, виноградник, здоровый физический труд и отдых, посвященный чтению, прогулкам, философским беседам, и прочее.

Правда, пока еще был только здоровый физический труд, а для отдыха, посвященного духовным радостям, времени не оставалось. Но это было в порядке вещей: новая жизнь только еще начиналась.

Однако Василия Петровича все время не покидало чувство утомительного беспокойства. Волновал урожай.

Пока завязь на черешнях и вишнях была хороша и обильна, зеленые шарики увеличивались с каждым днем, но кто знает, что случится дальше? Вдруг не будет дождей, поливки не хватит и урожай пропадет? Но даже если он не пропадет, каким образом его продать?

До сих пор вопрос о продаже урожая еще как следует не обсуждался, это считалось как-то само собой понятным. Придут какие-то люди — оптовые фруктовики с нового базара — и сразу купят весь урожай. Ну хорошо. А если они не придут и не купят?

Между тем срок уплаты по векселям приближался, и от мадам Васютинской уже пришли из-за границы две открытки с напоминанием, причем старуха предупреждала, что, если деньги не будут уплачены точно в срок, она немедленно опротестует векселя, расторгнет арендный договор, а хутор передаст другому лицу.

Это лишало Василия Петровича покоя, и он несколько раз уже раздражался по пустякам.

Тетя держалась бодро, строила различные планы и приколотла кнопками к телеграфному столбу возле конечной станции конки листок почтовой бумаги с объявлением, что в чудной степной местности, недалеко от моря, в барской усадьбе с фруктовым садом и виноградником, сдаются две совершенно отдельные комнаты на весь сезон или помесечно; можно с полным пансионом.

Эти две отдельные комнаты представляли собой не что иное, как крошечный, заброшенный флигелек под черепичной крышей, где во времена мадам Васютинской помещалась прислуга. Он стоял на отлете, окошками в степь, весь вокруг зарос высокой серебристой полынью и казался Пете, который уже успел облазить всю усадьбу, прелестным, таинственным и очень поэтичным уголком.

Впрочем, дачники, первое время приходившие по объявлению, не оценили этого уголка и повторяли, не сговариваясь, одну и ту же пошлую фразу: «Где дача, а где море!»

Несколько раз приходил Гаврик заниматься по-латыни. Хуторок ему понравился, но всю эту затею с физическим трудом и жизнью в поте лица попрежнему не одобрял и считал чудачеством, хотя и не высказывался прямо. Наоборот, он очень серьезно расспрашивал насчет поливки, прополки, видов на урожай и оптовых цен на черешню. Советов никаких не давал, но все время озабоченно покачивал головой и так сочувственно вздыхал, что Петя даже стал побаиваться за исход всего предприятия.

О своей работе в типографии и о жизни на Ближних Мельницах Гаврик говорил скупно и неохотно, и по некоторым его фразам Петя заключил, что дела идут не слишком гладко: после большой первомайской демонстрации, которая ввиду экзаменов прошла для него как-то незаметно, снова зашевелилась полиция — были обыски, нескольких человек арестовали, приходили также в хату Черноиваненко, но ничего не нашли и Терентия не взяли.

— В общем, работать стало довольно-таки паршиво, — сказал Гаврик, и Петя уже не сомневался в значении слова «работать».

В один из своих приходов, как бы продолжая мысль, что работать стало паршиво, Гаврик вдруг сказал:

— А насчет того, чтобы сдавать под дачников флигелек, — это, конечно, не так плохо.

— Да, но никто не нанимает, — сказал Петя.

— Хорошенько поискать, так, может, и наймут, — ответил Гаврик с таким видом, как будто уже давно обдумывал этот вопрос. — Есть люди, которым такая квартира вполне подходит. Не каждому удобно нанимать комнату в городе, где как только переехал, так сейчас же давай паспорт в участок на прописку. Понял меня? — строго спросил Гаврик и посмотрел Пете прямо в глаза.

— Чего ж там не понимать, — ответил Петя, пожимая плечами.

— Ну так имей в виду, — еще более строго сказал Гаврик. — Понимаешь, какое дело... — продолжал он уже мягче и как бы между прочим. — Есть одна вдова с ребенком, фельдшерица, приезжая, ищет комнату в тихом месте. Мы бы ее, конечно, могли устроить у себя в сарайчике, да, понимаешь, у нас на Ближних Мельницах обстановка не совсем подходящая: такая слежка, что и думать нечего. У этой вдовы вид на жительство и все прочее в порядке, так что за это вы не беспокойтесь, но все-таки...

— Понимаю, — сказал Петя.

— Ну, раз понимаешь, то нечего и объяснять. Одним словом, это мне поручил Терентий спытать у тебя. А я сам эту вдову никогда и в глаза не видел. Думаю, что ей у вас будет хорошо. Отдельный хуторок, вроде целое имение; ни деревня, ни город, вокруг много дачников... Кто обратит внимание? Самое подходящее дело. Вопрос в том, сколько вы просите за наем?

— Кажется, рублей семьдесят в сезон.

— Ну, брат, это вы слишком размахнулись! Смотри, как бы не вылетели в трубу! Красная цена пятнадцать рублей в месяц. Можно за два месяца вперед. Хотя что ты в этом понимаешь? Я лучше поговорю с Татьяной Ивановной.

Гаврик поговорил с тетей и быстро убедил ее, что лучше живые, настоящие тридцать рублей, которые не валяются на земле, чем воображаемые семьдесят пять. Что касается самой вдовы с ребенком, то Гаврик о ней не распространялся, а только дал понять, что он специально для них нашел выгодного нанIMATEЛЯ, и таким образом вышло, что, в общем, он делает семейству Бачей большое одолжение, хотя ничего точно и не обещает.

Дождя все не было и не было. Засуха продолжалась. Жара стояла ужасная.

## XLIV СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Чинovníк, которого из экономии кормили не овсом, а травой, заболел сильнейшим поносом и уже четвертый день лежал с раздутым животом на своей подстилке, будучи не в состоянии не только возить воду, но даже приподняться на передние ноги. Приходил из Люстдорфа немец-ветеринар, осмотрел Чинovníка, заглянул ему в оскáленный рот и на тревожный вопрос тети, сможет ли он в конце концов возить воду, сказал:

— Этот лошадь уже свое отвозил, теперь ему пора на живодерку.

Завязь на деревьях перестала наливатьсá. Казалось, она уже больше не растет, а остается одной и той же величины, не крупнее горошины. Но самое ужасное было то, что кое-где она уже стала желтеть и даже отваливаться.

Семейство Бачей продолжало с утра до вечера окапывать деревья, хотя все понимали, что это бесполезно.

— Тетя, папа, Петька, идите скорей, персы пришли! — кричал Павлик, пробегая под низкими ветвями деревьев и размахивая соломенной шляпой.

В сущности, это были совсем не персы. Это были два могучих еврея в синих блузах по колено и в высоких барашковых шапках, мрачно надвинутых на брови, — фруктовщики с привоза, которых обычно называли персами, так как некогда вся оптовая торговля фруктами в Одессе принадлежала персам.

Петя увидел двух истуканов с каменными лицами, которые стояли возле рассохшейся водовозной бочки. Мальчик смотрел на них, как на судьбу, со страхом и надеждой. Даже на экзаменах он волновался гораздо меньше, чем теперь.

Все семейство Бачей стояло, обступив «персов».

— Вы будете здесь хозяйка? — не здороваясь, обратился один из них к тете низким, рокошущим голосом, как бы исходящим из глубины желудка. — Имеем посмотреть на ваш урожай — может быть, мы его купим гамузом (чохом) на корню, если от него еще что-нибудь осталось.

И, не дожидаясь ответа, оба «перса» пошли по заросшим дорожкам, небрежно оглядывая деревья и по временам останавливаясь, чтобы потрогать руками завязь или пощупать землю в лунках.

Семейство Бачей молча следовало за ни-

ми, стараясь отгадать, какое впечатление производит их сад. Но хотя лица «персов» были непроницаемы, чувствовалось, что дело совсем плохо. Окончив осмотр сада, «персы» пошептались, наклонив друг к другу барашковые шапки.

— Поливать надо, — сказал один из них, обратившись к тете, а затем они опять пошептались и молча пошли прочь.

— Ну, так как же? — спросила тетя, мелкими шажками догоняя их у ворот.

— Поливать надо, — повторил «перс», останавливаясь, и, подумав, прибавил: — Такую фрукту даром не возьмем.

— Ну, это вы, положим, преувеличиваете, — с некоторым напряженным кокетством сказала тетя, желая повернуть разговор в шутку. — Будем говорить серьезно.

— Чтобы не торговаться, за всю черешню и вишню гамузом двенадцать карбованцев, — сказал «перс» и еще ниже насунул на брови свою шапку.

Тетя гневно покраснела. Двенадцать рублей была настолько смехотворная, унижительно ничтожная сумма, что ее нельзя было принять иначе, как оскорбление. Тете даже показалось, что она ослышалась.

— Сколько? Сколько вы даете?

— Двенадцать карбованцев, — повторил «перс», с особенной грубостью выговаривая это извозчиье слово «карбованцев».

— Василий Петрович, вы слышите, что они нам предлагают? — воскликнула тетя, всплеснув руками, и ненатурально расхохоталась.

— А что? Хорошие деньги, — сказал «перс». — Берите, пока дают, а то через неделю даже синенькой не получите, только задаром понатираете себе мозолей.

— Грубиян! — сказала тетя.

— Милостивый государь, ступайте отсюда вон! — крикнул Василий Петрович, и его нижняя челюсть задрожала. — Чтоб ноги вашей здесь больше не было!.. Гаврила! Гоните их в шею, в шею! Грабители! — И Василий Петрович затопал ногами.

— А вы не выражайтесь, — сказал «перс» довольно миролюбиво. — Сначала научитесь ухаживать за фруктой, а потом уже кричите. Нашелся!

И «персы» ушли, не забыв закрыть за собой калитку.

— Нет, вы только подумайте, какая наглость! — несколько раз повторила тетя, бросив лопату и обмахиваясь носовым платком.

— Вы, барыня, не расстраивайтесь понапрасну, — сказал Гаврила. — Оставьте без

внимания. Это они приходили нарочно сбивать цену. Я ихнего брата знаю. А что касается поливать, то это безусловно. Сады у нас поливные. Поливать, конечно, требуется. Не польешь — не продашь. Да в том беда, что лошадь лежит. Не на чем возить. Дождик бы... А поливать — так без этого нельзя.

Но это было слабое утешение.

Сделали попытку нанять лошадь у немцев-колонистов в Люстдорфе, но из этого ничего не вышло, так как немцы сначала заломили несуразно большую цену, а потом и вовсе отказались, ссылаясь на горячую пору. На самом же деле у всех у них были свои фруктовые сады, и гибель конкурента их только радовала.

— Удивительно, как это не по-соседски! — восклицала тетя за обедом, хрустя пальцами, чего раньше за ней не замечалось.

— Что поделаешь, что поделаешь... — бормотал Василий Петрович, чересчур низко наклоняясь к тарелке, и прибавлял: — Хомо хомине люпус эст, то-есть человек человеку волк... Впрочем, я предсказывал, что вся эта глупейшая затея с торговлей фруктами кончится скандалом, — говорил он, и его уши наливались кровью, как петушиный гребень.

Он сказал, что затея кончится скандалом, но он должен был сказать, что затея кончится полным разорением семьи. Это так и было понято. Тетя даже побледнела от боли, которую ей причинили эти жестокие и несправедливые слова. Слезы выступили у нее на глазах, губы задрожали.

— Василий Петрович, побойтесь бога! — умоляюще проговорила она, трогая пальцами виски.

— Это вы побойтесь бога! Это всё ваши фантазии!.. Идиотские фантазии...

Василий Петрович не мог остановиться, он уже не владел собой. Он вскочил из-за стола и вдруг увидел, что Павлик как-то неприлично гримасничает. Ему показалось, что мальчик зажимает себе пальцами нос, чтобы не фыркнуть. На самом же деле он в отчаянии кусал себе кулаки, чтобы не заплакать.

— А! — не своим голосом крикнул Василий Петрович. — Ты позволяешь себе издеваться над отцом! Так я же тебе покажу, что такое отец! Встать, мерзавец, когда с тобой говорит отец!

— Папочка! — зарыдал Павлик, с ужасом закрывая лицо руками.

Но Василий Петрович уже ничего не

соображал. Он поднял тарелку с борщом и разбил ее об пол. Потом, неловко вывернув руку, ударил Павлика по шее и выбежал в сад, с такой силой хлопнув дверью, что у нее посыпались разноцветные стекла.

— Я больше не могу жить в этом сумасшедшем доме! — вдруг завизжал Петя. — Окаянные! Я ухожу от вас навсегда на Ближние Мельницы! — И он побежал к себе в комнату собирать вещи.

Одним словом, это была безобразная, унижительная сцена. Можно было подумать, что все вдруг сошли с ума или взбесились, как собаки от жары.

А жара была действительно ужасная: изнуряющая, сухая, душная, жгучая, способная кого угодно свести с ума и взбесить. Небо, побелевшее от зноя, было подернуто тусклой пеленой металлического оттенка. Из степи, как из печки, несло жаром. Оттуда, гоня тучи пыли, дул суховей. Цветущие акации раскачивались с бумажным шелестом. Всюду лежала сизая трава. Полоса бурого моря, покрытого грязными барашками, шевелилась на горизонте, и когда временами утихал шум ветра, слышался шум моря — сухой и черствый, как будто где-то далеко с утомительным однообразием пересыпали щепенку.

Пыльные тени деревьев металась в комнатах по стенам и потолкам. Ужасный день... Не только Петя, но также Василий Петрович, тетя и даже Павлик готовы были собрать свои вещи и бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть друг друга и не испытывать взаимных оскорблений. И, конечно, никто никуда не убежал, а все лишь слонялись по раскаленным комнатам, по шумящим аллеям. Они чувствовали себя прикованными к этому постылому месту, которое сначала показалось им земным раем.

Перед вечером в саду появилась маленькая фигурка толстого человека в высокой барашковой шапке, но уже не черной, а коричневой. Это был тоже перс, но на этот раз настоящий, с длинными восточными усами и глазами, полными неги. Он быстро обошел сад, опираясь на короткую палочку, а потом долго стоял возле кухни, ожидая, что к нему выйдет кто-нибудь из хозяев. Но так как никто не вышел, он подошел к дому и постучал палочкой в окно.

— Эй, хозяйка! — сказал он выглянувшей тете, показывая растопыренную шафранно-желтую пятерню с грязными ногтями. — Бери за все гамузом пять карбованцев; не возьмешь — пожалеешь.

— Хулиган! — страшным голосом сказала тетя. — Гаврила, что же ты смотришь? Гони его в шею!

Но настоящий перс не стал дожидаться Гаврилы, а побежал мелкой рысцой, припадая на одну ногу, и в мгновение ока скрылся.

Затем принесли третью открытку от мадам Васютинской, в которой напоминалось о приближении срока платежа по векселям.

В этот день никто не захотел ужинать, и на столе на террасе долго стояли четыре глубокие тарелки с простоквашей, в которой таял желтый сахарный песок.

Среди ночи внезапно раздался нечеловеческий, душу леденящий вопль, разбудивший всех в доме. Что это было? За окнами метался, как в горячке, черный сад. Скоро вопль повторился. Теперь он был еще ужаснее: в нем слышался какой-то скрежещущий, рыдающий хохот. Кто-то пробежал по аллее, размахивая фонарем. Затем весь дом потряс громкий стук в стеклянную дверь веранды. На пороге стоял Гаврила, размахивая фонарем.

— Барыня, идите скорей, Чиновник подыхает! — услышал Петя испуганный голос сторожа.

Когда, наскоро одевшись и дрожа с ног до головы, Петя прибежал к конюшне, там уже толпились в дверях тетя, Василий Петрович, кухарка Дуня и Павлик — босой, закутанный в одеяло.

Фонарь Гаврилы зловеще передвигался внутри конюшни, откуда с короткими перерывами вылетали утробные, дрожащие стоны околевавшего Чиновника. Все стояли в оцепенении, не зная, что делать, как помочь беде.

Перед рассветом, в последний раз крикнув особенно раздирающим голосом, полным какой-то сознательной муки и ужаса, Чиновник наконец навсегда затих. А утром откуда-то приехала арба, и его увезли далеко в степь — громадного, костлявого, вороного, с оскаленной мордой и задранными голенастыми ногами, на которых блестели старые, потертые подковы.

## XLV

### ВДОВА С РЕБЕНКОМ

Все были так подавлены, что целый день никто не мог работать. Смерть Чиновника казалась не только дурным предзнаменованием, но как бы окончательным крушением

всех надежд, полным разорением и гибелью семьи.

Всеми овладело безысходное отчаяние.

После обеда ветер понемногу стих, но духота стала еще сильнее. Ни одного облачка не было в серебристо-пыльном небе. По всему горизонту струилась лиловая муть, как обманчивое отражение очень далекой грозы, которая все время где-то накапливалась, собиралась и никак не могла собраться. Впрочем, уже не впервые за последний месяц ожидали грозы. Каждый раз она обманывала: то незаметно рассеивалась в раскаленном воздухе, то, обойдя стороной, оказывалась где-то далеко за горизонтом, в открытом море, откуда только долетали раскаты бесполезного грома.

Так было и сегодня. Гроза проходила далеко стороной. В возможность грозы уже больше никто не верил, хотя лишь она одна могла спасти гибнущий урожай.

В этот день измученный бессонной ночью, не зная, куда себя деть, Петя отправился бродить по окрестностям и бродил до тех пор, пока, сделав громадный круг, не вышел к морю. Хватаясь за камни и корни, он сбегал с высокого обрыва вниз и сел на горячую гальку.

После вчерашнего шторма море еще не вполне успокоилось, но волны, тяжелые от тины, уже не сердито били о берег, а плавно накатывались, оставляя на гальке маленьких медуз и дохлых морских коньков.

Это был дикий, безлюдный кусочек берега, и здесь Петя, весь день искавший одиночества, чувствовал себя очень хорошо, спокойно и немного грустно. Он давно уже не купался и теперь, быстро раздевшись, с удовольствием полез в теплую пенистую воду.

Была особая, необъяснимая прелесть в этом купанье в одиночку. Сначала он немного поплавал возле берега, среди скользких подводных камней, поросших коричневыми водорослями, потом повернул в море. Он, как всегда, плыл на боку, по-лягушачьи отталкиваясь ногами и выбрасывая вперед руку. Он ударял плечом волну, стараясь вызвать брызги, и тогда ему казалось, что он стремительно несется вперед, хотя на самом деле он плыл не слишком быстро. В эту минуту он сам себе очень нравился. В особенности ему нравилось плечо, которым он рассекал волны, смуглое, атласное, облитое зеркальной водой, отражавшей солнце.

Уже давно прошло то время, когда он боялся удаляться от берега. Теперь он уже смело заплывал в открытое море и там ло-

жился на спину, покачиваясь на волнах и всматриваясь в небо до тех пор, пока ему не начало казаться, что он смотрит на него сверху вниз, потеряв вес и каким-то чудесным образом вися в пространстве. Тогда для него исчезал мир, и он забывал все на свете, кроме самого себя — одинокого и всемогущего.

Заплыв по крайней мере на версту от берега, Петя остановился и уже собирался лечь на спину, как вдруг его поразила перемена, которая произошла в природе, пока он плыл. Небо над головой было попрежнему чистое и море вокруг попрежнему блистало жарко и ослепительно, но теперь этот блеск стал как-то особенно резок, напоминающая зеркальный блеск антрацита.

Петя посмотрел в сторону берега и над узкой полосой обрывов, над степью увидел что-то громадное, совершенно черное, поминутно меняющее очертания и, что было самое страшное, безмолвное. Прежде чем Петя понял, что это грозовая туча, она уже приблизилась к солнцу, ослепительно белому, как горящий магний, и вдруг с разбегу проглотила его, в одно мгновение погасив все краски в мире, кроме свинцово-серой.

Петя изо всех сил и уже кое-как поплыл назад, стараясь достигнуть берега, прежде чем разразится буря. Плывя, он видел, как далеко в степи, на фоне аспидного неба, догоняя друг друга, бежали смерчи сухой пыли. Но когда он выбрался на берег и посмотрел в море, то увидел, что на том месте, откуда он только что вернулся, уже кипит белая полоса шквала и с криками мечутся чайки.

Петя едва догнал свои штаны и рубашку, катящиеся по берегу. Пока он взбирался вверх по обрыву, вокруг стало темно, как поздним вечером, а когда он добежал до конечной остановки конки, где уже прокладывались рельсы электрического трамвая и отливали из бетона новую станцию, полоснула молния, ударил гром, и в наступившей тишине послышался сухой шум бегущего по кукурузе ливня.

Петя выбежал на дорогу, и вдруг перед ним как бы распахнулся воздух, ударило острыми запахами сырой конопки, и сейчас же на него обрушилась стена ливня.

В одну минуту дорога вздулась, как река. При свете молний Петя увидел пенистые потоки воды, кипящие вокруг него и сбивающие с ног. Ноги скользили и разбегались. Нечего было и думать идти дальше на хуторок. Петя побежал по колену в воде назад к

станции, крестясь каждый раз, когда вспыхивала совсем близкая молния и сейчас же следом за ней с пироксилиновым шорохом сыпались сухие обломки грома. И только провалившись в канаву, полную воды, Петя вдруг понял, что это именно та самая гроза, тот самый ливень, которых с такой надеждой ожидало семейство Бачей.

Вокруг бушевала не просто вода, а именно та самая вода, которая должна вдоволь напоить сад, наполнить высохшую цистерну и спасти семейство Бачей от разорения.

— Ура! — в восторге закричал Петя и, уже ничего не боясь, побежал к хуторку.

По дороге он несколько раз падал, шлепаясь плашмя в грязь, но теперь эта теплая грязь казалась ему удивительно приятной. Он прибежал домой как раз в тот короткий промежуток затишья, когда сквозь поредевшие водянистые тучи мутно просвечивал закат, а гроза ушла далеко в море, где по синему горизонту судорожно бегали молнии и слышалось рычанье грома. Но не успел Петя обежать по размытым дорожкам сад и полюбоваться лунками, полными мутной воды, не успел радостно, весело поцеловать отца в мокрую бороду, не успел дать леща Павлику и крикнуть тете: «Живем, тетечка, живем!» — как гроза вернулась с моря и с новой силой загремела над хуторком.

Несколько раз в течение ночи гроза уходила в море и снова возвращалась. Всю ночь лил дождь, то бурный, то вкрадчиво-тихий, почти не слышный, и тысячи ручьев ослепительно блестили при свете молний под деревьями, по всей площади сада, озарявшегося до самых его отдаленных, таинственных уголков.

Всю ночь Гаврила с мешком на голове бегал по крыше и вокруг дома, наставляя водосточные трубы, по которым дождевая вода бурно устремлялась в цистерну. Под этот гулкий шум наполняющейся цистерны Петя и заснул крепким, счастливым сном.

Когда Петя проснулся, было уже позднее утро, сквозь теплый, парной туман просвечивало жемчужно-розовое солнце, мокрый сад был полон птичьего щебета, и тетя, заглянув из сада в распахнутое окно, сказала:

— Вставай, лентяй! Пока ты спал, к нам приехали новые жильцы.

— Вдова с ребенком? — спросил Петя, лениво зевая.

— Вот именно, — ответила тетя со своей лукавой, юмористической улыбкой, означав-



шей, что у тети прекрасное настроение. — Одним словом, иди пить чай.

Конечно, было очень любопытно взглянуть на вдову с ребенком, и Петя поспешил на террасу. Но то, что он увидел, ошеломило его.

За столом против тети, между Василием Петровичем и Павликом, сидели и пили чай та самая дама и та самая девочка, которых Петя увидел в прошлом году в Неаполе на вокзале и запомнил на всю жизнь. Петя даже мотнул головой, как будто ему опять влетел в глаз уголек.

— А это наш Петя, познакомьтесь, — со светской улыбкой сказала тетя.

«Мы уже знакомы!» — чуть не закричал Петя, но какая-то внутренняя сила заставила его сдержаться.

Петя, краснея, обошел вокруг стола и благоспитанно шаркнул ногой, ожидая, пока дама первая подаст ему руку. Пожав худые холодные пальцы матери, Петя с тайной надеждой посмотрел на дочку, спрашивая глазами, помнит ли она его.

Девочка с удивлением посмотрела на Петины гримасы и, равнодушно протянув маленькую руку, сказала:

— Марина.

Это было весьма неожиданно, так как Петя, в соответствии с известными романами Пушкина и Гончарова, привык ее считать Таней или Верой. Но она оказалась Мариной, и Петя посмотрел на нее с откровенным разочарованием, как на обманщицу. Между тем она была та же самая, с тем же черным бантом в косе и тем же маленьким вздернутым подбородком, делавшим ее милостивое, немного скуластое личико высокомерно-неприступным.

На ней было то же самое короткое летнее пальтишко, и ее карие глаза смотрели холодно и неодобрительно, как бы спрашивая: «Я не понимаю, что вам от меня нужно?»

«Как! Забыть так скоро?» — с горечью подумал Петя и тут же с еще большей горечью понял, что она его не забыла, а просто тогда и не заметила.

Петя был оскорблен, его самолюбие страдало.

«В таком случае, между нами все конечно!» — сказал Петя глазами и, с ледяным, чисто печоринским равнодушием пожав плечами, удалился на свое место.

— Перестань гримасничать, — сказала тетя.

— Я не гримасничаю, — сказал Петя и

сейчас же стал готовить из сладкого чая бабу, то-есть сначала напихал в стакан хлебного мякиша, а когда мякиш разбух, перевернул стакан и выложил на блюде некое подобие бабки.

Делать бабки в семействе Бачей было почему-то запрещено, поэтому Василий Петрович строго посмотрел на Петю через пенсне и сказал, стуча указательным пальцем по столу:

— Я тебя удалю!

— Вы, пожалуйста, не думайте, что он у нас невоспитанный, он просто стесняется, — сказала тетя, обращаясь к матери, но глядя лукаво на дочку, отчего Петя насупился и стал ложкой ковырять бабу.

Однако Маринина мама не поддержала разговора. Она, видимо, тяготилась этим вынужденным чаепитием с незнакомыми людьми, дачевладельцами, совершенно для нее незнакомыми и малоинтересными.

Она была брюнеткой, у нее тоже был вздернутый небольшой подбородок, темные усики, старая траурная шляпка и недоверчивые глаза.

— Теперь относительно платы, — сказала она, продолжая разговор, прерванный появлением Пети. — Мне говорили, что вы берете пятнадцать рублей в месяц. Это меня устраивает, и позвольте я вам сейчас внесу вперед за два месяца — тридцать рублей. — Она открыла саквояж, вроде тех, с какими обычно ходят акушерки, покопалась в нем и положила на стол несколько бумажек. — А столоваться мы у вас не будем, у нас есть керосинка... Возьмите деньги. Здесь ровно тридцать рублей.

— Ах, что вы, что вы! — смущенно забормотала тетя, густо краснея, как всегда, когда дело касалось денег. — Это необязательно сейчас... Можно и потом... Впрочем, мерси. — И она небрежно подсунула под сахарницу деньги, слегка пахнущие больницей.

Маринина мама снова покопалась в саквояжике, как бы желая еще что-то достать («Ага, паспорт!» — сообразил Петя), но, видимо, раздумала и, решительно щелкнув замком, встала:

— А теперь, разрешите, мы пойдем к себе.

Отказавшись от помощи, мать и дочь разобрали свои вещи — клеенчатую книгоноску, завернутую в газету керосинку, портплед и зонтик — и пошли через сад к флигельку, оставляя на мокрых дорожках глубокие следы новых резиновых калош, больших и маленьких.

— Довольно странная дама, — сказал Василий Петрович. — Впрочем, какое нам дело?

— Во всяком случае, повидимому, вполне интеллигентная, — заметила тетя со вздохом и, достав из-под сахарницы деньги, сунула их в карман своего довольно нарядного фартука.

На некоторое время погода разгулялась, и сад жарко загорелся на солнце, как бриллиантовый. Но едва все семейство Бачей вышло с лопатами на работу, как снова набежали тучи и пошел дождь — на этот раз ровный, спокойный, теплый, именно такой, какой нужен для хорошего урожая. Дождь этот, с небольшими перерывами, шел почти целую неделю, и за это время сад буквально преобразился.

Завязь росла и наливалась не по дням, а по часам, обещая небывалый урожай. Деревья были сплошь увешаны кистями черешен, еще, правда, зеленых, но уже каждую минуту готовых начать белеть. Вследствие этого в семействе Бачей воцарился легкий дух веселья, взаимной любви, радужных надежд, и никто не обратил внимания на ту перемену, которая произошла с Петей.

## XLVI

### СЕКРЕТКА

С некоторых пор мальчик все время находился в состоянии какого-то скрытого возбуждения. С его лица не сходила напряженная, скользкая полуулыбка. Он не находил себе места, не зная, куда себя деть, тем более что все деревья в саду уже были окопаны, хорошо политы дождями и делать там, собственно говоря, было решительно нечего.

Теперь все душевные силы Пети были направлены на одну цель: видиться с Мариной. Казалось, чего проще? Она жила тут, рядом, на одной усадьбе. Они были знакомы. Они могли встречаться хоть десять раз в день. Но именно этого-то и не случилось.

Мать и дочь Павловские (это была их фамилия) все время сидели в своем флигельке и в саду не появлялись. Они, видимо, избегали общества или же, попросту говоря, скрывались, и Петя это прекрасно понимал, но от этого ему было не легче.

За всю неделю ему лишь раз удалось увидеть Марину, да и то издали. Она шла со станции под большим черным зонтиком, по пояс в уже заколосившейся пшенице, и

держала в руке жестянку — наверно, ее посылали в лавочку за керосином.

Петя сбегал домой, надел плащ и с безразличным видом стал расхаживать возле калитки. Но Марина обошла хуторок полем, и Петя видел, как она сложила зонтик, потрясла косою и скрылась в сеньях флигелька.

Петя долго шлялся под дождем по саду, стараясь выбирать такие места, откуда можно было видеть флигелек, но девочка больше не появлялась.

В этот же день вечером, когда стемнело, затаив дыхание и в глубине души презирая себя, Петя прокрался к флигельку, присел на корточки в густой чаще полыни, окатившей его с головы до ног душистым, горьким ливнем застоявшейся в ней дождевой воды, и долго подсматривал в окна.

В одном окне было темно, а в другом горела свеча, и Петя увидел наклоненную голову Марины и ее прилежно пишущую руку с пальчиками, просвечивающими, как фарфоровые. Сзади по выбеленной стене ходила большая тень мадам Павловской, размахивающей открытой книжкой, из чего можно было заключить, что Марина пишет диктовку.

Это сразу несколько отрезвило Петю и даже заставило его презрительно усмехнуться.

В это время пишущая рука девочки нерешительно остановилась. Марина посмотрела в потолок. Петя увидел вздернутый подбородок, наморщенный лоб и прищуренные глаза, на одном из которых краснел ячмень. Продолжая сосредоточенно смотреть в потолок, девочка несколько раз облизнулась, и Петя вдруг почувствовал прилив такой любви, что даже зажмурился. Нет, решительно он еще никогда в жизни не любил никого так сильно, как эту черненькую девчонку с ячменем на глазу и независимо вздернутым подбородком.

Он любил ее уже давно, целый год. Но раньше она была мечтой, выдумкой. Временами он сам переставал верить в ее существование. Петя настолько забыл Марину, что даже не всегда мог представить, какая она на самом деле. В сущности, тогда это не была любовь, а лишь предчувствие любви: снежная буря в горах, черные лебеди вокруг островка Руссо, сернистый дым Везувия, неясное представление о Париже, волшебные слова «Лонжюмо» и «Мари Роз» — словом, все то, что год назад так поразило его воображение, так измучило его душу.

Теперь это была обыкновенная, земная

любовь, обольстительная именно тем, что она так доступна. Марина ничем не возвышалась над Петей, в ней уже не было никакой тайны. Просто девочка — даже не очень хорошенькая — с ячменем на глазу пишет диктовку. Завтра она выйдет в сад погулять, он подойдет к ней; они будут долго разговаривать и уже больше никогда не расстанутся.

Петя вернулся домой и лег спать в сладкой уверенности, что завтра для него начнется какая-то новая, очень приятная жизнь. Он даже охотно представил себя Евгением Онегиным, а ее Татьяной и предвкушал тайное свидание, когда он сначала будет ей «давать уроки в тишине», а потом скажет, что пошутил, и нежно возьмет под руку.

Но ничего подобного не произошло.

Марина попрежнему не появлялась, и Петя мысленно ее упрекал, даже называл обманщицей, как будто бы она ему что-то обещала. Потом он решил ее наказать презрением и больше не обращать на нее внимания. Он заставил себя за целый день ни разу не посмотреть в сторону флигелька. Это было, конечно, с его стороны слишком жестоко, но ничего не поделаешь. Пусть она знает, на что он способен, если его обманывают. Пусть пеняет на себя...

На другой день Петя решил смягчиться и сменил гнев на милость — ведь все-таки он ее любил. Он опять стал издали смотреть на флигель. Напрасно: она не появлялась.

Тогда он настолько потерял самообладание, что рискнул пройтись несколько раз совсем близко. Он заметил, что от флигелька уже была протоптана новая узенькая тропинка. Очевидно, по этой тропинке она ходила гулять в степь. Ага, так вот почему она не появляется в саду! Оказывается, она любит гулять в степи одна. А может быть, эта узенькая тропинка не что иное, как намек, вызов его на тайное свидание? Боже мой, как он мог этого не понять! Кажется, так ясно! И он стал гулять в степи, нетерпеливо поглядывая на флигелек. Сейчас она его заметит и выйдет. Он будет нежен, но строг.

Единственно, что теперь огорчало Петю, — это то, что снова начались жары и невозможно было надеть плащ.

Но, увы, она попрежнему сидела дома. Она его просто дразнила.

«Ну, погоди! — думал Петя. — Кончится у них керосин, и тогда мы посмотрим!»

Как назло, установилась изумительная летняя погода. Кончилась сирень, но зато всю цвели белая акация и жасмин. Все во-

круг было пропитано их сладким, тяжелым запахом. По ночам к нему примешивался еще раздражающий запах матиолы и садового табака, бледные звезды которого так неясно и таинственно белели в сумерках на разросшихся клумбах перед домом.

Вечером из моря выходила очень большая бледнорозовая луна, а в полночь она уже ярко сияла над садом, над степью, заливая все вокруг своим теплым, жасминовым светом.

Можно ли было представить себе обстановку, более подходящую для романа! И все это пропадало зря.

Измученный бездельем и любовью, Петя потерял сон, аппетит. Он даже похудел, как-то высох, почернел, и его глаза все время беспокойно блестели.

— Ты что, влюблен? — как-то спросила тетя, с любопытством посмотрев на Петю.

Петя хотел облить тетю презрительным взглядом, но вместо этого на его лице появилась такая жалкая улыбка, что тетя только махнула рукой.

Все это кончилось тем, что Петя начал писать дневник. Он достал общую тетрадь и, выдрвав из нее несколько страниц с алгебраическими задачами, написал: «Я полюбил...» Он думал, что легко наполнит всю тетрадь подробным описанием своих чувств, которые казались ему необыкновенными и неисчерпаемыми. Но как он ни бился, ему больше не удалось к этому ничего прибавить: такой сумбур был в его голове.

Тогда он решил прибегнуть к последнему средству: написать ей письмо и назначить свидание.

Вообще говоря, это средство было весьма распространенное и не представляло ничего оригинального. Но Петина влюбленность достигла такого высокого градуса, когда человеку кажется, что предмет его любви является существом высшим, идеальным, стоящим вне обычных человеческих отношений, хотя и ходит под зонтиком за керосином или пишет диктовку.

Тем не менее другого выхода у Пети не было.

Обычно для любовной переписки употреблялись так называемые «секретки», весьма распространенные на всяческих балах и танцевальных вечерах при игре в «летучую почту». Эти маленькие разноцветные, сложенные пополам листки почтовой бумаги были в то же время и конвертиками, так как они с трех сторон заклеивались, а потом обрывались по краям полоской, как купоны.

Они были сродни митральезам, конфетти, серпантину, узеньким атласным полумаскам и прочему балльному вздору. На них полагалось писать любовные послания. Но у Пети не оказалось секреток, и купить их было нелегко. Пришлось мастерить самому, сложив пополам лист, вырванный из тетради, и обколоть его по краям булавкой.

Это оказалось совсем не легко, но еще труднее было составить письмо. Петя измазал страниц пять черновиков, прежде чем получилось следующее: «Марина!! Мне необходимо с Вами поговорить по очень важному делу. Выходите завтра ровно в 8 ч. вечера в степь. Не подписываюсь, т. к. надеюсь, что вы сами догадаетесь, кто». Слова «по очень важному делу» Петя подчеркнул три раза, тайно рассчитывая на женское любопытство.

Затем он сходил в сад и сколупнул с дерева шарик вишневого клея. Он не без удовольствия его пожевал и залепил им секретку, написав на ней «Марине. (В собственные руки)».

Спрятав письмо в карман, Петя, не теряя времени, отправился искать Павлика. Он нашел его за конюшней. Павлик играл с Гаврилой в карты. Как раз в эту минуту он стоял на коленях с поднятой рукой и собирался изо всех сил хлопнуть бубновым тузом по дряхлому, потертому валету, который лежал на земле рядом с колодой, окруженной ползающими козявками и кучками медных денег.

Лицо Павлика выражало разнузданный азарт, в то время как Гаврила, тоже стоявший на коленях, наоборот, имел вид удрученный, и капли пота падали с его длинного конопатого носа.

«Ага, — подумал Петя, — так вот, оказывается, где пропадает по целым дням мой уважаемый братец, и вот, оказывается, к чему может привести безделье!»

— Павлик, иди сюда! — строго сказал Петя.

Павлик встрепенулся как ужаленный, но тотчас, сделав ловкое движение всем телом, сел на колоду и посмотрел на брата невинными шоколадными глазами.

— Иди сюда! — еще строже повторил Петя.

— Ей-богу, паныч, что вы до него чипляетесь! — ненатурально смеясь, сказал Гаврила. — Мы с ним играем не на интерес, а просто так, для провождения времени. Побей меня бог, святой истинный крест! — прибавил он бесстыдно.

— Ябеда, юда! — на всякий случай пропел Павлик, незаметно выгребая из-под себя деньги.

Но Петя только поморщился и махнул рукой.

— Совсем не то, — сказал оц. — Иди сюда.

Он завел Павлика подальше, в заросли паслена и белены, остановился перед ним, расставил ноги и сурово посмотрел ему в глаза.

— Вот в чем дело... — Петя немного замялся. — Мне надо, чтобы ты сделал одну вещь... или, вернее, не одну вещь, а одно поручение...

— Знаю, знаю, — быстро сказал Павлик.

— Что именно ты знаешь? — нахмурился Петя.

— Знаю, что ты хочешь. Ты меня сейчас будешь посылать с письмом к этой новой девочке. Может быть, нет?

— Откуда ты знаешь? — не удержавшись, воскликнул Петя.

— Ха! — сказал Павлик. — Что, я не вижу, как ты бесишься? Только можешь меня не посылать, потому что я все равно не пойду.

— Нет, пойдешь! — грозно сказал Петя.

— Смотрите, какой нашелся! — дерзко ответил Павлик, предусмотрительно отступая.

— Пойдешь! — упрямо процедил Петя сквозь зубы.

— Не пойду.

— А вот пойдешь!

— А вот не пойду! И хватит мной командовать! Я уже не маленький, чтоб ходить по девочкам с твоими записками. Что я туда пойду, чтоб мадам Павловская мне уши нарывала? Тоже нашелся!

— Значит, не пойдешь? — со зловещей улыбкой спросил Петя.

— Не пойду.

— Ну, так знай!

— А что будет?

— Будет то, что я сейчас же пойду и скажу папе, что ты играешь в азартные игры.

— А я сейчас пойду и всем расскажу, что ты влюбился в новую девочку, и как ты пишешь любовные письма, и как ты сидишь у них под окном в бурьяне и мешаешь ей учиться, и над тобой все будут насмехаться. Что, съел?

— Подлец! — сказал Петя.

— От такового слышу, — ответил Павлик.

— Я все-таки надеюсь, что ты будешь молчать, — глухо сказал Петя.

— Как ты, так и я!

И с этими словами Павлик весьма независимо отправился за конюшню, где Гаврила, изнемогающий от безделья, лежал на земле и тасовал карты.

Положение было безвыходное.

Ночью Петя опять прокрался к флигельку и долго сидел в полыни, не решаясь бросить письмо в открытое окно. На этот раз в домике было темно — наверно, Павловские спали. Пете даже казалось, что он слышит чье-то сонное дыхание. Белая стена флигелька так ярко была освещена луной, что казалась голубой, и на ней чуть шевелилась черная сквозная тень белой акации, а полынь, в которой сидел Петя, вся сияла, как серебряная.

Несколько раз Петя менял место, стараясь укрыться в тень от пугающего света луны, и в конце концов так расшумелся, что в домике послышался вздох и раздраженный голос сказал:

— По-моему, вокруг все время кто-то ходит.

На что другой голос, нежный и сонный, ответил, зевая:

— Спи, мамочка, это, наверно, бродячие кошки.

Петя с замирающим сердцем подождал, пока все успокоится, а потом вынул заранее обвязанное вокруг камешка письмо и бросил его в темное окошко.

Обливаясь холодным потом, Петя пополз назад и, когда наконец добрался до своей брезентовой раскладушки и стал бесшумно раздеваться, услышал из-под одеяла злое шипящее шопот Павлика:

— Ага! Думаешь, я не знаю, куда ты шлялся? Бросать письмо. Скажи спасибо, что тебе еще не надрали уши.

— Нахал! — прошипел Петя.

— От такового слышу, — пробормотал Павлик засыпая.

## XLVII

### ЛЮБОВНОЕ СВИДАНИЕ

Неизвестно, как бы пережил Петя следующий день в лихорадочном ожидании свидания, если бы не началась поливка сада.

Петя с азартом крутил ручку цистерны, вытаскивая ведра, и выливал воду в бадю, откуда ее уже разносили по всему саду. Он сам выбрал эту изнурительную, однообраз-

ную работу, потому что она не мешала ему думать о свидании.

Несмазанная ось железного решетчатого барабана утомительно визжала. Хрустела, накручиваясь и раскручиваясь, гремучая цепь. Тяжелое ведро медленно ползло вверх, роняя в гулкую темноту цистерны капли, которые разбивались, как пистоны, и это же ведро потом легко падало вниз, увлекая за собой мокрую цепь, так что барабан как бы сам собой бешено крутился, и нужно было отскакивать в сторону, чтобы со всего маху не ударила ручка в ключицу.

Руки и спина ныли, ноги дрожали, рубашка промокла, жаркий пот струился по лицу и капал с подбородка, а Петя все крутил и крутил, не давая себе отдыха. Он испытывал блаженство, которое один раз вдруг перешло в отчаяние, когда Петя заметил, что все вокруг потемнело, откуда-то наползла синяя туча, уже стал накрапывать дождик, готовый к вечеру превратиться в ливень и помешать свиданию.

Но, к счастью, ливень прошел стороной, туча растаяла, и к вечеру откуда-то издалека повеяло прохладой, что было весьма кстати, так как позволяло Пете надеть плащ.

Предзакатное солнце горело над степью, и когда Петя в плаще, сделав из предусмотрительности огромный круг, появился на тропинке против флигелька, его тень была такой длинной, словно он шел на ходулях.

В монастыре на шестнадцатой станции звонили к вечерне. Далеко в степи слышалось печальное пение косарей. Белая стена флигелька казалась телесно-розовой, и стекла маленьких окошек ослепительно блестели расплавленным золотом. Руки у Пети были как ледяные и во рту было тоже так холодно, будто он наелся мятных лепешек.

Хотя для этого не имелось почти никаких оснований, но Петя почему-то был уверен, что она непременно придет. Но если говорить правду, в самой глубине души все-таки посасывал червячок сомнения.

Петя лег в траву, положил подбородок на кулаки и с таким напряжением стал смотреть на домик, как будто всеми силами своей души хотел заставить ее немедленно, сию же секунду, без малейшего промедления выйти в степь. В сущности, это была уже не любовь, а уязвленное самолюбие; не страсть, а упрямство; беспредметное смятение чувств, желание низвести свой идеал с неба на землю и убедиться, что Марина решительно ничем не лучше других девочек, например Моти, даже наверное хуже.

И все-таки она продолжала оставаться в его воображении единственной и недостижимой, несмотря на ячмень и подбородок башмачком, а может быть, именно вследствие этого.

Когда вдруг между двумя приливами отчаяния и надежды он увидел знакомую фигуру, мелькнувшую перед домиком по пояс в долине, Петя даже не сразу поверил своим глазам — так велико было его счастье.

Марина быстро — может быть, даже слишком быстро — шла к нему, прикрываясь рукой от солнца, бывшего ей в лицо. На ней было короткое летнее пальтишко с поднятым воротником; она была как-то по-новому причесана, хотя с тем же самым черным бантом, но и с веточкой жасмина в темных волосах.

— Здравствуйте, — сказала она, протягивая Пете руку. — Я насилу удрала. Вы не представляете, какая у меня ужасная мама! Вот увидите, она меня сейчас будет звать домой. Пойдемте скорей.

Она улыбнулась и быстро побежала по дорожке в степь, увлекая за собой Петю, который был совершенно сбит с толку и даже разочарован ее непринужденным обращением, в особенности откровенно-лукавой улыбкой.

Он ожидал совершенно другого, чего угодно: робости, смущения, молчаливого упрека, наконец строгости, но только не этого. Можно подумать, что она только того и ждала, чтобы поскорей прибежать на свидание. Она даже не спросила, зачем он ее вызвал. И потом, этот жасмин в волосах! Теперь Петя увидел, что она только ростом мала, а на самом деле ей лет пятнадцать, и она, наверно, довольно опытна в любовных делах; может быть, даже уже целовалась.

Вообще она была похожа не на себя, а как бы на свою старшую сестру.

— Вам не жарко в вашем плаще? — спросила она, оглядываясь на ходу.

— А вам не жарко в вашем пальто? — глухо сказал Петя.

Но она, видимо, не поняла иронии, потому что ответила:

— У меня летнее, а у вас теплый, шерстяной.

— Швейцарский, специально для гор! — не без хвастовства сказал Петя.

— Я заметила, — сказала Марина.

Они забрались довольно далеко от дома и теперь медленно шли рядом уже не по тропинке, а прямо по сусликовым норкам и по суховатым степным цветам, отбрасывающим очень длинные тени. Они долго молчали, при-

слушиваясь, как под ногами шуршат растения.

Солнце село за дальним курганом. Пробежал прохладный ветерок.

— Вы любите степь? — спросила Марина.

— Я люблю горы, — мрачно ответил Петя, совершенно не представляя себе, что же дальше делать.

Правда, он добился-таки своего: это было самое настоящее свидание, даже больше — далекая прогулка вдвоем в степи, на закате. Но все же Петя чувствовал себя крайне затруднительно. Она как-то сразу взяла над ним верх. Петя это отлично понимал.

— А я люблю степь, — сказала Марина, — хотя горы мне тоже нравятся.

— Нет, горы лучше, — упрямо сказал Петя.

Никогда ему еще не было так трудно разговаривать с девочкой. Насколько легче, например, было с Мотей. Правда, Мотя его любила, а эта — кто ее знает... Самое ужасное заключалось в том, что она совершенно не интересуется, зачем он ее вызвал на свидание. Что это: притворство или равнодушие?

Между тем с каждой минутой она нравилась ему все больше и больше. Он уже был без памяти в нее влюблен. И влюблен совсем не так, как раньше: не в далекую мечту, а в соблазнительно близкую действительность.

В продолжение прогулки она иногда без видимой причины смеялась, и этот обольстительный смех казался Пете странно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда он его слышал.

«Ну подожди, голубушка! — думал Петя, любясь хорошенькой головкой Марины с черным бантом и веточкой жасмина. — Мы еще посмотрим, что ты потом запоешь!»

— Вообразите себе, — с косой иронической улыбкой сказал Петя, — одно время я был в вас здорово-таки влюблен.

— Вы в меня? — с удивлением сказала Марина и пожала плечами. — Не представляю себе, когда это могло быть.

— Давно. В прошлом году, — вздохнул Петя. — А вы, наверно, об этом и не догадывались?

Она остановилась и посмотрела на него снизу серьезными, внимательными глазами.

— Этого никак не могло быть.

— А вот было!

— Где; когда?

Петя посмотрел на девочку с нежным упреком и, отчеканивая слова, произнес:

— Июнь. Италия. Неаполь. Вокзал. Может быть, нет?

В один миг лицо Марины резко изменилось: стало испуганным, серьезным. Она покраснела.

— Вы ошибаетесь, — сухо сказала она, и в ее глазах появилось что-то замкнутое, неприступное. — Мы никогда не были в Италии... И вообще за границей.

Но Петя сразу почувствовал, что это неправда.

— Нет, нет, вы были в этом самом пальтишке и в этом самом черном банте! — заговорил он с увлечением. — Вы шли по перрону со своей мамой... И был Максим Горький... А наш поезд в это время тронулся, я высунулся в окно и посмотрел на вас, а вы посмотрели на меня. Разве этого не было? Вы разве не посмотрели на меня? Может быть, нет?

Она молчаливо хмурилась и отрицательно качала головой, но густая краска не сходила с ее лица, даже вздернутый подбородок был красный. Она готова была рассердиться.

— Может быть, нет? Нет? — настаивал Петя.

— Ничего подобного, это вам приснилось!

— И я даже знаю, куда вы потом поехали. Сказать? Нет? В Париж! — с каким-то горьким торжеством крикнул Петя.

Она отрицательно качала головой, начиная бледнеть.

— Мари Роз, Лонжюмо, — тихо, но внушительно сказал Петя, пристально глядя ей в глаза и наслаждаясь ее смятением.

Она так побледнела, что Петя испугался. Затем лицо ее стало неподвижно-презрительным.

— Вы фантазируете, — сказала она небрежно и даже заставила себя засмеяться своим странным смехом, который казался Пете таким знакомым.

И вдруг он понял: это был русалочий смех Веры из «Обрыва», а сам он был жалкий Райский.

— И запомните себе раз навсегда, что никогда не было ничего подобного, — сказала Марина, повернулась и быстро пошла к дому.

Петя побежал за ней.

— Не провожайте меня, — сказала она, не оборачиваясь.

— Марина, подождите... Но почему же? — жалобно простонал Петя.

Она обернулась и, смерив его с ног до головы презрительным взглядом, сказала:

— Болтун! — и побежала домой.

Петя никак не ожидал, что такое многообещающее свидание может кончиться ничем. Он совершенно не понимал причины ее гнева. Он только знал, что потерял ее если не навсегда, то, во всяком случае, надолго. И, главное, когда? Именно тогда, когда все так хорошо налаживалось, когда так вкрадчиво темнела степь и за далекими обрывами в воздухе висела большая луна, чуть светящаяся изнутри, как бумажный монгольфьер.

## XLVIII

### ЗАПИСКИ ЦЕЗАРЯ

В течение ближайших дней Марина не появлялась. Петя бросил в окно несколько секреток, в которых на разные лады выманивал девочку на свидание, даже обещал открыть ей какую-то важную тайну, но ничего не действовало. Петя понял, что он окончательно потерял Марину.

Он был в отчаянии. Это отчаяние усугублялось тем, что решительно некому было описать свой неудачный роман, красноречиво излить свою «наболевшую душу», как мысленно называл Петя муки уязвленного самолюбия. Поэтому приход Гаврика был как нельзя более кстати.

Как всегда в последнее время, Гаврик появился неожиданно. Петя увидел его уже в саду. Нельзя было понять, откуда он взялся. Во всяком случае, в калитку он не входил, так как Петя сам был в это время у калитки, высматривая, не пойдет ли кто-нибудь за керосином.

У Гаврика был заткнут за поясок потрепанный учебник, а в руке он держал свернутую в трубку тетрадь, которой он сердито постукивал по колену. Вообще вид у него был довольно мрачный.

— Что, будем заниматься? — со вздохом спросил Петя.

— Нет, горбцов ловить, — сухо ответил Гаврик.

Петя выбрал в саду тенистое местечко, откуда был виден флигелек, и они сели под черешневым деревом на землю, поросшую ромашкой.

— Ну, что у тебя такое? — спросил Петя вяло.

— Да вот надо выучить «Записки о Галльской войне».

— Ага. Так это я тебе сейчас все объясню. Вся штука в том заключается, что эти самые «Записки о Галльской войне» на-



писал Цезарь. Он, видишь ли, назывался «Кай Юлий» и был, так сказать, римский император, который...

— Да это я без тебя знаю. Мне надо читать и переводить, а первую главу на память.

— Можно, — покладисто сказал Петя. — Тогда открой учебник и переводи.

— Я уже перевел, — сказал Гаврик.

— Так что ж тебе надо?

— Знать на память первую главу. А это для меня еще хуже, чем учить стихотворение.

— Но необходимо! — назидательно сказал Петя, понемногу входя в роль преподавателя. — Следовательно, открой учебник, дай мне, я буду громко читать, а ты за мной повторять.

— А на память ты разве не знаешь? — подозрительно спросил Гаврик.

Но Петя пропустил мимо ушей этот скользкий вопрос, взял из рук Гаврика книжку и стал с большим выражением читать:

— «Галлиа эст омнис дивиза ин партэс трэс». Повтори.

— Галлиа эст омнис дивиза ин партэс трэс, — туго наморщив лоб, повторил Гаврик.

— Молодец! — сказал Петя. — Пойдем дальше...

Но в это время ему показалось, что возле флигелька что-то мелькнуло. Петя вытянул шею и стал всматриваться.

— Не жди, — спокойно сказал Гаврик.

Петя вздрогнул.

— Откуда ты знаешь? — спросил он краснея. Они слишком хорошо изучили друг друга, чтобы хитрить.

— Не строй из себя девчонку! — с раздражением сказал Гаврик. — Можно подумать, что Павловские упали к вам прямо с неба. Ты же отлично знаешь, что это мы их здесь у вас поселили — подальше от всякой полиции. Надо голову иметь на плечах, а не капусту. Они здесь не на даче прохлаждаются, а... скрываются, — решительно произнес Гаврик, — и работают. А ты затеял любовь крутить! Ну хорошо, крути. Пожалуйста. Только не надо приставать со всякими разговорами. А ты пристаешь: ах, я вас знаю! Ах, я вас видел за границей! Ах, Мари Роз, ах, Лонжюмо! А ты знаешь, что такое Мари Роз и Лонжюмо? — Спohватившись, что он слишком громко говорит, Гаврик оглянулся по сторонам и, хотя никого поблизости не было, понизил голос: — Оттуда идут все директивы и инструкции. И уж когда на то пошло, я тебе скажу, что в случае, если Павловскую схватят, это будет сильный провал. Я тебе так

прямо режу потому, что мы считаем тебя своим. Я верно понимаю?

Гаврик сузил глаза и в упор посмотрел на Петю, ожидая прямого ответа на свой прямой вопрос.

Петя подумал и молча кивнул головой. Впервые Гаврик разговаривал с ним так ясно, определенно, ни о чем не умалчивая и все называя своими именами.

— Клянусь... — сказал Петя и почувствовал, что от волнения не может говорить. А ему очень хотелось сказать что-нибудь значительное, даже, может быть, торжественное. — Клянусь... — повторил он, и слезы выступили у него на глазах.

— Ну вот, я так и знал, что ты будешь сейчас давать клятву, — сказал Гаврик. — Можешь и не давать. Мы, брат, словам не сильно верим. Слыхали мы разных балалайкиных.

— Я не балалайкин! — обиделся Петя.

— Не о тебе речь, хотя ты тоже любишь немножко того: Мари Роз, Лонжюмо... Ты это, брат, брось! Дело серьезное. И в случае чего мы с тобой не постесняемся... Ты имеешь представление, что такое конспирация?

— Имею, — не без достоинства сказал Петя.

— Ну, не знаю... — сказал Гаврик, — но это первым делом держать язык за зубами. А то ты сегодня одному скажешь, а завтра другому. Слово, брат, не воробей, вылетит — не поймаешь. Ты знаешь, что она подумала?

— Кто?

— Маринка. Она посчитала, что ты просто подосланный. Зухтер.

— Что такое зухтер? — тревожно спросил Петя.

— Ну, брат, с тобой разговаривать, так надо сначала каши накушаться. Зухтер — это сыщик. Из охранки. Пора знать... Ты у Павловских такой переполох наделал, что они уже собирались прямо тут же, ночью, бежать с вашего хуторка от греха подальше. Спасибо, как раз я в это самое время заскочил до них. А то бы, ей-богу, ушли. Уже вещи складывали. Но я им объяснил, что ты, в конце концов, парень наш. Чтоб они не беспокоились.

Петя подавленно молчал. Он никак не предполагал, что его ухаживание могли иметь такие серьезные последствия. Он вообще многого не предполагал.

— А она, в общем, девочка подходящая. Я сам не против пойтись с ней когда-нибудь вечером под ручку. Только нет времени, — вздохнул Гаврик.

Петя смотрел на него, не веря своим ушам, почти с ужасом. Так говорить о «ней»! Это было просто невероятно. А Гаврик, растянувшись на ромашках и заложив руки за голову, как ни в чем не бывало продолжал в том же духе:

— С другой стороны, войди в ее положение. Папы у них нет. Папа их скончался от скоротечной чахотки в прошлом году за границей. Тоже был из нашей организации. Мама — партийная работница. Живут по чужому паспорту. Все время приходится переезжать с места на место, скрываться, менять квартиры. Девочке нужно учиться, чтоб не отстать. Все время сидят дома, потому что можно выходить только в самом крайнем случае. Она же все-таки барышня, ей же скучно. Понятно, когда ты бросил ей в окно свою секреточку, она обрадовалась. Почему, в конце концов, один раз не пройти с кавалером? Между прочим, ты ей даже, представь себе, понравился. Только ты все себе сам испортил своим длинным языком.

Петя поморщился, как от зубной боли.

— Подожди, — сказал он. — А ты откуда все это знаешь?

Гаврик с нескрываемым удивлением посмотрел на Петю:

— Здравствуйте! Что ж ты думаешь: Павловские ничего не кушают? Между прочим, они такие же Павловские, как я братья Пташниковы, но это никого не должно касаться. Я до них заскакиваю раза два в неделю — ношу им провизию. Ну и еще, конечно, если есть какие-нибудь поручения от комитета...

Петя был неприятно поражен. Оказывался, Гаврик у Павловских частый гость, свой человек!

— Вот как! Почему же ты к нам не заходишь? — спросил Петя, начиная чувствовать нечто вроде ревности.

— Потому что я заскакиваю к ним по большей части ночью.

— Конспирация? — не без иронии спросил Петя.

— А ты что думаешь? Зачем лишний раз обращать на себя внимание? Мало ли кто может увидеть... Знаешь, какое теперь время? Всюду забастовки, стачки. Охранка прямо-таки с ума сходит. Опять такая слезка кругом пошла, что дай бог здоровья. Еще хуже, чем в пятом.

На Петю снова повеяло духом Ближних Мельниц, от которого он стал за последнее время отвыкать.

— Закурим, что ли, товарищ, — сказал

Гаврик, вытаскивая из кармана пачку дешевых папирос.

Петя еще не курил и не чувствовал в этом никакой потребности. Но слово «товарищ», произнесенное Гавриком с каким-то особым выражением суровой независимости, самый вид этой пачки папирос, «Трезвон» товарищества «Лаферм», 20 шт. 5 коп., объявление о которых Петя видел в «Правде», заставили его вытащить из пачки тугую папироску и неумело взять ее в рот.

— Закурим, — сказал Петя так же сурово и независимо, скосив глаза на кончик папиросы, к которому Гаврик поднес зажженную спичку.

Они немножко покурили: Гаврик с видимым удовольствием, затягиваясь и сплевывая, как заправский мастеровой, а Петя — поминутно вынимая папиросу изо рта и для чего-то заглядывая в мундштук, откуда выливалась молочная струйка тяжелого дымка.

Больше о Павловских не говорили. Затем еще позанимались Цезарем, и Гаврик ушел, сказав на прощанье:

— Такие-то, брат, дела. Главное, не дрейфь.

Но к чему это относилось, Петя так и не понял.

Теперь в Пете боролось несколько самых противоречивых чувств: ревность, досада на себя, надежда, отчаяние и, как это ни странно, жаркая, какая-то порывистая жажда жизни, переполнявшая его сердце.

Он стал придумывать разные способы поправить дело и снова выманить Марину на свидание. Он был занят этими придумываниями целые дни.

## XLIX

### КОРОЛЕВА БАЗАРА

Но как раз в это время начала поспевать черешня. Она стала поспевать быстро, бурно, а главное, все сорта сразу: черная, красная, розовая и белая. Хотя семейство Бачей все время с тревогой следило за созреванием богатого урожая, но истинные его размеры обнаружили как-то вдруг, в одно прекрасное утро, когда низко над садом с шумом пронеслась черная туча скворцов, а за нею серая туча воробьев.

Птицы опустились на сад, и пока Василий Петрович, Петя, Павлик, Дуня и Гаврила бегали под деревьями, пугая птиц зонтиками, палками, шляпами, платками и криками, тетя надела кружевные перчатки, шляпку и,

сияющая от веселого возбуждения, поехала на конке в город, чтобы сначала разузнать розничные цены на черешню, а потом постараться ее продать на привозе, в фруктовых рядах, оптом.

Она вернулась вечером и, когда подходила к хуторку, услышала громкие выстрелы. Это Павлик, под руководством Гаврилы, палил дробью из старой берданки, которая нашлась в хозяйстве мадам Васютинской.

— Боже мой, что ты делаешь? — в ужасе закричала тетя, увидев, как ее нежный племянник заряжает ружье картонным патроном.

— Пугаю шпакров. Побережитесь! — ответил Павлик и снова со зверским выражением лица выпалил куда-то вверх, после чего по воздуху пролетел небольшой смерч из воробьиных перьев.

Повидимому, война с птицами шла успешно.

— Ну-с, как наши коммерческие успехи? — спросил Василий Петрович, потирая руки. — Надеюсь, вы нам привезли приятные вести?

— И да и нет, — ответила тетя.

— Что так? — с бодрой улыбкой сказал Василий Петрович.

Он уже раз десять за сегодняшний день обошел сад и убедился, что урожай не просто хорош, а неслыханно, сказочно богат. Кисти очень крупных черешен целыми пудами висели на ветках, просвечивая на солнце всеми оттенками красного цвета, начиная с совсем бледного, почти телесного, подобного розовым кораллам самого высшего качества, и кончая кроваво-черным, словно драгоценные камни карбункул или пироп.

— Что так? — повторил он уже менее бодро, заметив расстроенное выражение тетиного лица.

— Сейчас я вам все расскажу, но только дайте мне сначала умыться и, ради бога, — чашку чаю. Полжизни за чашку чаю!

Все это не предвещало ничего хорошего.

А через полчаса тетя уже сидела на веранде, жадно пила чай и рассказывала:

— Понимаете, сначала я обошла несколько фруктовых магазинов в городе. Черешни еще мало, она пока редкость, и ее в розницу продают по пятнадцать-двадцать копеек фунт.

— Ну-с, так это же великолепно! — воскликнул Василий Петрович, прикидывая в уме, какую сумму может дать каждое дерево, если даже считать, что на нем висит хотя

бы только два пуда ягод. — В таком случае, мы просто богачи!

— Подождите, — устало заметила тетя. — Это розничная цена. А мы должны иметь дело с оптовой. Тогда я отправилась на привоз и походила по фруктовым рядам. Оказалось, что оптовая цена значительно ниже.

— И это вполне естественно! — бодро воскликнул Василий Петрович. — Так бывает всегда. Какая же все-таки оптовая цена?

— Они предлагают два сорок за пуд. Франко привоз.

Василий Петрович потрогал стальную дужку пенсне, пошевелил губами и, произведя в уме необходимые вычисления, сказал:

— Н...да... это, конечно, не то. Но все-таки весьма и весьма прилично. Мы не только расплатимся по векселям, но даже еще останется известная сумма прибыли.

И Василий Петрович весело посмотрел на тетю через пенсне.

— Вы очень наивны, — сказала тетя. — Не забудьте, что два сорок франко привоз. — И с ударением повторила: — Франко привоз!

— Ах да... франко... — пробормотал Василий Петрович. — А это, собственно, что обозначает?

— Это значит, что мы должны доставить им всю черешню прямо на привоз.

— Ну и что же? За чем дело стало? Мы им доставим! И тогда — пожалуйста денежки!

— Нет, с вами положительно трудно говорить серьезно! — с досадой сказала тетя. — Подумайте только, как это мы им доставим? Каким способом? У нас нет ни лошади, ни платформ, ни корзин, ни рогожи, ни... У нас вообще нет ничего, никаких средств... Я уже не говорю о том, что сначала надо снять урожай с деревьев, если, конечно, его не расклюют птицы. У нас даже нет стремянок...

— Н-да... — растерянно промычал Василий Петрович и, подоив нос, сказал: — Однако это довольно странно. Почему именно... франко? Вы должны были сказать: угодно приобрести черешню — пожалуйста, приезжайте и забирайте.

— Я так и сказала.

— Ну и что же?

— Отказываются.

— Гм... Это какое-то недоразумение... Наконец, существует же, так сказать, конкуренция. Если одни отказываются, то, может быть, другие не откажутся.

— Да я их всех обошла, и у меня такое впечатление, что никакой конкуренции нет,

а все это одна шайка. И все удивительно похожи один на другого. Те же синие блузы, те же красные морды, те же барашковые шапки. Такие же братья-разбойники, как и те «персы», которые к нам приходили сбивать цену... И все ссылаются на какую-то мадам Стороженко. Повидимому, вся оптовая торговля фруктами находится в руках этой дамы.

— Так вот вы бы с ней и поговорили.

— Пыталась. Но она неуловима. С утра до вечера ездит по садам, скупает урожай.

— Так как же быть? — спросил Василий Петрович.

— Не знаю, — ответила тетя.

Они сидели друг против друга с измученными лицами. Василий Петрович вытирал бурую пористую шею несвежим носовым платком, а тетя барабанила пальцами по блюдецке. И Петя чувствовал, что над их семейством снова нависла беда, но только на этот раз гораздо более страшная, чем в прошлый раз, когда горел сад.

Черешни спели не по дням, а по часам. Красные почернели, розовые покраснели, желтые густо порозовели, а белые пожелтели и приобрели густой медовый цвет, даже на вид сладкий. С раннего утра начиналась война с птицами. Привязывали к веткам пестрые лоскутья, выставляли пугала, бегали под деревьями, хлопая в ладоши, и охрипшими голосами кричали: «Киш-ш-ш-ш!» Время от времени раздавались выстрелы из берданки и с металлическим звоном проносились заряды мелкой дробы.

Это оказалось еще труднее, чем окапывать или таскать воду. О, как ненавидел Петя скворцов! Как они были теперь не похожи на тех поэтических птиц, которые радостно свистели на разные голоса, отчего нарядный весенний день казался еще ярче, аллеи еще тенистей, а легкие облачка как бы замирали в сладком беспамятстве...

Теперь это были хищники, откуда ни возьмись налетавшие целой тучей на мирный сад. Они терзали своими острыми клювами ягоды, зорко выбирая самые зрелые, и вырывали из них треугольные куски мякоти.

Они их не столько ели, сколько портили. Когда их удавалось согнать с дерева, они потом долго летали над ним, делая круги и виражи.

Сделали попытку, подставив стулья, снять урожай с нескольких деревьев и убедились, как это трудно сделать, не имея опыта. Решили на первых порах торговать черешней в розницу и отправили Гаврилу с большой корзиной на Большой Фонтан.

Гаврила долго ходил по дачам и принес всего семьдесят копеек, косноязычно сказав, что больше не выручил, и пошел спать за коношню, в бурьян, распространяя вокруг себя запах монополюшки.

Заходили дачники с дачи Ковалевского — две хорошенькие барышни с кружевными зонтиками и студент в белом кителе. Они купили два фунта, но так как весов не было, то тетя отвалила им на глаз фунтов пять в кокетливую корзиночку, которую студент нес на палке через плечо.

Барышни тотчас повесили себе черешни на маленькие ушки, как сережки, и еще больше похорошели, покрылись ямочками, стали вертеться и смеяться, а тетя смотрела на них с таким видом, как будто хотела сказать: «Господа, я не понимаю, как вы можете радоваться!»

Затем почтальон принес письмо от нотариуса, напечатанное на пишущей машинке, с коротким и грозным напоминанием, что срок платежа по векселям наступает через три дня.

Тетя опять помчалась в город, но вернулась ни с чем, так как мадам Стороженко опять была в отъезде, а «персы», как бы в насмешку над здравым смыслом, предлагали уже не два сорок, а рубль тридцать за пуд франко привоз. Кроме того, они, вероятно, еще и нагрубили тете, так как она чуть не плакала, сорвала с себя шляпку и несколько раз повторила, бегая по террасе:

— Какие мерзавцы! Боже мой, какие мерзавцы!

Оставалось одно: нанять подводы у немцев-колонистов, у них же взять напрокат корзины и, вопреки священным принципам Василия Петровича, воспользоваться чужим трудом, то-есть нанять в окрестностях деревенских девушек, чтобы они как можно быстрее собрали урожай, уже почти на четверть расклеванный птицами.

Немцы отказались дать подводы, а девушки были уже все наняты в другие сады.

— Будь проклят тот час, когда я позволил втянуть себя в эту идиотскую затею! — кричал отец.

— Василий Петрович, во имя покойной Жени пощадите меня! — со слезами говорила тетя, и по ее голосу чувствовалось, что у нее распух нос.

В довершение всего, ворота со скрипом отворились, и на усадьбу въехала бричка. Один «перс» сидел на козлах, другой стоял на подножке, а на сиденье подпрыгивала бочком большая, толстая дама в парусиновом

балахоне и пыльной шляпке с выгоревшими незабудками. Бричка проехала прямо через клумбу с табаком и петуниями и остановилась возле дома. «Персы» тотчас подхватили даму под локти, и она, тяжело перебирая ногами, слезла с брички.

У нее было жирное, но тем не менее мужское усаемое лицо с грубым, свекольным румянцем и ничего не выражающие глаза.

— А ну, мальчик... не знаю, как тебя зовут... не хлопай ушами, а живенько у меня сбегай и позови сюда хозяев, — заметив Павлика, сказала она с одышкой низким базарным голосом и уже собиралась сесть на железный садовый стул, который ей подставил один из «персов», но в это время как раз появилась тетя, а за ней Василий Петрович. — Вы здесь будете хозяева? — спросила приезжая и, не дожидаясь ответа, сунула сначала Василию Петровичу, а потом тете свою короткую руку в черных кружевных митенках, откуда торчали толстые, как бы обрубленные пальцы. — Здравствуйте вам, — сказала она. — Я мадам Стороженко.

Тетя вспыхнула от волнения.

— Ах, как это мило с вашей стороны! — быстро заговорила тетя, и на ее лице появилась суетливая, светская улыбка. — Я два раза заезжала к вам на привоз, но не застала. Вы такая неуловимая женщина! — И тетя с обворожительным выражением погрозила мадам Стороженко пальчиком. — Но, как видите, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

— Это не важно, — сказала мадам Стороженко, пропустив мимо ушей тонкий афоризм насчет горы и Магомета. — Мне сказали люди на привозе, что вы имеете продавать урожай вашей черешни. Так я у вас его покупаю.

— В таком случае, может быть, вы посмотрите сад? — сказала тетя, многозначительно переглянувшись с Василием Петровичем.

— Я этот сад знаю как облупленный, — ответила мадам Стороженко. — Слава богу, не в первый раз. Я здесь покупала урожай еще тогда, когда сад держала мадам Васютинская. Я вам должна сказать, что у мадам Васютинской было куда больше порядка. А у вас уже шпаки покалечили половину черешни. Конечно, не мое дело, но я вам скажу, что вы таки да порядочно запустили ваш сад. Навряд ли вам удастся свести концы с концами. Хотя лично я занимаюсь фруктой лишь пятый год, а до этого времени занималась исключительно рыбой, но можете

спросить каждого, и каждый вам скажет, что мадам Стороженко-таки что-нибудь понимает в фрукте. Разве это черешня? Это же не черешня, а воши. Можете мне поверить.

Василий Петрович и тетя стояли перед мадам Стороженко, испытывая то отчаяние, то надежду. Теперь только от нее одной зависела их судьба, но ничего невозможно было прочитать на ее грубом лице.

Наконец мадам Стороженко сказала:

— Одним словом, чтобы долго с вами не цацкаться, вот! — Она открыла большой кожаный кошелек, висевший у нее на ремешке через плечо, и вынула из него, видимо приготовленную заранее, хрустящую сторублевую бумажку с портретом императрицы Екатерины. — Держите!

— Как, всего сто рублей, когда по одним лишь векселям надо платить триста!

— Держите, ну! — повторила мадам Стороженко нетерпеливо. — И скажите спасибо, что я вам даю катеньку. По крайней мере, вам через эту черешню больше не будет беспокойства, потому что уборку, упаковку, перевозку — все это я уже беру на себя.

— Мадам Стороженко, побойтесь бога! — сказал Василий Петрович. — Вы нас грабите!

— Милый человек, — сладким голосом пропела мадам Стороженко, — я тоже должна что-нибудь заработать — не правда ли?

— Да, но ведь здесь товару не меньше чем на пятьсот рублей, мы подсчитали, — сказала тетя.

— Ну, раз вы подсчитали, то вы сами и реализуйте свой урожай и не морочьте людям голову. Сто рублей — это мое последнее слово.

— Да, но ведь мы должны платить по векселям.

— Знаю. Вы должны на днях внести мадам Васютинской триста, а если не внесете, то потеряете аренду. И вы ее таки да потеряете, потому что у вас нет наличности и вы уже все равно летите в трубу. Так я вам советую — лучше получите хоть что-нибудь; по крайней мере, первое время не будете голодать. А усадьбу мадам Васютинская передаст мне в нотариальном порядке. Она мне гораздо больше подходит, чем вам.

— Ну, это мы еще посмотрим! — сказала тетя бледнея.

— Перестаньте держать фасон! — сказала мадам Стороженко с нескрываемым презрением и какой-то непонятной, черной злобой, с ног до головы оглядывая Василия

Петровича и тетю. — Что, я вас не знаю? У вас за душой нет ломаного гроша. Вы же нищие! Оборванцы! А еще называетесь интеллигенты!

— Милостивая государыня! — сказал Василий Петрович. — Кто вам дал право разговаривать в подобном тоне?

Мадам Стороженко величественно повернулась к тете:

— Слушайте... не знаю, как вас зовут... скажите своему сожителю, чтобы он не разорялся, потому что через три дня вы у меня отсюда полетите со всеми вашими бебехами. Босяки!

Василий Петрович рванулся, хотел что-то сказать, но только затопал ногами, замычал, как немой, и сел на ступеньках террасы, схватившись руками за голову.

— Берите катеньку и пишите расписку, — сказала мадам Стороженко, как ни в чем не бывало протягивая тете сторублевку.

— Вы злая и нехорошая женщина! — дрожа всем телом, сказала тетя, потом заплакала и, пошатываясь, ушла в дом.

Это была такая грубая, безобразная сцена, что не только Петя, Павлик и Дуня, но даже и Гаврила впал в оцепенение, и никто не заметил Гаврика, который уже давно появился невдалеке за деревьями.

Теперь он, засунув глубоко в карман правую руку, медленно, вразвалку шел прямо на мадам Стороженко.

— Ах ты, старая базарная шкура! — сквозь зубы сказал Гаврик, раздувая ноздри. — А ну, гэтъ видселя!

Она смотрела на него с изумлением и вдруг узнала в этом шестнадцатилетнем пареньке-мастеровом того самого маленького нищего мальчика, внука старика Черноиваненко, который носил ей на привоз бычки, когда она еще торговала рыбой в розницу. У мадам Стороженко была хорошая память, и она в одну минуту поняла, что перед ней стоит ее давний враг. Но только тогда он был совсем мал и беззащитен и она делала с ним что хотела, а теперь он был совсем другой, и она своим лисьим инстинктом почуяла в нем какую-то опасную силу.

— Но, но, только без хулиганства! — крикнула она, суетясь возле брички. — Что вы смотрите? Надавайте ему хорошенько по морде!

Опустив головы в барашковых шапках, «персы» выступили вперед, но Гаврик вырвал из кармана кулак с кастетом, и на его помертвелых губах показалась пена.

— Гэтъ видселя! — со страшным спокойствием повторил он, взял под уздцы лошадь и вывел за ворота бричку, куда уже на ходу влезали мадам Стороженко и «персы».

И еще довольно долго потом в зеленых хлебах по дороге в город подпрыгивала шляпка с вылинявшими незабудками и слышался визгливый голос мадам Стороженко, посылавшей в сторону хуторка угрозы и самые непристойные ругательства.

С трудом переводя дыхание, как после тяжелой работы, возвратился Гаврик. Он молча пожал руку Пете, погладил Павлика по спине, постоял возле Василия Петровича, который продолжал сидеть на ступеньках, закрыв лицо руками.

Затем Гаврик, с сердцем плюнув, сказал:

— Ну, это мы еще побачим! — и побежал через весь сад в степь, где и пропал из глаз так же вдруг, как появился.

Все долго молчали, понимая, что говорить, собственно, больше не о чем. Наконец Василий Петрович с силой провел ладонями по лицу, протер краем косоворотки пенсне и неожиданно улыбнулся беспомощной, детской улыбкой.

— Так кончился пир их бедою, — сказал он со вздохом.

Но, как ни странно, это все-таки был вздох облегчения.

## L

### ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ

И вот на короткое время в усадьбе наступили тишина и спокойствие. Семейство Бачей вело себя так, как будто оно только что проснулось и еще не вполне понимает, где это все происходит — во сне или наяву. Все были очень предупредительны, даже нежны друг с другом. Вечером пили чай и ели простоквашу. Шутили, разговаривали. Но ни одним словом не касались своего положения, как бы сберегая все свои душевные и физические силы для ближайшего будущего, о котором даже страшно было подумать.

Рано разошлись спать и спали долго, с наслаждением отсыпаясь от всех трудов и волнений и зная, что следующий день не принесет им ничего нового.

На заре Петя почувствовал, что его кто-то тянет холодной рукой за ногу. Он открыл глаза и увидел, что окно распахнуто, а около постели стоит Гаврик. Как видно, солнце еще не встало, но в комнате уже было почти светло, а в окне, откуда лился заревой холодок,

виднелась смуглая зелень сада, вишневая полоса утреннего неба и слышались сонные голоса далеких петухов.

— Вставай! — шопотом сказал Гаврик.

— А что? — так же шопотом спросил Петя, ничуть не удивившись, так как давно уже привык к внезапным появлениям своего друга.

— Одевайся и гэтъ на работу! — сказал Гаврик таинственно и весело, показывая на открытое окно головой.

С этими словами он бесшумно вскочил на подоконник и скрылся в саду.

Петя слишком хорошо знал Гаврика: он сразу понял, что это не баловство, а какое-то дело. Он быстро оделся и, ежась от утренней свежести, вылез в окно.

В саду слышались голоса. Петя обошел дом и увидел под черешнями каких-то людей. Слышался стук топора, повизгиванье пилы. Вдалеке прошел незнакомый парень, неся на плече грубую, новую лесенку, повидимому только что сколоченную из горбылей. Другая такая же лесенка уже была прислонена к дереву, и на верху ее стояла босая девочка, держась одной рукой за ветку, согнутую под тяжестью желтой черешни, а другой заслоняясь от солнца, которое только что вышло из моря и било в глаза слепящими, но еще холодными лучами.

— Петя, идите сюда! — закричала девочка.

Петя узнал Мотю.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он подходя.

— Вашу фрукту собираю! — ответила девочка весело, и Петя заметил корзину, висевшую на ее локте. — А вы нас совсем забыли, — прибавила она вздохнув. — Никогда к нам не зайдете на Ближние Мельницы.

У нее на ушах висели в виде сережек черешни, отчего она показалась Пете еще более хорошенькой, чем раньше.

— Вот видите, — продолжала она смеясь, проворно обрывая ягоды и бросая их вместе с листиками в корзинку, — мы уже здесь работаем больше часу времени, а вы только еще открыли свои глазки. Нельзя быть таким ленивым! Вас за это бог накажет.

И она так громко засмеялась, что даже поскользнулась.

— Ой, держите меня, падаю! — крикнула она, но удержалась, и на Петю из корзины посыпались черешни.

— Нет, кроме шуток, что здесь происходит? — спросил Петя.

— Будто вы сами не видите, — ответила Мотя. — Ваши знакомые пришли снимать урожай, чтобы он даром не пропал.

Петя оглянулся по сторонам. Всюду — под деревьями и на деревьях — мелькали люди, более или менее знакомые ему по Ближним Мельницам. Среди них Петя с удивлением узнал дядю Федю, Синичкина, старого железнодорожника, девушку-учительницу и еще кое-кого из гостей и постоянных посетителей Терентия. Были здесь также Мотин брат Женька со своими приятелями — ближнемельничными мальчишками, которые сидели на деревьях, как обезьяны, с удивительной ловкостью и быстротой наполняя черешнями свои картузы, лукошки и ящички из-под ирисок. Всюду мелькали белые босые ноги, загорелые руки, цветные ситцевые рубахи. Слышались звонкие голоса, смех, шутки, прибаутки.

Не успел еще Петя как следует понять смысл этого веселого нашествия, как к нему подбежал Гаврик, неся на плече ворох старых мешков и рогож.

— Держи, хватай, раскладывай под деревьями! — сказал он, запыхавшись, и бросил Пете на руки несколько мешков.

Чувствуя, что происходит что-то очень хорошее, и невольно поддаваясь общему бодрому, веселому настроению, Петя стал проворно раскладывать под деревьями мешки, ползая вокруг них на коленях и старательно разглаживая ладонями складки.

Скоро на них из корзинок, картузов и передников с мягким стуком посыпалась крупная, спелая черешня.

Когда, разбуженная непонятным шумом, тетя вышла из дома, то сначала ей показалось, что мадам Стороженко уже вступила во владение усадьбой и это ее молодцы грубо и бесцеремонно грабят сад.

Хотя она успела примириться с мыслью, что это неизбежно, однако теперь, увидев, как чужие люди на ее глазах рвут черешню, она побледнела и крикнула слабым голосом:

— Как вы смеете! Кто вам позволил! Разбойники!

— Не-е-ет, что вы! — даже не сказал, а как-то вкрадчиво-нежно пропел Гаврик, который как раз в это время проходил мимо тети, волоча за собой лестницу. — Это всё свои, наши, с Ближних Мельниц. Вы, Татьяна Ивановна, не беспокойтесь. Ни одна ягодка не пропадет — за это я вам ручаюсь чем хотите. Ну конечно, может быть, кто-нибудь одну-две и положит нечаянно себе в рот — так ведь это же ничего не составляет! Вы же



сами видите, какой шикарный урожай. Дай бог каждому на пасху! Вы за него возьмете в розницу не меньше, как по три карбованца за пуд. А этой старой базарной шкуре вот! — И Гаврик показал в пространство кукиш.

— Постой, ты мне все-таки объясни... — сказала тетя, всматриваясь в сердитое, решительное лицо Гаврика и стараясь понять, что все это значит.

— Вы на нас, конечно, не сердчайте, что мы вас не спросили, — сказал Гаврик, — но где ж там было спрашивать, когда теперь, как говорится, один день целый год кормит. Упустишь время — не воротишь. А нам еще пришлось горбыли доставать, мешки, рогожи и всякую такую ерунду. А что? Может быть, нет? Или, скажете, лучше, чтобы эта базарная шкура сделала с вас нищих? Да никогда этого не будет в жизни! Хватит! Насосались нашей крови! Прошло то время, когда мы стояли перед ними, как бараны...

Тетя смотрела на Гаврика, на его воинственную фигуру, на его по-мальчишески облупленный нос и по-мужски серьезные, сердитые глаза, которые объяснили ей все гораздо лучше, чем слова.

Может быть, она еще и не понимала всего, но, во всяком случае, поняла главное: им на помощь пришли хорошие люди с Ближних Мельниц, и теперь снова появилась надежда на спасение. В тете сразу заговорила хозяйка.

Она наскоро повязала голову платком и побежала под деревья, всюду наводя порядок. Она приказала перетаскать мешки и рогожи так, чтобы не приходилось слишком далеко бегать, велела ссыпать черешню строго по сортам, весело прикрикнула на мальчишек, чтобы они поменьше ели, а побольше собирали, послала Гаврилу принести несколько ведер воды для питья, а потом сама полезла по лесенке на дерево, надела на уши черешни и, во весь голос запев украинскую песню «Солнце низенько», стала проворно обрывать ягоды, бросая их в старую шляпную картонку.

Ах, какой это был чудесный, горячий денек! Давно уже Петя не испытывал такого прилива бодрого, веселого счастья. Правда, ему не досталось лестницы и не пришлось рвать черешни с дерева, что, конечно, было наиболее интересно.

Но бегать внизу под деревьями оказалось тоже совсем неплохо. То и дело из шумящей листвы к нему опускалась полная, тяжелая корзинка, он ее подхватывал, высыпал содержимое в кучу и, уже легкую, почти не-

весомую, возвращал назад, подбрасывая ее головой, а сам бежал к другому дереву, где его уже ожидала новая тяжелая корзинка.

Руки сладко ныли от этой беспрерывной гимнастики, и было необыкновенно приятно видеть, как на глазах растет куча темных, лакированных ягод, живописно перемешанных с листьями, по которым ползали осы.

Петя обслуживал десять деревьев. Почти каждую минуту его кто-нибудь звал, чтобы передать наполнившуюся корзинку. Но чаще всего слышался голос Моти:

— Петя, идите сюда, у меня уже! Где вы там болтаетесь? Нельзя быть таким ленивым! Держите!

Нежная рука в розовом ситцевом рукаве опускала сверху тяжелую корзинку, и сквозь листву Петя видел раскрасневшееся лицо Моти с черешневой косточкой в губах.

К полудню все устали, и Гаврик прошел под деревьями, покрикивая солидным голосом:

— Бросай, пошабашили на обед!

И тут Петя вдруг совсем близко увидел Марину и ее мать. Они шли прямо к нему, обнявшись как подруги, и, судя по тому, что их уши были обвешаны черешнями, а в руках они держали корзинки, Петя мог заключить, что они тоже вместе со всеми убирали урожай.

При виде мадам Павловской Петя порядком-таки струхнул: а вдруг она догадалась, кто шумит по ночам в полины и бросает в окна любовные секретки? Еще, чего доброго, надерет уши! Она ему в первый раз показалась такой неприязненно-строгой. Но теперь, с черешнями на ушах и в стареньком домашнем платье, она имела вид самый добродушный. А Марина улыбалась с откровенным удовольствием; на ее лице не было и следа того неприступно-презрительного выражения, с которым не так давно она сказала Пете ужасное слово «болтун».

— Доброе утро! — сказал Петя смущенно и, желая произвести на Маринину маму самое благоприятное впечатление, даже шаркнул ногой, что вышло довольно глупо, так как он был босиком. Но на это не обратили внимания.

— Вы совершенно правы. Нынче действительно на редкость доброе утро, — с какой-то глубокой, серьезной улыбкой сказала Маринина мама. — Не правда ли, Петя?.. Вас ведь, кажется, зовут Петя?

Она рассматривала его с любопытством, так как догадывалась, что это именно он бросал ее дочке по ночам в окна секретки.

А Марина невинно посмотрела на Петю исподлобья и сказала как ни в чем не бывало:

— Давно с вами не виделись.

Она явно его задевала. Тут бы Пете и блеснуть каким-нибудь великолепным печоринским ответом, но вместо этого он сумрачно пробормотал:

— Это зависит не от меня.

— А от кого же? — капризно сказала Марина и, повернувшись к Пете боком, стала крутить пальцами тугую каплю клея, выступившего на коре черешни, под которой они стояли.

— Вы сами знаете, от кого, — с нежным упреком ответил Петя и сам испугался, так как это уже было почти объяснение в любви.

Но как раз в это время подошла тетя и вывела племянника из затруднительного положения:

— Ах, это вы? Наконец-то! Вы упорно нас избегаете. Нельзя же, в самом деле, быть такой затворницей! На то и дача, чтобы наслаждаться природой, дышать морским воздухом, гулять в саду. Все это к вашим услугам, а вы по целым дням сидите взаперти, — зашебетала тетя, сразу впадая в тот несколько жеманный, светский тон, в котором, по ее мнению, должна разговаривать интеллигентная хозяйка пансиона со своими интеллигентными жильцами. — Но, боже мой, что я вижу? — всплеснула тетя руками. — У вас корзинки! Неужели вы тоже пришли нам помочь? Это так мило, так любезно с вашей стороны! Не буду от вас скрывать, но мы очутились в ужасном положении. Такой богатый урожай, но с нашей непрактичностью... Как интеллигентный человек вы это должны понять...

— Да, да, — холодно сказала мадам Павловская. — Хотя и маленький, но типичный случай, очень ярко характеризующий процесс концентрации торгового капитала. Повидимому, эта самая Стороженко... или я не знаю, как ее там зовут... уже является на местном фруктовом рынке полной монополисткой и теперь всякими правдами и неправдами уничтожает всех своих более слабых конкурентов. С вашей стороны было весьма наивно, что вы это не сразу поняли. Сильные поглощают слабых — таков закон исторического развития капитализма.

Тетя с испугом слушала Павловскую. Оказывается, она прекрасно осведомлена обо всех их делах, несмотря на то что все время сидит дома и нигде не показывается.

Из всех ее слов тетя поняла только то, что это что-то очень политическое, а мадам Пав-

ловская опасный человек. Но все же тетя сделала попытку вернуть разговору светский характер.

— Вы совершенно правы, — сказала она. — А мадам Стороженко — это прямо-таки монстр. Грубое, невоспитанное животное, которому совершенно не место в приличном обществе.

Павловская нахмурилась:

— Мадам Стороженко прежде всего дрянь, с которой надо бороться.

— Да, но каким образом? — сказала тетя, брезгливо пожимая плечами. — Не подавать же на нее мировому! Слишком много чести!

Павловская внимательно посмотрела на тетю и вдруг улыбнулась так, как улыбаются детям, когда они задают наивные вопросы.

— Мировому? Вы меня умиляете, — сказала она и засмеялась сухим, недобрим смехом.

Тетя смотрела на эту маленькую женщину с умным, насмешливым, решительным лицом, на ее вздернутый, упрямый подбородок, на темные усики над верхней губой и чувствовала, что она принадлежит к какому-то совсем другому, особому миру, непонятному, но притягательному.

«Вы социал-демократка?» — хотела спросить тетя, но вместо этого вдруг обняла Павловскую и совсем по-институтски воскликнула:

— Душечка, вы мне ужасно нравитесь!

— Уж не знаю чем, — серьезно ответила Павловская, но было заметно, что тетя ей тоже нравится.

Повидимому, Павловская с самого начала составила себе о семействе Бачей не совсем верное представление.

Она думала, что это обыкновенные арендаторы, промышляющие дачей и фруктовым садом, а они оказались наивными, не приспособленными к жизни людьми, попавшими в беду.

Натянутость исчезла, они разговорились. И хотя Павловская попрежнему держала себя весьма сдержанно, но тетя, со свойственной ей живостью воображения, уже через пять минут довольно точно представила, что, собственно, происходит на хуторке.

Она поняла, что это не просто пришли поденные рабочие, которых привел Гаврик с Ближних Мельниц, а это все люди, связанные между собой какими-то общими интересами и, что самое удивительное, хорошо знакомые с Павловской. И было похоже, что во всем этом есть какой-то тайный умысел.

## ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ!

Петя и Марина шли по аллее, делая вид, что очень заняты своими мыслями, а на самом деле просто не зная, о чем говорить, а главное, с чего начать.

— Вы на меня сердитесь? — спросила Марина, и так как Петя продолжал угрюмо молчать, она осторожно поцарапала ноготком по его рукаву и сказала: — Не надо сердиться. Лучше будем друзьями. Хотите?

Петя искоса посмотрел на нее и сразу понял, что она хитрит. Она вызывает его на объяснение. Она хочет, чтобы он сказал: «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной». И тогда она его сразу поймает. Нет, матушка, стара штука! Не на такого напала! И Петя снова промолчал.

— Чего ж вы молчите? — спросила она, стараясь заглянуть ему в лицо.

— Так, — сказал Петя многозначительно. Дескать, понимай как знаешь.

Она вздохнула и вдруг спросила, понизив голос, почти шопотом:

— Вы без меня скучали?

— А вы? — спросил Петя, не слыша собственного голоса.

— Я скучала, — ответила она и опустила голову так низко, что с ее ушей посыпались черешенки.

Она стала их в смущении подбирать.

— Вы мне даже один раз снились, — сказала она и покраснела.

Петя не поверил своим ушам. «Что это? — с беспокойством подумал он. — Кажется, она объясняется мне в любви?» О таком счастье Петя не смел даже мечтать. Но теперь, когда она так робко и так правдиво сказала эти волшебные слова — «я скучала» и «вы мне снились», Петя вдруг почувствовал громадное облегчение, даже разочарование. Ну, слава богу! Еще минуту назад она казалась ему недостижимой, а теперь перед ним стояла хотя и довольно миленькая, но все-таки самая обыкновенная девочка, не имевшая ничего общего с той Мариной, которую он так безнадежно и так мучительно любил.

— А я вам когда-нибудь снилась? — спросила она.

Петя почувствовал, что наступила решительная минута: от его ответа зависел дальнейший ход романа. Сказать: «Да, снилась», — было все равно, что признаться в любви. Тогда что же получается? Он ей

снился, она ему снилась. Она его любит, он ее любит. Взаимная любовь. Именно то самое, к чему он так стремился. Это, конечно, очень заманчиво, но не слишком ли быстро? Так все хорошо, интересно налаживалось, роман только еще начинал по-настоящему разворачиваться, как вдруг ни с того ни с сего — взаимная любовь!

Конечно, она сразу избавляла Петю от множества хлопот и неприятностей, вроде бессонных ночей, ревности, сиденья в мокрой пыли и бросания в окно секреток. И в этом было ее громадное преимущество. Но что же дальше? Оставалось одно — целоваться. При мысли об этом Петю бросило в жар. Нет, нет, что угодно, но только не это!

А Марина стояла, прислонившись к лестничке под черешней, смотрела на него потемневшими глазами и облизывала потрескавшиеся, даже на вид горячие губы, от которых Петя не мог отвести глаз.

— Что же вы молчите? — сказала она с настойчивым нетерпением голосом заклинательницы змей. — Я вам снилась?

Она опять явно забирала над ним верх. Еще секунда — и Петя уже готов был сказать покорным шопотом: «Снились», но дух отрицания и сомнения все-таки восторжествовал.

— Как это ни странно, но, представьте себе, не снились, — сказал Петя с косою, напряженной улыбкой, показавшейся ему самому ледяной и в высшей степени печоринской.

Она опустила ресницы и слегка побледнела.

«Ага, голубушка! — подумал Петя с торжеством. — Не на такого напала».

Ему ее совсем не было жалко. Теперь, когда он взял над ней верх, она ему уже не так нравилась.

— Вы правду говорите? — спросила она, подняла глаза и с притворным вниманием стала рассматривать крону дерева, под которым они стояли.

Пете даже показалось, что она мимолетно улыбнулась, как будто увидела на дереве что-то забавное. Но Петю уже не могло обмануть это маленькое лукавство.

— Понимаете, — сказал Петя, вовсе не желая доводить дело до разрыва, — вы мне не то чтобы не снились, а просто я вас не видел во сне.

— Как это? — спросила она с любопытством и опять улыбнулась дереву, даже как бы исподтишка ему подмигнула.

— Очень просто, — ответил Петя. — Ви-

деть во сне — это одно, а сниться — совершенно другое. Неужели вы не понимаете? Сниться-то вы мне снились, — мало ли что человеку снится! Многое снится. А вот специально видеть во сне кого-нибудь одного — это совсем другое дело.

— Не понимаю, — сказала она, прикусив губу.

— Сейчас вам объясню. Видишь во сне — это когда... ну как бы вам объяснить... когда... ну, любишь, что ли. Вы, например, когда-нибудь кого-нибудь любили? — сев на своего конька, строго спросил Петя.

— Любила. Вас, — быстро ответила Марина.

Петя самодовольно поморщился.

— Я не верю в женскую любовь, — сказал он разочарованно.

— Напрасно! А вы кого-нибудь любили? — спросила она и не могла задать более приятного вопроса. Как глупая мышь, она сама лезла в мышеловку, так ловко и незаметно поставленную Петей.

— На такие вопросы не отвечают, — сказал Петя, — но вам я скажу, потому что считаю вас своим другом. Ведь мы с вами друзья, не правда ли?

— Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — сказала Марина.

— А я верю! — с досадой сказал Петя. Она положительно начинала его раздражать, потому что почти все время говорила именно то, что должен был говорить он. Можно подумать, что она никогда не читала романов.

— Напрасно, — заметила она. — Но вы мне, кажется, что-то хотели сказать?

— Я вам хотел сказать... даже, собственно, не сказать, а рассказать... Ну, можно и сказать... Только, конечно, как другу, потому что об этом никто не знает и никогда не узнает. — Петя стал несколько боком и повесил голову. — Я любил, — сказал он с грустной улыбкой. — Собственно, я и сейчас люблю... Но это не имеет значения...

— А она вас?

— Ах, даже больше, чем я ее! Я ее просто люблю. А она влюблена. И вот, вообразите себе, однажды мы с ней пошли в степь собирать подснежники. Был чудесный весенний вечер...

— Знаю, — с живостью сказала Марина. — Это Мотя, да?

— Откуда вы знаете?

— Не важно откуда, а знаю. Не понимаю, что вы в ней нашли особенного? — с легкой гримаской сказала Марина. — И вы ее действительно любите?

— Представьте себе, — пожимая плечами, сказал Петя. — Сам не понимаю, как это случилось. Ничего особенного собой не представляет, просто смазливенькая мордашка, и вот...

В листве над головой послышался шорох, и с дерева упала черешенка, которую, вероятно, оторвал и уронил скворец.

— Кш-ш-ш! — махнул Петя рукой.

— Ах, вот что! — сказала Марина ревниво. — Значит, вы любите ходить в степь собирать подснежники? Ну, и что же там было? Вы, конечно, целовались?

— На такие вопросы не отвечают, — уклончиво сказал Петя.

— Вы мне должны открыть как другу. Я требую! — сердито сказала Марина и даже топнула ногой.

«Ага, голубушка, ревнуешь! — подумал Петя. — Погоди, то ли еще будет!»

— Говорите сейчас же — целовались или не целовались? А то я сию минуту уйду, и мы больше никогда не увидимся! Слышите? Никогда! — Ее глаза грозно сверкнули.

В эту минуту она была дивно хороша, и Петя, небрежно пожав плечами, сказал:

— Ну пожалуйста. Конечно, целовались.

— Ай, как не стыдно, как не стыдно! — сказал над головой Мотин голос, и в ту же минуту раскрасневшаяся Мотя скользнула с дерева в ромашки и стала прыгать на одной ноге вокруг Пети, приговаривая: — А я не знала, что вы такой брехунишка! А я не знала, что вы такой брехунишка!

— Молодец Мотья, что раньше времени не засмеялась! — кричала Марина, хлопая в ладоши.

— А я себе все время рот зажимала руками, — сказала Мотя, не переставая прыгать вокруг Пети: — Брехунишка, брехунишка!

Петя готов был провалиться сквозь землю.

— Ах, так? — грозно сказала Марина. — Значит, вы целовались? — С этими словами она вплотную подошла к Пете, ловко намотала на палец прядь его волос и с силой потянула.

— Больно! — крикнул Петя.

— А мне не больно? — сказала Марина.

И, несмотря на весь ужас своего положения, Петя не мог не оценить этот великолепный ответ, взятый непосредственно из «Первой любви» Тургенева.

Вдруг Марина засмеялась своим загадочным, русалочьим смехом и с чисто женской непоследовательностью сказала:

— Слушай, Мотья, давай его просто побьем?

— Давай! — сказала Мотя, и обе девочки с опасным хохотом бросились на Петю.

Но, сделав ловкое движение, он ушел у них из-под рук и стремглав понесся куда глаза глядят, мелькая голыми пятками.

Девочки побежали за ним. Он слышал за собой их веселые, насмешливые крики. Они его догоняли. Тогда Петя решил применить известный фокус: неожиданно упасть на землю под ноги своим преследователям. Однако он поторопился. Он бросился ничком и стал на четвереньки слишком рано, не подпустив девочек достаточно близко. Он стоял на четвереньках, имея весьма глупый вид, а девочки не торопясь подбежали, сели на него верхом и стали тузить.

Это было не больно, но очень унижительно.

— Лежачего не бьют! — жалобно простонал Петя.

Тогда они, злорадно пыхтя, стали его щекотать. Он визгливо захохотал. Тут на помощь другу пришел, откуда ни возьмись, налетевший Гаврик.

— Двое на одного! Не по правилам! Наших бьют! — закричал он и упал сверху на девочек. — Мала куча! Куча мала!

На этот призывный клич со всего сада в одну минуту сбежались Павлик, Женька и все мальчишки и девчонки Женькиной компании, так что скоро под деревьями уже шевелилась, пыхтела, хохотала, визжала громадная «куча мала».

## ЛII

### ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ

В этот день Василий Петрович проснулся очень поздно. Он спал всю ночь как убитый — тяжелым сном измученного, смертельно усталого человека, без сновидений, без мыслей, без чувств.

Проснувшись, он еще долго лежал на своей парусиновой раскладушке, повернувшись лицом к стене с закрытыми глазами, и все никак не мог представить, что же теперь с ними будет.

Наконец он заставил себя встать, одеться и выйти в сад. Он увидел разостланные под деревьями мешки и рогожки с горами черешни, множество знакомых и незнакомых людей, которые, стоя на лестничках и сидя на ветвях, снимали урожай; он увидел пасу-

щихся лошадей и две неизвестно откуда взявшиеся платформы; и наконец он увидел тетю, которая шла к нему навстречу мелкой энергичной походкой и оживленно улыбалась.

— Ну, Василий Петрович, кажется, все устраивается как нельзя лучше!

— О чем вы говорите? — спросил он мотонным, ничего не выражающим голосом. На его лице появилась странная улыбка, поразившая тетю своей лунатической неподвижностью. — О чем вы говорите? — повторил он рассеянно.

— Ах, боже мой, о чем же я еще могу говорить, как не о нашем урожае, как не о наших черешнях! — весело ответила тетя.

Но, услышав слово «черешни», Василий Петрович вздрогнул как ужаленный.

— Нет, нет! Только ради бога! — простонал он. — Ради бога, ради бога, избавьте меня от этого... от этого мученья...

— Да вы меня выслушайте, — мягко сказала тетя.

— Не буду! Не хочу! Не желаю! Лучше носить в порту мешки! — закричал Василий Петрович мучительным голосом и без оглядки побежал в дом, нелепо размахивая руками и спотыкаясь.

— Выслушайте меня, по крайней мере! — крикнула ему вслед тетя.

Но он промолчал, не желая ничего понимать, кроме того, что все это, наверно, опять какие-то глупые фантазии и что они бесповоротно пропали.

Он опять лег на свою раскладушку лицом к стене, страстно желая лишь одного: чтобы его больше не трогали.

И тетя больше его не трогала, зная, что все равно это ни к чему не приведет. Все случилось без участия Василия Петровича, в течение двух дней.

Уезжали и приезжали платформы. Фыркали лошади. Скрипели корзины. Вечером в степи горели костры, и оттуда вместе с дымком доносился вкусный запах кулеши и печеной картошки. Слышались песни. И во всем этом чувствовалось что-то бодрое, праздничное. Это и впрямь был какой-то праздник веселого, свободного труда.

Но ничего не замечал или, вернее, не хотел замечать Василий Петрович. Он испытывал мучительное, безвыходное состояние доверчивого человека, который вдруг увидел, что его все время грубо обманывали. Он понял, что обманут жизнью.

Оказывается, он все время жил в мире иллюзий. И самая опасная из них была та,

что он считал себя свободной, независимо мыслящей личностью. А он в действительности вместе со всеми своими прекрасными, возвышенными мыслями, вместе со своей божественно-чистой душой и благородным сердцем, со своей любовью к родине и народу был не более чем рабом, таким же самым рабом, как миллионы других русских людей — рабов церкви, государства и так называемого общества.

Едва он сделал слабую попытку быть честным и независимым, как на него сразу обрушилось государство в лице попечителя учебного округа Смольянинова, а затем «общество» — в лице Файга, а когда он, для того чтобы сохранить свободу и независимость, решил жить «трудами своих рук» и зарабатывать свой хлеб «в поте лица», то оказалось, что и это тоже невозможно, потому что этого не желает мадам Стороженко.

Большую часть времени Василий Петрович лежал на раскладушке. Но теперь он уже не поворачивался лицом к стенке. Он лежал на спине, скрестив на груди руки, и неподвижно смотрел в потолок, где сияли зеленые отражения сада. Его челюсти были крепко стиснуты, и гневная морщина косо пересекала красивый, лепной лоб.

На третий день утром тетя негромко, но довольно решительно постучала в дверь его комнаты:

— Василий Петрович, на одну минуту.

Он вздрогнул, вскочил, сел на раскладушке:

— Что? Что вам угодно?

— Выйдите на террасу.

— Зачем?

— Есть важное дело.

— Прошу избавить меня от каких бы то ни было важных дел.

— Нет, я вас все-таки очень прошу.

В голосе тети Василий Петрович уловил какую-то новую, серьезную интонацию.

— Хорошо, — глухо сказал он, — я сейчас.

Он привел себя в порядок, надел сандалии, сполоснул лицо, причесал волосы мокрой щеткой и вышел на террасу, готовый ко всему самому неприятному и унижительному.

Но вместо судебного пристава, околodочного, нотариуса или кого-нибудь вроде этого он увидел довольно толстого, средних лет человека в парусиновом пиджаке, повидимому мастерового, который, держа в зубах маленький кусочек сахара, пил чай из блюдца, поставленного на три пальца. По его красному, распаренному лицу, побитому оспой,

струился пот, и, судя по той милой, дружеской улыбке, с которой на него смотрела тетя, это был очень хороший человек.

— Вот, пожалуйста, познакомьтесь, — сказала тетя. — Это Терентий Семенович Черноиваненко, с Ближних Мельниц, тот самый, у которого жил Петя и стоит наша мебель.

— В общем, родной брат Гаврика, дружка вашего Петьки, — сказал Терентий и, осторожно поставив блюдце на стол, протянул Василию Петровичу свою большую, тяжелую руку. — Рад с вами познакомиться. Много о вас слышан.

— Вот как? — сказал Василий Петрович, присаживаясь к столу и принимая свою обычную «учительскую» позу, то-есть закладывая ногу на ногу и покачивая в свободной откинутой руке пенсне на черном шнурке с шариком. — Нуте-с, нуте-с, очень любопытно узнать, что именно вы обо мне слышали, в каком, так сказать, роде?

— Да вот, как вы сначала не поладили с начальством из-за графа Толстого, а потом не поладили с Файгом из-за дурака Ближенского, — со вздохом сказал Терентий, — ну и так далее. Что ж, вы, конечно, поступили вполне правильно, и мы вас за это можем только уважать.

Василий Петрович насторожился.

— Кто это «мы»? — спросил он.

Терентий добродушно усмехнулся:

— Мы, Василий Петрович, — это, стало быть, простые рабочие люди. Ну, народ, что ли...

Василий Петрович насторожился еще больше. В этих словах он явно почувствовал «политику». Он с тревогой посмотрел на тетю, так как все это, несомненно, была опять какая-то ее новая и, быть может, даже опасная фантазия. Но тут он вдруг заметил на столе стопочку бумажных денег — зеленых трешек, синих пятерок и розовых десятков, аккуратно разложенных и перевязанных нитками.

— Это что за деньги? — испуганно спросил он.

— Представьте себе, — со скромной улыбкой скрытого торжества сказала тетя, — урожай черешни реализован, а это наша выручка.

— Шестьсот пятьдесят восемь рубликов чистой прибыли! — сказал Терентий, потирая руки. — Так что вы теперь живете!

— Позвольте, — не веря своим глазам, воскликнул Василий Петрович, — как же все

это произошло? А лошади? А платформы? А... как это?.. франко привоз, что ли?

— Будьте спокойны, — сказал Терентий, — у нас фирма солидная. Для хороших людей все можем достать: и лошадок, и платформы, и упаковку. На то мы, как говорится, — пролетарии. Всё в наших руках, Василий Петрович. Не так ли?

Хотя слово «пролетариат» и принадлежало к самым опасным словам, от которых пахло уже не просто политикой, а самой настоящей революцией, но оно было сказано Терентием так просто, так естественно, что Василий Петрович принял его как должное, без малейшего внутреннего сопротивления.

— Так, значит, все это устроили вы? — спросил он, надевая пенсне и глядя на Терентия повеселевшими глазами.

— Мы! — ответил Терентий с оттенком гордости и так же весело посмотрел на Василия Петровича.

— Наш спаситель! — сказала тетя.

Затем она весьма подробно и с большим юмором стала рассказывать, как происходила продажа черешни. Оказывается, черешню возили на платформах по всему городу и продавали в розницу, и она имела громадный успех: ее брали буквально нарасхват, иногда даже целыми корзинами, в особенности белую и розовую; черная шла немного похуже.

— И вообразите себе, — говорила тетя, морща нос и блестя глазами, — наш Павлик торговал лучше всех.

— Как? — нахмурился Василий Петрович. — Павлик торговал черешней?

— Конечно, — сказала тетя, — все торговали. Вы думаете, я не торговала? Я тоже торговала. Надела старую шляпку а ля мадам Стороженко, села на козлы рядом с возчиком и торжественно ездил по всем улицам. Ну, а разве можно было удерживать детей? Решительно все торговали: и Петя, и Мотя, и Марина, и маленький Женька.

— Позвольте... — строго сказал Василий Петрович. — Мои дети торговали на улицах города черешней? То-есть я не вполне вас понимаю...

— Ах, боже мой, да очень просто: сидели на платформах, ездили и кричали: «Черешня! Черешня!» Ведь надо же было кому-нибудь кричать. Вы представляете, какое это было для них удовольствие! Но Павлик, Павлик! Он меня буквально потряс. Он кричал лучше всех. Вы знаете, я никогда не думала... У него голос прямо как у Собинова. И такая артистическая манера, а главное, такое тонкое понимание розничного покупа-

теля... Он отлично знал, с кого надо запрашивать, а кому уступать.

— Нет, это просто чорт знает что! — пробормотал Василий Петрович и уже готов был не на шутку рассердиться, но вдруг ясно представил себе, как его Павлик голосом Собинова поет на всю улицу: «Черешня! Черешня!», и под его усами невольно поползла улыбка. Он смахнул с носа пенсне и залился добродушным учительским смешком: — Хе-хе-хе-хе! — Однако он смеялся недолго, снова нахмурился и со вздохом сказал: — Хотя все это не так смешно, как грустно. Впрочем... с волками жить — по-волчьи выть...

— Вот это правильно, — сказал Терентий, — хотя и не совсем. С волками надо не жить, а с волками надо бороться. А то они нас с вами съедят, только останутся рожки да ножки. Возьмите эту самую старую базарную шкуру мадам Стороженко — извините, что я при вас так грубо выражаюсь, — ведь она вас чуть не раздела и не слопала со всеми вашими потрохами. Хорошо еще, что мы в это дело во-время вмешались, не опоздали.

— Да, — сказал Василий Петрович, — не знаю, как вас и благодарить... Вы нас буквально спасли от нищеты. Спасибо! Большое вам спасибо!

— Из вашего спасибо шубы не сошьешь, — с грубоватой улыбкой сказал Терентий.

Василий Петрович растерянно посмотрел на тетю. Он не понимал, что следует сделать. Может быть, предложить Терентию денег? Но Терентий, видимо, сразу прочитал его мысли.

— Да нет, тут не в грошах дело, — сказал он. — Мы вам помогли просто... как бы это сказать... по-соседски. Из солидарности. Ну и, конечно, чтобы не дать хорошего человека в обиду. А теперь помогайте трошки и вы нам.

Терентий упорно говорил «мы», но теперь это Василия Петровича почему-то уже не так пугало.

— Чем же я вам могу помочь? — спросил он с любопытством.

— А вот чем, — сказал Терентий и, вынув свернутый носовой платок, вытер свое большое, добродушное лицо и круглую, коротко стриженную голову, с атласным шрамом на виске. — Есть у нас тут небольшой кружок самообразования, что-то вроде воскресной школы. Читаем, знаете ли, различные брошюры, книжки, газеты. По мере сил занимаемся политической экономией. Все это



так, — Терентий вздохнул, — но не хватает нам, дорогой Василий Петрович... как бы выразиться... общих знаний. Ну, там история, география... Как произошла жизнь на Земле... и так далее... Как вы на это смотрите?

— То-есть вы хотите, чтобы я вам прочел несколько популярных лекций? — спросил Василий Петрович.

— Вот именно. Да и по русской литературе тоже не мешает. Пушкин, Гоголь, граф Толстой... В общем, что найдете возможным, вам виднее. Ну, а уж мы вам за это поможем по саду. Черешни у вас, слава богу, прошли благополучно, а ведь впереди еще вишни, яблоки, груши. Виноградничек есть. Правда, небольшой, но тоже потребует немало труда. Сами вы это не осилите. Вот и выйдет: вы — нам, мы — вам.

Василий Петрович уже примирился с мыслью, что его педагогическая деятельность кончена, но теперь вдруг в его душе вспыхнула такая радость, что в первую минуту ему трудно было с ней совладать. Он даже быстрым жестом потер руки, блеснул по-учительски стеклами пенсне: «Нуте-с, нуте-с...» Но, вспомнив все муки и унижения, связанные для него с учительством, быстро погас.

— Ах, нет! — сказал он. — Нет, нет! Только не это! Хватит с меня! — На лице его появилось умоляющее выражение, и он затрещал пальцами. — Ради бога, только не это! Я дал себе слово... Да и какой я педагог, если меня отовсюду... выгнали? — произнес он с горечью.

— Бог с вами, Василий Петрович, что вы говорите! — ужаснулась тетя.

— Они вас не выгнали, а они вас съели, — сказал Терентий. — Вы этим господинчикам стали поперек горла, и они вас, просто говоря, съели, а совсем не что-либо другое. Мы им тоже стали поперек горла, только нас, брат, не слопаешь. Не по зубам кость. Они нас даже в пятом окончательно не одолели. А уж теперь, в двенадцатом, и подавно. А вы говорите! — прибавил Терентий укоризненно, хотя Василий Петрович ничего и не говорил, а только искоса смотрел на него, стараясь понять, какая может быть связь между пятым годом, двенадцатым годом и его судьбой, которая сложилась так ужасно.

— Нет, — сказал он уже не так решительно, — все то, что вы говорите, может быть, до известной степени и справедливо, но только мне от этого не легче... — Он еще хотел прибавить, что лучше пойдет в порт

таскать мешки, но почему-то промолчал, а только выставил вперед бороду и сказал: — Вот таким образом.

— Ну-к что ж, — сказал Терентий. — Как говорится, вольному воля. Только я думаю, что вы это решаете неправильно. Как это может быть, чтобы учитель вдруг перестал учить? По какому такому случаю? Мало ли что вы там не сошлись с попечителем Смольяниновым и с хабарником Файгом! Это не народ. А народ у нас, вы сами знаете, еще очень темный. Его надо просвещать. Рабочему классу не хватает образованных людей. А где мы их возьмем, если это нам не по средствам? Кто нам поможет, как не вы? Мы вам помогли, вы нам помогите. Надо, Василий Петрович, жить по-соседски. От нас до вас не так далеко. Те же пролетарии. Отсюда до Ближних Мельниц по прямой линии через степь версты три, не больше. Ну так как же, а? — Терентий ласково посмотрел на Василия Петровича. — Вам и ходить к нам не придется. Сами придем, только прикажите. В субботу вечером после работы, а то и в воскресенье. Мы вам и деревья окопаем, и сад польем, и виноградником займемся, а вы с нами малость позанимайтесь. На свежем воздухе, под деревьями, на травке или где-нибудь в степи, в укромном местечке — хорошо! Тем более что на Ближних Мельницах у нас за последнее время совсем не стало житья от полиции. Чуть народ соберется в хате или где-нибудь поговорить, почитать книжку или что-нибудь — сразу налет, обыск, шум, и пожалуйте в участок. А здесь у вас чистая благодать. Если даже кто и нагрянет, то — пожалуйста, сделайте одолжение: люди работают в саду, картина обыкновенная.

Терентий говорил мягко, почти нежно, почтительно, иногда касаясь рукава Василия Петровича двумя пальцами с такой деликатностью, как будто снимал пушинку. И чем больше он говорил, тем больше нравилась Василию Петровичу идея этой воскресной общеобразовательной народной школы на чистом воздухе, под открытым небом. Это было именно то, чего ему так не хватало: свободный физический труд, одухотворенный свободными науками.

Пока Терентий его уговаривал, Василий Петрович уже мысленно составлял план своих первых лекций. Прежде всего, конечно, популярный очерк всеобщей истории, физическая география... может быть, впоследствии астрономия — великолепная наука о звездах...

— Ну, Василий Петрович, так как же? По рукам, что ли? — спросил Терентий.

— По рукам! — решительно ответил Василий Петрович.

В этот же день тетя съездила в город, уплатила по векселям, и на хуторке началась новая жизнь.

### ЛIII

## СВЕТЛЯЧКИ

В течение пяти дней в неделю жизнь на хуторке ничем не отличалась от старой. По-прежнему семейство Бачей «в поте лица своего» трудилось в саду, окапывая и поливая уже не черешни, а вишни и яблони. Иногда, впрочем, к нему присоединялись и Павловские.

Теперь между Петей и Мариной установились вполне дружеские, даже скупноватые, добрососедские отношения, что, впрочем, не мешало Пете иногда — скорее по привычке, чем по чувству, — бросать на Марину красноречиво-загадочные взгляды, в ответ на которые она чаще всего украдкой показывала язык.

Но каждую субботу после обеда начиналось нашествие с Ближних Мельниц. Появлялись Мотя, Гаврик, Женька. Шел худой и высокий Синичкин, держа подмышкой собственную лопату, аккуратно завернутую в газету. Шагали под деревьями в ногу, как солдаты, знакомый Пете по Ближним Мельницам старик-железнодорожник со своим фонарем и матрос дядя Федя с большим медным чайником и караваем флотского житника подмышкой.

Всегда запыхавшись, прибегала со станции конки девушка-учительница, прижимая к груди несколько тощих брошюр с потрепанными краями.

Приходили и некоторые другие из числа постоянных воскресных гостей Терентия — рабочие, — которых Петя, когда жил на Ближних Мельницах, частенько видел то на улице, то в мастерских, то в палисадниках у хат.

Терентий приходил обычно последним. Он быстро снимал ботинки и пиджак, складывал их под деревом и сразу же начинал командовать:

— А ну-ка, братцы, бросай курить, становись на работу!

Он проворно распределял людей: кого на опокывание деревьев, кого таскать из цистерны воду, кого поливать,

кого на виноградник. Сам тоже брал лопату или сапку.

Работали недолго — часа два, не больше. Но за это время успевали сделать гораздо больше, чем семья Бачей за всю неделю. Потом все шли купаться в море, а когда возвращались, то чинно усаживались под деревьями в кружок, и Терентий отправлялся за Василием Петровичем.

— Ну что ж, я готов, — неизменно говорил Василий Петрович, появляясь на террасе в свежеевыглаженном чесучовом пиджаке, крахмальной сорочке с черным «учительским» галстуком, в твердых манжетах и шевровых ботинках с узкими носами.

Прямой и строгий, держа подмышкой тетрадку с конспектом своей лекции, к которой готовился несколько дней, он шел пружинистой учительской походкой, а Терентий почтительно нес за ним стул, захваченный на террасе.

При появлении Василия Петровича «ученики» пытались встать, но он быстрым движением ладони заставлял их сидеть и, отстранив стул, сам опускался на траву, как бы желая подчеркнуть особый, свободный и независимый, характер занятий.

Впрочем, это была единственная вольность, которую позволял себе Василий Петрович. В остальном он ни в чем не отклонялся от самых строгих академических традиций.

— Итак, — говорил он, искоса заглядывая в конспект, — в прошлый раз, господа, мы с вами познакомились с жизнью первобытного человека, который уже умел добывать огонь, с помощью примитивных каменных орудий охотился на диких животных, но еще не научился возделывать землю и сеять хлеб...

И Петя, который иногда тоже подсаживался в кружок, чтобы послушать лекцию, с удивлением видел перед собой не привычного, домашнего папу, милого, доброго, иногда несчастного, а совсем другого человека — педантичного преподавателя, так ясно и последовательно излагающего свой предмет.

Петя никогда не предполагал, что у отца такой красивый, звучный голос и что его с таким детским вниманием могут слушать все эти взрослые, рабочие люди. Петя заметил, что они его даже боятся. Например, однажды во время лекции дядя Федя, позабывшись, закурил. Тогда Василий Петрович вдруг остановился на полуслове и посмотрел на дядю Федю таким ледяным, неподвиж-

ным взглядом, что дядя Федя зажал горящую цыгарку в кулак, покраснел, вскочил на ноги, вытянулся и, выпучив глаза, гаркнул по-матросски:

— Виноват, товарищ лектор! Больше не повторится.

— Садитесь, — холодно сказал Василий Петрович и продолжал развивать свою мысль с того самого слова, на котором остановился.

А Терентий из-за его спины показал дяде Феде кулак, и тогда Петя понял, что папа не только сам любит и уважает свое дело, но умеет заставить уважать его и других.

Обычно с субботы на воскресенье все оставались ночевать на хуторке, чтобы, встав пораньше, продолжать работу в саду, поэтому сейчас же после лекций начинали готовить ужин.

Возле шалашей, сложенных из бурьяна и полыни, разводили костер, ставили на него большой чугунок — варили кулеш с картошкой и салом. Наступала ночь. Под деревьями было непроглядно темно, и казалось издали, что костер горит в пещере. Вокруг него ходили гигантские тени людей, доставая головами до звезд. И все это напоминало Пете цыганский табор.

Когда попевал кулеш, Терентий подходил к дому и звал Василия Петровича:

— Милости прошу к нашему шалашу!

Через некоторое время у костра появлялся Василий Петрович, но уже на этот раз домашнему — в старой косоворотке и сандалиях на босу ногу. Ему протягивали деревянную ложку, и он, присев на корточки, с видимым удовольствием ел да похваливал слегка придымленное огненное варево.

Потом пили также слегка придымленный чай с житным флотским хлебом.

Иногда на огонек приходили знакомые Терентия, рыбаки с Большого Фонтана, и приносили свежую рыбу — бычков или глосиков. Тогда ужин затягивался далеко за полночь. Понемножку начинались политические разговоры — сначала осторожные, инсказательные, а потом все более и более откровенные и такие решительные, что Василий Петрович сначала притворно зевал, ерзал на траве, а потом говорил, вставая:

— Нуте-с, господа, не буду вас больше обременять своим присутствием. Благодарствуйте за хлеб, за соль, а я лично отправляюсь на боковую. И вам советую. А кулеш был действительно бесподобный!

Его не удерживали. После ухода Василия Петровича тушили костер и перебира-

лись в шалаш Терентия, где при свете железнодорожного фонаря продолжалась беседа уже совсем другого характера. Появлялась Павловская с толстой, растрепанной книгой, завернутой в полотенце. Петя уже знал, что теперь сначала будут читать «Капитал» Маркса, последние номера «Правды», а потом решать разные партийные дела.

Но присутствовать при этом не полагалось не только Пете, но даже и самому Гаврику. На их обязанности лежала наружная охрана. Они должны были время от времени обходить вокруг хуторка, наблюдая за степью и в особенности за дорогой.

В случае, если покажется кто-нибудь подозрительный, они должны были дать сигнал тревоги — выстрелить из берданки. Но кто мог появиться поздней ночью в степи, далеко от города? Кому могло прийти в голову, что где-то в глубине фруктового сада, в маленьком шалаше, при свете железнодорожного фонаря, восемь или десять человек — простых рабочих, мастеровых, большефонтанских рыбаков — обсуждают судьбы России, судьбы всего мира, составляют листовки, решают партийные дела и готовятся к новой революции?

Однако Петя и Гаврик весьма строго и точно исполняли свои обязанности. У Пети за спиной висела старая берданка из хозяйства мадам Васютинской, а Гаврик то и дело опускал правую руку в карман, где у него лежал заряженный браунинг, чего Петя даже и не подозревал.

Сначала с ними за компанию вокруг хуторка ходили девочки. Марина, конечно, понимала, в чем тут дело, а Мотя простодушно думала, что мальчишки охраняют сад от воров, и она, затаив дыхание, шла на цыпочках за Петей и не сводила глаз с его берданки.

Она уже не только не сердилась на Петю, оказавшегося таким врунишкой, но даже любила его еще больше, особенно теперь, когда все вокруг было так тихо, темно и таинственно, когда все давно уже спали, — не спали только перепела и сверчки, — и когда степь вокруг неясно серебрилась от звезд.

— Петя, а вы не боитесь воров? — спрашивала она шопотом, но Петя молчал, делая вид, что не слышит.

Сейчас ему было не до любви. Да и вообще он дал себе слово больше не связываться с девчонками. Хватит! Пусть он лучше теперь будет одинокий, замкнутый, мужественный человек, для которого не существует женщин.

Он напряженно всматривался в пустую степь, прислушивался к малейшему шороху. А Мотя плелась за ним на цыпочках и шептала:

— Петя, а вы будете стрелять, если вдруг увидите воров?

— Понятное дело, — отвечал Петя.

— Тогда я лучше закрою уши, — изнемогая от страха и любви, шептала Мотя.

— Отстань!

Она умолкала, но через некоторое время за спиной у Пети слышались странные звуки, как будто чихала кошка. Это сдержанно смеялась Мотя.

— Ты чего там хихикаешь?

— Вспомнила, как мы вас мутузили вместе с Маринкой.

— Дура! Это я вас мутузил, — бормотал Петя.

— Вы фантазер, — говорила Марина голосом своей матери.

Она вообще во время подобных ночных прогулок держала себя весьма сдержанно, солидно, как взрослая, больше молчала и шла все время рядом с Гавриком, даже иногда брала его под руку. Хотя Петя и чувствовал при этом небольшие муки ревности, но продолжал стойко играть роль человека, для которого не существует любви.

Увы, любовь не только существовала, но ею была как бы пропитана вся эта теплая степная ночь. Любовь была во всем: в темном небе, засыпанном серебристым песком мелких летних звезд, в хрустальном хоре сверчков, в мягких порывах теплого, почти горячего полуденного ветра, несущего пряные запахи чебреца и цветущей полыни, в далеком лае собак и особенно в огоньке светлячка, который, казалось, горит где-то за тридевять земель, а на самом деле стоило лишь протянуть руку — и мягкий, невесомый фонарик уже лежал на ладони, освещающий вокруг себя крошечный участок кожи своим безжизненно-зеленым, селеновым светом.

Девочки собирали светлячков и клали друг другу в волосы. Потом они начинали зевать и скоро уходили в свой шалашик, плывя в темноте, как два маленьких созвездия.

Гаврик и Петя оставались одни, продолжая охранять лагерь до тех пор, пока в шалаше Терентия не гас фонарь. Иногда он гас лишь на рассвете.

В эти предутренние часы Гаврик был особенно откровенен, и Петя узнавал много нового. Теперь для него было ясно, что уже

началось новое, мощное революционное движение и во главе его стоит Ульянов-Ленин, который недавно, по словам Гаврика, переехал из Парижа в Краков, чтобы находиться поближе к России.

— И ты думаешь, она будет... революция? — спрашивал Петя, с усилием выговаривая это грозное слово.

— Не думаю, а наверное, — отвечал Гаврик и прибавлял шопотом: — Если хочешь знать, она уже вот-вот...

Затаив дыхание, Петя ждал, что он скажет дальше. Но Гаврик молчал, не умея объяснить словами все, что он чувствовал и слышал от Терентия. Впрочем, Петя понимал и без слов. Ленский расстрел. Забастовки. Митинг в степи за Ближними Мельницами. «Правда». Драка с «союзником». Прага. Краков. Ульянов-Ленин. Наконец, эта ночь и этот фонарь в шалаше. Разве все это не было предчувствием нарастающей революции?

## LIV

### „УСАТЫЙ“

Скоро поспела вишня. Ее было не так много, как черешни, но возни с ней было не меньше.

В самый разгар уборки неожиданно появилась мадам Стороженко. На этот раз она не въехала в усадьбу, а ее бричка остановилась за валом, поросшим дерезой, и мадам Стороженко долго стояла во весь рост на подножке, держась за голову одного из «персов», и наблюдала за уборкой.

— Босяки, хулиганы, пролетарии! — время от времени кричала она, грозя большим парусиновым зонтиком. — Вы у меня посмотрите, как сбивать цены на фрукту! Интересно знать, куда смотрит полиция!

Но на нее не обратили внимания, и она уехала, крикнув издали:

— Клянусь богом, я закрою эту вашу лавочку!

На другой день на рассвете за вишней приехали платформы, и Петя видел, как, не доезжая до хуторка, прямо в степи с них сбрасывали какие-то тяжелые ящики, которые потом исчезли.

— Что это за ящики? — спросил Петя.

— А я думал, ты еще спишь, — с неудовольствием сказал Гаврик, пропуская мимо ушей Петин вопрос.

— Нет, кроме шуток, что это за ящики?

— Какие ящики?.. — пропел Гаврик, сде-

лав невинные глаза. — Где ты видишь ящики? Чудак, нет никаких!

Но Петя очень хорошо видел ящики.

— Не валяй дурака! — сердито сказал он.

Гаврик стоял перед ним, расставив ноги.

— Забудь! — сказал он строго.

Но его лицо светилось таким скрытым торжеством, таким лукавством, что Петю еще больше разобрало любопытство.

— Нет, ты все-таки скажи, что за ящики? — настойчиво сказал он, отлично понимая, что в этих ящиках, которые он случайно увидел, кроется какая-то важная тайна и что Гаврику ужасно хочется похвастать этой тайной. — Ну? — еще более настойчиво спросил Петя.

Тогда Гаврик приблизил к нему лицо, одну минуту поколебался, а затем сказал, оглянувшись по сторонам и понизив голос:

— «Американка».

Пете показалось, что он ослышался.

— Что? — переспросил он.

— «Аме-ри-канка», — повторил Гаврик раздельно. — Не понимаешь? Эх ты, лопух...

Десятки раз проходил Петя мимо этой маленькой степной балочки, густо заросшей будяками и полынью, и никогда не замечал в ней ничего особенного. Но как раз в это время бурьян на дне балочки зашевелился, и оттуда вылезли две фигурки: сначала дядя Федя, а потом старый железнодорожник. И тогда Петя сразу понял: на дне балочки, в скале, находилась щель. Таких щелей вокруг города — в степи и на берегу моря — было довольно много, и Петя знал, что это ходы в знаменитые одесские катакомбы. Так вот, оказывается, куда делись ящики!

— Теперь тебе понятно? — сказал Гаврик и так пронзительно, даже грозно посмотрел на Петю, что тот уже готов был произнести клятву, но воздержался, а только открыто и твердо посмотрел Гаврику в глаза, коротко сказав:

— Понятно.

— Ну, так смотри же! — сказал Гаврик. — И помни, что ты ничего не видел. Забудь!

— Забуду, — сказал Петя, и они оба не торопясь пошли на хуторок, где уже на подводе, прямо навалом, грузили вишню.

А на другой день утром на террасе снова появился Терентий. Он положил на стол деньги и сказал Василию Петровичу:

— Вот видите, как хорошо получается: вы — нам, мы — вам. Здесь без трех рублей сто двадцать, не считая пятнадцати карбо-

ванцев, которые мы удержали на разные мелкие расходы. Вы на нас за это не обижаетесь?

— О, что вы, что вы! — замахал руками Василий Петрович.

Он, конечно, и не подозревал, что эти «пятнадцать рублей на мелкие расходы» в тот же день были посланы по почте в Петербург, а через неделю в «Правде», в списке денежных поступлений на издание газеты, было напечатано мелким шрифтом: «От группы одесских рабочих 15 р.».

Таким образом был реализован урожай вишен.

Теперь на очереди стояли ранние сорта яблок. Лето проходило незаметно. Все обстояло благополучно, если не считать одного маленького события, которое для всех прошло незамеченным, но у Пети оставило неприятный осадок.

Как-то, возвращаясь с купанья и уже подходя к хуторку, Петя увидел человека, выходящего из их калитки. Человек оказался знакомым. Повинуясь необъяснимому чувству тревоги, Петя осторожно вошел в чащу кукурузы и присел на корточки среди толстых, мясистых стеблей и шуршащих листьев. Человек прошел так близко, что Петя мог дотронуться до его пыльных диагональных брюк и серых парусиновых туфель. Петя посмотрел вверх и на фоне яркого неба с гипсовыми июльскими облаками увидел голову в летнем люфтовом шлеме с двумя козырьками, сзади и спереди, — так называемом «здравствуй — прощай», — серые усы и пенсне с темными стеклами, как у слепого. Это был тот самый «усатый», которого Петя на всю жизнь запомнил еще в детстве, на пароходе «Тургенев», а последний раз видел перед отъездом за границу на палубе «Палермо», рядом с жандармским офицером.

Не замечая Пети, «усатый» прошел мимо, надувая сизые щеки и трубя под нос популярный марш капельмейстера Чернецкого.

Переждав некоторое время, Петя побежал домой, чтобы поскорее узнать, для чего приходил «усатый», но ничего важного не узнал. По словам тети, просто-напросто заходил какой-то дачник с Большого Фонтана за вишнями, и тетя ему сказала, что он, к сожалению, опоздал. Дачник обошел сад, похвалил хозяйство и обещал непременно навещать в сентябре, когда будет виноград. Вот, собственно, и все. Так как дело происходило в середине недели, никого с Ближних Мельниц не было и в саду работали только свои, Петя успокоился. Может быть, действи-

тельно «усатый» живет на Большом Фонтане и действительно просто заходил покупать вишни. Ведь, в конце концов, он тоже человек. Почему он не может быть дачником и жить летом на Большом Фонтане?

Но Гаврик отнесся к этому иначе, гораздо серьезнее, хотя и он допускал, что появление «усатого» — чистая случайность. Так или иначе, Терентий распорядился усилить охрану, и теперь Гаврик и Петя дежурили не только в ночь с субботы на воскресенье, но также и днем. Но, повидимому, тревога оказалась ложной: «усатый» больше не появлялся.

LV'

## ПАРУСА

В начале августа, в субботу, Петя и Гаврик, несколько раз обойдя степью вокруг хуторка и не заметив ничего подозрительного, вышли к обрывам, легли в полынь и стали смотреть в море.

Солнце недавно зашло, дул крепкий ветер, и над темносиним, беспокойным морем гасли еще по-летнему теплые, розовые облака. Уже шла скумбрия, и недалеко от берега играли дельфины. По всему горизонту виднелись надутые паруса шаланд. Это вышли в море рыбаки ловить скумбрию на «самодур».

Шаланды двигались в разных направлениях и меняли галсы, то приближаясь, то удаляясь. Иногда какая-нибудь шаланда подходила совсем близко, некоторое время шла, подскакивая, вдоль берега, и тогда было ясно видно, как из-под ее плоского дна, хлопавшего по волне, вылетали фонтаны брызг и как, стоя во весь рост на задранном носу, человек водил взад-вперед длинную бамбуковую удочку, согнутую от напряжения, как лук.

Мальчики знали, что к этой удочке на длинной леске привязана приманка: свинцовая, ярко раскрашенная рыбка со множеством острых крючков и пестрых перышек. Искусство ловли скумбрии на «самодур» заключалось в том, чтобы наиболее точно соразмерить скорость движения приманки со скоростью движения косяка рыбы. Хищная скумбрия бросалась в погоню за пестрой приманкой, и тут нельзя было ни слишком уйти вперед, ни слишком отстать. Надо было раздражить скумбрию, а затем поддаться — тогда скумбрия набрасывалась на «самодур»,

жадно хватала перышки и попадалась на крючок.

Это было увлекательное зрелище. Но сейчас Петя и Гаврик были заняты совсем другим. Они напряженно следили за парусами, желая отыскать именно тот, который они ждали.

Кроме рыбацких шаланд, далеко в море маячили белоснежные, щегольские паруса гоночных яхт Екатерининского и Черноморского яхт-клубов. Они заканчивали большой гандикап на ежегодный приз знаменитого одесского миллионера Анатра и теперь шли к финишу, круто накренясь под ветром, — многотысячные красавицы, построенные на лучших верфях Голландии и Англии: «Майяна», «Вега», «Нелли», «Снодроп»... В другое время они бы, конечно, поглотили все внимание Пети и Гаврика, но на этот раз Гаврик лишь одобрительно заметил:

— В море все равно как вечером на Де-рибасовской. Гулянье. Можно незаметно проскочить.

— По-моему, это вон та шаланда, как раз на траверзе старого большефонтанского маяка, — сказал Петя, с особенным удовольствием произнося слова «на траверзе».

— Не, — сказал Гаврик. — У Акимы Перепелицкого шаланда яркоголубая, недавно покрашенная, а эта облупленная.

— Верно.

— Не верно, а так точно.

— Стой! Вот она!

— Где ты видишь?

— Напротив Золотого Берега, ближе сюда, яркоголубая.

— Не. У нее новый кливер, а у Перепелицкого старый.

— Когда они обещали прийти?

— Как солнце сядет, так и придут.

— Солнце уже село.

— Еще чересчур светло. Пускай трошки стемнеет.

— А может, совсем не придут?

— Шutiшь, брат! Это дело партийное.

И мальчики продолжали с напряжением всматриваться в море.

А дело заключалось в том, что недавно в Одессу тайно приехал из-за границы, из Кракова, представитель Центрального Комитета с директивами от Ульянова-Ленина относительно выборов в Четвертую Государственную думу. Вот уже в течение недели этот представитель делал доклады о политическом положении, каждый день выступая на районных партийных собраниях. Сегодня его

ждали на хуторке. Для большей осторожности его должен был привезти с Ланжерона на своей шаланде молодой рыбак Аким Перепелицкий.

Облака понемногу гасли. Море темнело. Яхты прошли мимо и скрылись из глаз. Рыбачьих парусов стало заметно меньше. Далеко в Аркадии, на гулянье, играл духовой оркестр, и ветер приносил оттуда звуки труб и глухие вздохи турецкого барабана. А шаланда Акима Перепелицкого все не показывалась.

Вдруг Гаврик ее увидел:

— Вот она, вот!

Парус показался совсем не там, откуда его ждали. Шаланду ждали со стороны Ланжерона, а она подходила со стороны Люстдорфа.

Вероятно, из предосторожности Аким Перепелицкий сначала провел ее далеко морем до самого Люстдорфа, а уже там повернул назад, к даче Ковалевского. Теперь шаланда была совсем близко.

Ее гнал попутный ветер, и она, прыгая с волны на волну, быстро бежала прямо к берегу.

В шаланде находились двое. Один, развалившись на корме, держал подмышкой румпель. Это был Аким Перепелицкий, и Петя его сразу узнал. Другой — небольшой, коренастый, в старой полосатой тельняшке под брезентовой рыбачьей курткой, босой, в штанах, засученных до колен, — сидя согнувшись верхом на борту, проворно, сноровисто развязывал морской узел кливер-шкота. И Петя его узнал не сразу.

Пока мальчики сбежали с обрыва, паруса уже были спущены, руль снят и брошен на корму, киль поднят, и шаланда, по инерции царапая дном гальку, врезалась в берег.

Как и полагалось по неписаным законам Черного моря, Петя и Гаврик сначала помогли вытащить тяжелую шаланду на берег, а уже затем поздоровались с гостями.

— Тью! Дядя Жуков! — совсем по-детски воскликнул Гаврик, пожимая руку уполномоченному Центрального Комитета. — Побей меня бог, я так и думал, что это непременно вы!

Жуков некоторое время всматривался в лицо Гаврика.

— А! — наконец сказал он. — Теперь, братишка, и я тебя признал. Ведь это ты меня, никак, лет семь тому назад вытащил из воды против дачи «Отрада»? Так и есть! Ишь, как вырос! А дедушка-то, а?.. Хороший

был старичок, симпатичный. Ну, царство ему небесное. Помнится мне, все молился угоднику Николаю, но, как видно, так ни до чего хорошего и не домолился... — Тень давнего воспоминания пробежала по лицу Родиона Жукова. — Тебя как звать-то? Я уж, признаться, и забыл.

— Гаврик. Черноиваненко по фамилии.

— Черноиваненко? Стало быть, родственник Терентия Семеновича?

— Родной брат.

— Скажи пожалуйста! То-то, я смотрю, вы оба по одной дорожке идете.

— Дядя Жуков, а ведь я вас тоже хорошо знаю, — жалобно сказал Петя, который не мог перенести, что все внимание уполномоченного Центрального Комитета сосредоточилось на Гаврике. — Я вас знаю даже еще раньше, чем он. Когда вы прятались в дилижансе, помните? А потом — на пароходе «Тургенев»...

— Да что ты говоришь! — воскликнул весело Жуков. — Стало быть, мы с тобой тоже старые друзья, коли не врешь!

— Святой истинный крест! — с жаром сказал Петя и перекрестился. — Даже Гаврик может подтвердить... Гаврик, подтверди дяде Жукову, что это я носил патроны на Александровский проспект!

— Верно, — сказал Гаврик.

— А год назад я вас в Неаполе видел. Вы еще были тогда с Максимом Горьким. Скажете — нет?

Жуков посмотрел на Петю.

— Верно! — воскликнул он. — Теперь припоминаю. На тебе была флотская фланелька, верно?

— Верно, дядя Жуков, — сказал Петя и гордо посмотрел на Гаврика. — Видал?

— Только вы вот что, братцы, — строго сказал Жуков. — Забудьте, что меня кличут дядей Жуковым. Был Жуков, да весь вышел. Теперь я Васильев. Запомните. Повторите.

— Васильев, — в один голос сказали Петя и Гаврик.

— Так и держать!.. Ну, а тебя как звать? — обратился он к Пете.

— Петя.

— Сын того самого учителя, — пояснил Гаврик.

— Чую, — сказал Жуков. Подумал и решительно прибавил: — Ну так что ж, не стоит терять время. Пойдем, что ли... Как там народ, собрался?

— Давно уже, — ответил Гаврик.

— Дорога чистая? А то я в Кракове дал



честное слово, что буду себя соблюдать осторожно, как гимназистка.

— Нет, кругом все аккуратно, — сказал Гаврик.

Родион Жуков взял из шаланды круглую корзинку, полную скумбрии, и поставил себе на голову, как заправский рыбак, идущий со своим уловом по дачам.

— Богато нарыбачили! — сказал Гаврик с уважением.

— За один раз всю корзину на серебряный самодур! — засмеялся Жуков, подмигивая Акиму Перепелицкому.

Аким Перепелицкий, молодой, красивый, с чубом на глаза, с ленивой грацией взвалил на плечо весла, и они стали подниматься по обрыву.

Гаврик ушел шагов на пятьдесят вперед, Петя на столько же отстал, и было условлено, что в случае, если они заметят что-нибудь подозрительное, свистнут в четыре пальца. Петя шел сзади, на всякий случай приготовив пальцы, и почему-то больше всего боялся, что если придется свистеть, то вдруг у него ничего не выйдет. Но вокруг все было спокойно, и, пройдя в стороне от дороги, они благополучно добрались до хуторка, где у виноградаря Родиона Жукова встретил Терентий. Петя видел, как они обнялись, долго хлопали друг друга по спине, смеялись, а затем пошли к шалашам, где уже в темноте под деревьями трещал костер, рассыпая золотые искры.

Когда немного погода Петя подошел к шалашам, то Родион Жуков, окруженный народом, уже сидел перед костром и, раскуривая маленькую носогрейку с жестяной крышечкой, говорил:

— Таким образом, товарищи, посмотрим, какие же события произошли за последние полгода после Пражской конференции? Во-первых, восстановилась партия. И это самое главное. Вам не надо объяснять, как она восстанавливалась, какие невероятные трудности пришлось нам всем преодолеть. Бешеные преследования царской полиции. Провалы. Провокации. Постоянные перерывы в работе местных центров и нашего общего центра — Центрального Комитета. Но все это теперь, слава богу, уже позади. Наша партия смело, уверенно идет вперед, развивая свою работу и влияние в массах. Но развитие партийной работы теперь уже идет не по-старому, а по-новому. Что у нас осталось после разгрома революции пятого года? Одна нелегалщина. Теперь же к нашим неле-

гальным ячейкам, к ячейкам тайным, узким, еще более спрятанным, чем прежде, присоединяется более широкая, легальная марксистская проповедь. Именно в этом сочетании легального с нелегальным и заключается своеобразие новой подготовки революции в новых условиях. Мы идем, товарищи, к новой революции под лозунгами демократической республики, восьмичасового рабочего дня и полной конфискации всей помещичьей земли. Вы знаете, что эти лозунги обошли всю Россию. Их приняли все передовые, сознательные пролетарии. Одним словом, отступление кончено. Либерально-столыпинская контрреволюция доживает последние годочки. Растут стачки — растет восстание. Это революционный подъем масс, это начало наступления рабочих масс против царской монархии...

Петя не спускал глаз с Родиона Жукова, с его лица, резко освещенного льющимся, трескучим пламенем костра. Теперь это был совсем не тот Жуков, которого Петя видел в детстве и запомнил на всю жизнь. Это был не тот Жуков, которого Петя встретил в Неаполе, и даже не тот, который только что шел босиком по степи с круглой корзиной на голове. Это был какой-то другой, новый Жуков — товарищ Васильев, строгий, почти суровый, с требовательно прищуренными глазами, твердо очерченным ртом и коротко, позаграничному подстриженными усами. Это был матрос, ставший капитаном.

— Теперь поговорим о выборах в Четвертую Государственную думу, — продолжал Жуков. — Российская социал-демократическая рабочая партия выступила перед выборами, несмотря на весь гнет преследований, несмотря на массовые аресты, с более ясной, отчетливой, точной программой, тактикой, платформой, чем какая бы то ни было другая партия. Так формулирует Владимир Ильич Ленин-Ульянов в «Рабочей газете» обстановку, сложившуюся накануне выборов...

В это время Гаврик потянул Петю за рукав.

— Что ж ты здесь расселся, как барин? — прошептал он. — Надо идти охранять.

Петя осторожно выполз из круга и вдруг увидел отца. Василий Петрович со скрещенными на груди руками стоял, прислонившись к дереву, и так внимательно слушал Родиона Жукова, что даже не повернул головы, когда Петя, проходя мимо, задел его плечом. Волосы в беспорядке падали на его строго наморщенный лоб, и в каждом стекле пенсне отражалось по маленькому костру.

## У КОСТРА

Петя и Гаврик обошли хуторок и свернули на дорогу к станции. Недавно вместо конки пустили электрический трамвай, и теперь издали слышалось его виолончельное гуденье, над темными садами бежала синяя электрическая звездочка, и яркий свет из вагонных окон падал во все стороны, делая степную ночь еще темнее.

Вдруг Гаврик остановился и стиснул Петину руку. Петя увидел несколько белых фигур, которые одна за другой, как гуси, шли со станции по обочине дороги прямо к хуторку. И прежде чем Гаврик успел прошептать: «Полиция!», Петя уже понял, что это наряд городских в своих белых летних рубашках. Когда мальчики, с трудом переводя дух, прибежали к костру, Жуков продолжал говорить:

— Ликвидаторы кричат о приличной, цензурной, извините за выражение, «платформе для выборов». А мы, большевики, считаем, что не «платформа» для выборов, а выборы для проведения революционной социал-демократической платформы. Мы уже использовали выборы для этой цели и используем их до конца, используем даже самую черную царскую думу для революционной проповеди, агитации, пропаганды... Вот как-с!

Родион Жуков сердито откашлялся, потянулся к костру, чтобы вытащить уголек и зажечь погасшую трубку, но в это время Гаврик что-то шепнул Терентию, и Терентий, не вставая, поднял руку.

— Одну минуточку, товарищи... К порядку ведения собрания, — спокойно, даже как бы деловито сказал он. — Прежде всего прошу соблюдать полное спокойствие и революционную выдержку. Нас окружает полиция.

Петя подумал, что сейчас все вскочат, выхватят оружие... Он сорвал с плеча берданку, из которой так и не успел выстрелить, пока они бежали от городских. «Вот оно, начинается!» — подумал он с ужасом и восторгом.

Но, к его крайнему удивлению, все продолжали совершенно спокойно сидеть вокруг костра. Только Родион Жуков резким движением выбил об землю свою трубочку и спрятал ее в карман.

— Всем оставаться на местах, а тебе, Родион Иванович, и вам, Тамара Николаевна, — обратился Терентий к Павловской, — на некоторое время придется скрыться. У нас

тут есть недалеко подходящее местечко... Гаврик, а ну-ка, ходом! Проводи наших нелегалов в балочку. Пусть они там пересидят.

— Ах, будь они трижды прокляты, помещали на самом интересном месте! — сказал весело Родион Жуков вставая. — Вот вам, товарищи, наглядный пример нашей тактики: сочетание легального с нелегальным. — И глаза его лукаво, но вместе с тем и грозно блеснули при свете костра.

— Иди, иди, лезь в подполье! — нетерпеливо сказал Терентий.

Следуя за Гавриком, Павловская и Родион Жуков быстро прошли под деревьями и скрылись в темноте. За ними легкой тенью скользнула Марина, а за Мариной, из всех сил сжимая в руках берданку, на цыпочках пошел Петя; но Терентий строго погрозил ему пальцем; и он остался. Все это произошло так быстро, складно и бесшумно, что околodочный надзиратель и трое городских, которые как раз в это время, придерживая шашки и стараясь не стучать сапогами, во главе с «усатым» входили в сад, увидели вполне мирную картину: у костра сидели люди и ужинали.

— Кто такие? По какому случаю собираетесь? — строго сказал околodочный, выступая из темноты. Он, несомненно, ожидал, что его внезапное появление поразит всех, как громом.

Но люди продолжали спокойно ужинать, и лишь старик-железнодорожник старательно облизал свою деревянную ложку, вытер ее о штаны, протянул околodочному и сказал:

— Милости просим! Повечеряйте с нами... Аким, посунься трошки, дай место его благородию.

— Да нет, куды там! — лениво ответил Аким Перепелицкий. — У них тут целая воинская команда, на всех нашего кулеша не хватит. Нехай они идут обратно в участок и там кушают свою тюремную баланду.

— Встать! — закричал околodочный. — Ты с кем разговариваешь?

— Вы на меня, ваше благородие, не тыкайте: мы с вами вместе свиней не пасли, — еще более лениво проговорил Аким Перепелицкий и, опершись на локоть, сплюнул в костер.

— У, мурло! — с отвращением сказал околodочный, раздувая рыжие усы и морща мясистый нос. — Ты у меня, знаешь...

А городовые стояли в темноте под деревьями, готовые в любой момент начать хватать, хотя и чувствовали, что происходит не совсем то, чего они ожидали.

Они ожидали, что накроют с личным оружием, что придется обнажить оружие и даже, может быть, стрелять. А вместо этого «усатый» привел их в сад, где люди сидят у костра, мирно хлебачают кулеши и не только их не боятся, но даже говорят околodочному дерзости. Видать, вышла осечка.

— Милостивый государь, не имею чести знать, кто вы такой... — голосом, дрожащим от гнева, произнес Василий Петрович, вскакивая во весь рост и подходя вплотную к околodочному. — Что вам угодно? По какому праву вы позволяете себе врываться на чужую усадьбу? И... и... и мешаете людям ужинать, — прибавил он и затряс бородой.

— А вы здесь кто такой будете? — строго спросил околodочный.

— Я здесь не буду, а я здесь есть, — сказал Василий Петрович, по-учительски язвительно подчеркивая слова «буду» и «есть». — Я здесь, так сказать, арендатор и полный хозяин на основании нотариального акта; это мои поденные рабочие... батраки, если вам угодно, которых я нанял для обработки сада и виноградника. (Терентий одобрительно кивал головой.) Я — надворный советник Бачей. И я требую, чтобы на мою усадьбу не врывались по ночам посторонние люди! — вдруг крикнул Василий Петрович петушиным голосом и затопал сандалиями.

— Виноват, мы не посторонние, мы полиция, — слегка отступая, сказал околodочный.

— Для меня вы посторонние! — продолжал кричать Василий Петрович. — Я не желаю иметь с вами ничего общего! Зачем вы меня преследуете? Боже мой, когда это наконец кончится! — вдруг сказал он плачущим голосом. — То попечитель учебного округа, то Файг, то мадам Стороженко. А теперь полиция. Оставьте меня в покое! Дайте мне свободно дышать! Оставьте меня в покое! В конце концов, я поеду и буду жаловаться... градоначальнику... генерал-майору Толмачеву! — снова впадая в ярость, совершенно неожиданно для самого себя крикнул Василий Петрович.

Как ни странно, но его довольно бессвязная речь произвела на околodочного известное впечатление, в особенности упоминание о градоначальнике Толмачеве. Кто его знает, что за птица этот арендатор, надворный советник Бачей? Еще, чего доброго, действительно поедет жаловаться генералу Толмачеву.

— Вы на меня не повышайте голос, — скорее жалобно, чем грозно, сказал околodочный и подошел к «усатому», который, расхаживая в темноте под деревьями, самым внимательным образом всматривался по очереди в лица людей, сидящих перед костром.

Околodочный пошептался с «усатым», откашлялся и снова обратился к Василию Петровичу:

— У нас есть сведения, что здесь у вас постоянно происходят всякие нелегальные сходки, читают запрещенные брошюры... гм... и вообще скопляются... А сейчас скопятся строго воспрещается...

— Ваше благородие, — сказал вкрадчивым голосом Аким Перепелицкий, — дак ведь люди скопляются для того, чтобы немножко заработать — ну, там окопать деревья, подвязать виноградник, полить сад... Все-таки лишняя копейка для бедного человека.

— Я не к тебе обращаюсь, — строго сказал околodочный, — а я разговариваю с господином арендатором.

— По-моему, нам с вами совершенно не о чем разговаривать, — сказал Василий Петрович. — Что же касается вашего утверждения, что здесь якобы происходит чтение каких-то запрещенных брошюр и тому подобное, то это плоды вашей досужей фантазии — не больше.

— Так зачем же вы здесь скопляетесь по ночам? — вяло спросил околodочный, для которого уже давно стало ясно, что облава провалилась, так как все равно ничего доказать нельзя.

— А скопляемся мы потому, — ответил Василий Петрович, делая ироническое ударение на слове «скопляемся», — что, с вашего позволения, я здесь читаю лекции.

— Ага, лекции? — встрепенулся околodочный.

— Да, — сказал Василий Петрович, поправляя пенсне, — популярные, общеобразовательные лекции по истории цивилизации, по литературе, по астрономии... Разумеется, в пределах программы, утвержденной министерством народного просвещения... Вас это устраивает?

— По астрономии... — неодобрительно покачал головой околodочный и сморщил толстый нос. — Конечно, если по утвержденной программе, то это ничего... можно...

— Ах, вы разрешаете? — воскликнул Василий Петрович с наигранным восторгом. — Вы разрешаете! Как это любезно с вашей стороны! Ну что ж... В таком случае, не смею вас больше задерживать. Впрочем, может быть, вам угодно произвести обыск... изъять

тие... или как это у вас называется? — тогда сделайте одолжение. Сад к вашим услугам! — торжественно воскликнул Василий Петрович и сделал широкий, гостеприимный жест обеими руками, как бы желая обнять всю эту великолепную степную ночь вместе со всеми ее темными деревьями, костром, светлячками и созвездиями.

«Молодец, папочка, молодец!» — думал Петя, с восхищением глядя на отца, но в это время послышался шум платья и выбежала тетя.

— Что? Что? Что здесь происходит? — задыхаясь, проговорила она, с испугом глядя на околodочного и городских.

— О, успокойтесь, ничего ужасного, — спокойно сказал Василий Петрович. — Господин околodочный получил неверные сведения — якобы у нас в усадьбе происходят какие-то нелегальные сборища, но, к счастью, все это оказалось недоразумением.

— Ага, я понимаю, — сказала тетя: — это, наверно, по доносу мадам Стороженко.

— Ничего вам не могу доложить определенного, мадам, — сказал околodочный и, сердито пошептавшись с «усатым», махнул рукой городовым.

Городовые немного потоптались на месте, а затем один за другим, белея в темноте, как гуси, проследовали через сад и скрылись за калиткой.

— А что касается этих ваших лекций, то я буду принужден доложить о них господину приставу, — сказал околodочный.

— Хоть генерал-губернатору! — ответил Василий Петрович и, не дожидаясь, пока околodочный и «усатый» скроются, прилег у костра, облокотился на руку и громким, звучным, учительским голосом сказал: — Итак, господа, продолжим нашу лекцию. В прошлый раз я познакомил вас с элементарными основами астрономии, то-есть прекрасной науки о звездах. Повторю вкратце. Астрономия есть одна из самых древних наук человечества. Еще древние египтяне...

Петя осторожно выполз из освещенного круга, надел на плечо берданку и, прячась в тени деревьев, пошел за удаляющейся полицией. Поравнявшись с околodочным и «усатым», он услышал ворчливый голос околodочного:

— С такими, знаете, агентами, как вы, надо не революционеров хватать, а сидеть голый задницей на плите и ждать, пока у вас закипит в середине.

— Клянусь небом, я имел самые надежные данные!

— А, перестаньте мне морочить голову! Вы просто хапнули с мадам Стороженко крупного хабара и сели в калошу. Только даром потревожили людей в субботу вечером... Слава богу, пустили электричку, а то еще не хватало нам труситься на конке. Мерси!

## LVII

### ЗВЕЗДЫ

Значит, они уезжают. Но Петя не успокоился до тех пор, пока собственными глазами не увидел, как они все влезли в вагон трамвая и уехали. Петя отправился назад и вдруг увидел на дороге маленькую, неподвижную фигурку. Это была Мотя.

— Ты что здесь делаешь? — строго спросил Петя.

— Дожидаюсь, — отвечала она шопотом. — Я за вас так беспокоилась, так беспокоилась...

— Тебя не просили, — сказал Петя, — иди домой!

— А они уехали?

— Уехали.

— На электрическом трамвае?

— Да.

Мотя тихонько засмеялась.

— Ты чего смеешься?

— Мне смешно, что вокруг ночь, а мы с вами одни вдвоем в пустом поле... Петя, — сказала она помолчав, — а вам не было страшно, когда вы шли за ними?

— Чудачка! А ружье?

— Верно, — вздохнула Мотя. — А я чуть не умерла — до того боялась.

Ночь была темная, теплая, хотя и слегка ветреная. Иногда со стороны Аркадии доносились глухая пальба — это на гулянье пускали фейерверк. Вылетели несколько ракет и, оставляя в черном небе оранжевые полосы, вдруг вспыхнули и медленно потекли вниз крупными огненными слезами, и лишь через некоторое время до Пети и Моти долетел сухой треск.

— Как прекрасно! — сказала Мотя и опять вздохнула.

— Иди домой, — сказал Петя.

Она покорно пошла по дороге, и скоро ее фигурка растаяла в серебристом звездном свете.

Тогда Петя повернул в степь и побежал к знакомой балочке. Ему никто не сказал, что нужно провожать полицейских, и ему никто не велел потом идти в балочку за Родионом

Жуковым. Он все это делал, подчиняясь бес-  
сознательному и безошибочному внутренне-  
му чувству. Им уже управляла какая-то по-  
сторонняя сила.

В балочке было совсем темно. Шурша  
бурьяном, Петя нащупал скалу и пошел  
вдоль нее, отыскивая щель.

— Это ты, Петька? — спросил из темно-  
ты голос Гаврика.

— Я.

— Ну, что там слышно?

— Все в порядке. Ушли.

— И никого не забрали?

— Никого.

— Ну, слава богу. Давай сюда руку.

Петя протянул руку, и Гаврик втащил его  
в щель. Некоторое время они шли в полной  
темноте, то и дело задевая плечами стены, с  
которых сыпалась сухая земля. Затем проход  
настолько сузился и снизился, что пришлось  
ползти на четвереньках. Наконец впереди за-  
брезжил слабый свет, проход расширился, и  
Петя увидел вырезанную в камне довольно  
большую пещеру с косо нависшим ракушни-  
ковым закопченным потолком.

На стене висел фонарь «летучая мышь»,  
отбрасывая вокруг себя решетчатые тени, так  
что пещера походила на клетку. Было сыро,  
прохладно, но и душно. Явно чувствовался  
недостаток воздуха. В углу под фонарем Пе-  
тя увидел маленькую типографскую машину  
с косым черным диском и понял, что это  
именно и есть та самая «американка», о ко-  
торой сказал Гаврик. Рядом на камне лежа-  
ла типографская касса с теми самыми бук-  
вами, которые за два года натаскал Гаврик  
из типографии «Одесского листка». Тут же  
на стене висел знакомый синий халат Гаври-  
ка, измазанный типографской краской.

Родион Жуков сидел на земле, при-  
слонившись спиной к стене, курил тру-  
бочку и читал какую-то книжку, де-  
лая на полях отметки карандашиком. А мать  
и дочь Павловские устроились на ящиках от  
«американки». Павловская сидела, закутав-  
шись в свой старенький ватерпруф, а Мари-  
на спала, положив голову с черным бантом  
на колени матери и поджав ноги в маленьких  
пыльных башмачках на пуговицах, из кото-  
рых один «просил каши».

Около них на полу находилось все их иму-  
щество: завернутая в газету керосинка, узел  
с платьями и небольшой портплед, из чего  
можно было заключить, что, повидимому,  
они все время жили, держа вещи наготове.  
Сейчас у них был такой вид, будто они сидят

на какой-то маленькой, глухой станции и тер-  
пеливо ждут поезда.

— Все в порядке. Можно выходить, —  
сказал Гаврик.

Родион Жуков не тронулся с места, а по-  
требовал, чтобы Петя рассказал все как бы-  
ло. Петя рассказал. Но Родион Жуков, не-  
много подумав, велел, чтобы Петя рассказал  
еще раз, не торопясь. Петя рассказал еще  
раз. Тогда Родион Жуков спрятал книжку  
в карман, потянулся с удовольствием и ска-  
зал:

— Ну, когда так, можно вылезать из под-  
полья. Видать, эти шкуры наскочили на ме-  
ня чисто случайно... Тамара Николаевна, по-  
ехали!

— Вставай, девочка, — сказала Павлов-  
ская, легонько ущипнув Марину за нос, как  
маленькую.

Марина открыла глаза, посмотрела во-  
круг, увидела Петю — испачканного землей,  
взъерошенного, с берданкой, — лениво улыб-  
нулась и обеими руками поправила смявший-  
ся бант.

— Я хочу спать, — капризно сказала она,  
но все-таки послушно встала и подняла с по-  
ла керосинку.

— Нет, вещички вы, на всякий случай,  
пока оставьте, — сказал Родион Жуков.

«Милая!» — подумал Петя с нежностью.

Когда они выбрались из подземелья на  
свежий воздух, то звезды им показались уди-  
вительно яркими, почти ослепляющими.  
В степи было спокойно. Они молча, время  
от времени останавливаясь и прислушиваясь,  
дошли до хуторка, перелезли через вал, по-  
росший пыльной дерезой, и осторожно присе-  
ли у костра, где Василий Петрович продол-  
жал свою лекцию по астрономии.

— Теперь вообразите себе, — вдохновен-  
но говорил он, запрокинув лицо и глядя на  
звездное небо, — что мы с вами обладаем  
волшебной способностью передвигаться в  
пространстве со скоростью света. Тогда мы  
легко можем убедиться, что вселенная беско-  
нечна. В самом деле, посмотрите на это  
звездное небо, которое так широко и велико-  
лепно раскинулось над нами. Что мы видим?  
Мы видим мириады небесных звезд, планет,  
туманностей, наконец мы видим Млечный  
Путь, который, в свою очередь, представляет  
собой не что иное, как новое громадное скоп-  
ление звезд. Но все это неисчислимое коли-  
чество светил есть лишь ничтожно малая ча-  
стица вселенной. Так вот, господа, вообрази-  
те себе, что мы с вами с непостижимой для  
человеческого ума скоростью летим в миро-

вое пространство и наконец долетаем до самой отдаленной звезды. Что же оказывается? Оказывается, что за этой звездой перед нами открывается новое звездное небо. Мы долетаем до самой далекой звезды этого нового неба, но и здесь не находим конца вселенной. Перед нами открывается новое звездное небо. И так, сколько бы мы ни летели с вами в необъятном мировом пространстве, перед нами все время будут открываться всё новые и новые миры, и конца этому никогда не будет, потому что вселенная бесконечна.

Василий Петрович замолчал, продолжая смотреть вверх. Теперь уже и все остальные молча смотрели вверх — на хорошо знакомое звездное небо, на серебристый раздвоенный рукав Млечного Пути, — увлеченные и очарованные мыслью о бесконечности вселенной.

Марина сидела рядом с Петей, смотрела вверх на звезды, и вдруг Петя почувствовал такую нежность, такую мучительную, щемящую любовь, что даже слезы выступили у него на глазах.

— Послушайте... — прошептал он, осторожно трогая ее за рукав.

— Что? — почти беззвучно сказала она, не поворачивая головы.

«Я вас люблю», — чуть не сказал Петя, но вместо этого произнес:

— Правда, замечательно?

— Да, — ответила Марина, как-то особенно красиво и свободно потряхнув головой. — Чем ночь темней, тем ярче звезды.

Где-то очень далеко, еле слышно, кричали петухи и тонкий голубой луч нового большефонтанского маяка стрелой уходил далеко вверх, в звездное небо.

1953—1955, Москва



Цена 3 р. 10 к.

*Заставка и концовка И. И. Фоминой*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Катаев Валентия Петрович

*ХУТОРОК В СТЕПИ*

Ответственный редактор Б. И. Камир. Художественный редактор Н. Г. Холодовская.  
Технический редактор З. В. Тишина. Корректоры Н. В. Белякова и Е. И. Вильтер.  
Сдано в набор 14/III 1956 г. Подписано к печати 5/V 1956 г. Формат 84 × 108<sup>1/16</sup> — 18 печ. л. =  
= 14,79 усл. печ. л. (15,52 уч.-изд. л.). Тираж 150 000 экз. А06709. Заказ № 410.  
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

---

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Суцевский вал, 49.